

И. Г. Фихте

РЕЧИ
К НЕМЕЦКОЙ
НАЦИИ







Том 54

J. G. Fichte



REDEN
AN DIE DEUTSCHE
NATION



И. Г. Фихте



РЕЧИ К НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ



Перевод с немецкого А. А. Иваненко



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2009

УДК 14
ББК 87.3
Ф48

Серия основана в 1992 году

Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»

В. М. КАМНЕВ, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН

*Перевод сочинения осуществлен
при поддержке Гете-Института
за счет средств Министерства иностранных дел ФРГ*

© А. А. Иваненко, перевод, статья, 2009

© Издательство «Наука», серия
«Слово о сущем» (разработка,
оформление), 1992 (год основания), 2009

ISBN 978-5-02-026353-6

А. А. Иваненко

«РЕЧИ К НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ» СПУСТЯ 200 ЛЕТ

«Речи к немецкой нации» были прочитаны И. Г. Фихте зимой 1807—1808 гг., вскоре после потери Пруссией, а с ней — и всей Германией политической независимости в результате поражения от наполеоновской Франции, а в 1808 г. они увидели свет в печатном виде. Лишь очень немногие философские сочинения настолько же неоднозначно были восприняты общественным мнением и настолько же сильно поляризовали его, то будучи возносимы до небес, то становясь предметом резкого осуждения. Чтобы продемонстрировать степень заинтересованности в них, достаточно будет указать на тот факт, что в течение XIX века эта работа выдержала в Германии более 40 переизданий, в то время как другие, более теоретичные труды Фихте были изданы за тот же период после его смерти лишь однажды — в виде собрания сочинений. В XIX веке и в первой половине XX века в глазах общественного мнения Германии Фихте был одним из столпов национального самосознания. Если же мы учтем то, что относящиеся к этой теме мысли были развиты Фихте преимущественно в «Речах к немецкой нации», то нам станет

ясен масштаб значения этой работы. Иллюстрацией к данному тезису является тот факт, что актовый зал Берлинского университета до 1945 г. был украшен фреской, символически изображающей обращение Фихте к немецкой нации.

Разумеется, националистическая мысль Германии 20—40-х гг. прошлого столетия не обошла стороной эту грань его творчества, стремясь представить Фихте в качестве своего предшественника. Отсюда понятно, что восприятие этой работы после 1945 г. не могло не измениться радикальным образом. Прославляемый прежде в качестве идейного вдохновителя немецкого единства, Фихте в глазах очень многих превратился в предтечу национал-социализма, и в первую очередь — из-за «Речей к немецкой нации». Крайним выражением этого умонастроения является суждение Б. Рассела в его «Истории западной философии» о том, что философия Фихте не обладает никаким научным значением и интересна только в качестве истока немецкого национализма.¹

Как же нам сейчас, по прошествии двух веков, отнестись к этому произведению? Должны ли мы согласиться с Б. Расселом, по крайней мере в отношении этого сочинения, видеть в нем лишь памятник ушедшей в прошлое эпохи, посылающей нам пробирающий морозом по коже «привет» дымом крематориев в Бухенвальде и Саласпилсе? И если так, то стоило

¹ Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М.: Академический проект, 2000. С. 657.

ли труда переводить его, не должно ли раз и навсегда исключить его из круга чтения цивилизованного человечества, ведь история уже вынесла свой приговор немецкому сверхчеловеку и скрепила его печатью в Сталинграде и Берлине?

Но с другой стороны, будь даже это произведение тем, за что его согласно выдают как теоретики немецкой «крови и почвы», так и их оппоненты, проповедующие космополитический либерализм, а именно проповедью немецкого национального превосходства в чистом виде, даже и тогда его стоило бы прочесть. Процесс глобализации начался не вчера, реакция на него и его осмысление стартовали не с изобретением самого этого термина, и закончится этот процесс не завтра. Его реальным историческим началом стала колонизация европейскими странами остального мира, которая, достигнув своих естественных пределов и приведя к формированию национально окрашенных мировых колониальных империй, далее повела их к столкновению между собой и соответственно к актуализации национального вопроса, заострившегося в ходе их борьбы между собой до крайности национализма. Реакцией на то, какой оборот принял данный процесс в XIX и первой половине XX века; явились те социально-политические теории, которым было суждено сыграть определяющую роль в XX веке, — для успеха марксизма и либерального демократизма момент наднациональности их социальных и политических решений имел большое значение. Попытка предложить такие решения, которые позволяли бы выйти из тупиков лобового противостояния наций, создать некоторый универсальный, «глобальный»

порядок, существенна для умонстроения современности. И именно это обстоятельство является причиной тому, что как раз сейчас оказался замечен давно уже осуществляющийся процесс глобализации.

Ясно, что характерная для современности боязливость и осторожность в вопросах отношения наций и культур оправдана ужасами их столкновений в предшествующую эпоху. Но как известно, отрицание не свободно от того, что оно отрицает, разрушая отрицаемое, оно не способно дать синтез отрицательного и положительного аспектов. Отталкиваясь от прошлого, современность в качестве альтернативы предлагает идеал мультикультурного сообщества, в котором представители различных культур должны были бы безболезненно сосуществовать. При этом сообщество может существовать, только если у его членов имеется некоторая общность, оно — не агрегат разнонаправленных частиц. В этом и видится ограниченность идейного горизонта данной попытки. Действительно, в альтернативе насильственного доминирования одной из наций над другими и мирного сосуществования наций, культур и их носителей последнее выглядит предпочтительнее. Но на чем должно основываться это сосуществование? На толерантности-терпимости — таков ответ, ответ с головой выдающий свою отрицательную природу.

Сообщество, как и отдельные его представители, не может терпимо относиться ко всему. Что же, в таком случае, задает меру терпимости, диктует, что терпимо, а что нет? Явно, не сам принцип терпимости, абстрактно-отрицательный в отношении всякой попытки ограничить его и нивелирующий при своем неогра-

ническом применении любую ценностную шкалу. Этот принцип, с одной стороны, нуждается в положительном дополнении, с другой — совместим только с нейтральными в национальном отношении ценностями. Такими ценностями выступают ценности гражданского общества. Характерно, что в большинстве новых европейских языков, в том числе и в русском, в этом термине не разведены два момента этого понятия — момент тесной взаимосвязи гражданского общества с государством и момент их нетождественности. В то время как в гражданском обществе в зоне осознанного находятся частные — личные и корпоративные — интересы, интерес целого осознается и становится целью в деятельности государства. Если мы учтем, что целое не есть абстрактное единство, то становится ясным, что государство не потусторонне частным интересам, но и не тождественно деятельности по их достижению.

Последнее играет серьезнейшую роль в обстоятельствах современности. Когда национальный элемент в жизни государства и общества оказался, в результате вышеописанного процесса, почти что табуирован, в качестве основных целей и ценностей государства и общества в странах Запада выступили цели и ценности гражданского общества, позволяющие до некоторой степени сохранять общность и не вступающие в конфликт с принципом толерантности. Каждый, вне зависимости от своей национальной принадлежности, имеет право добиваться своих частных целей, поскольку они не противоречат этому принципу, т. е. не направлены к доминированию той или иной мировоззренческой парадигмы.

Но один только частный интерес не может обеспечить нормальное функционирование государства, а следовательно, и общества. Как понимать свой частный интерес, какими средствами добиваться своих частных целей — ответы на эти вопросы отдельный его член черпает в нравственности своего народа, на поддержание и раскрытие которой обычно и направлена деятельность государства. Если же государство не печется об этом в достаточной мере, то нравственность народа постепенно теряет свою действенность, начиная выглядеть в глазах индивида произвольной и необязательной для исполнения нормой. Таким образом, современное стремление к преодолению ограниченности национализма постепенно начинает подрывать основы существования наций. Человечество ныне, по всей видимости, как никогда близко подошло к воплощению в действительность не имевшего дотоле места и представлявшего собой чистой воды теоретическую конструкцию состояния «войны всех против всех».

В такой перспективе вопрос об отношении наций между собой вовсе не представляется решенным современностью удовлетворительным образом, а чтение произведений, трактующих эти отношения, — излишним.

Работа И. Г. Фихте, введением в чтение которой и является данная статья, увидела свет в тот момент, когда борьба европейских наций за доминирование была в полном разгаре. Франция, отстояв порожденные ею новые принципы государственного и общественного устройства, повела уже наступательную войну за распространение «свободы, равенства и братства» на все остальные

народы Европы. Ею двигала убежденность в универсальности обретенных принципов, убежденность в том, что распространение ее власти есть распространение подлинной свободы и равенства. Как известно, действия Франции вызвали неоднозначную реакцию. Если первоначально общественное мнение Европы встречало рост «дерева свободы» преимущественно восторгом, то с течением времени хор его противников приобретал все больше голосов. Фихте не был исключением. Пережив период радостного приятия истин, воссиявших на Западе (о чем свидетельствуют две его работы, опубликованные в 1793 г., — «Востребование от государей Европы свободы мысли, которую они до сих пор подавляли» и «Исправление суждений публики о французской революции»), к 1806 г. он радикально поменял знак в их оценке. Но от остальных его современников, несомых потоком истории, его отличало одно немаловажное обстоятельство — именно за эти годы вызрело и развилось вплоть до особенных областей его философское учение, изнутри которого, а вовсе не только из оскорбленного национального чувства и прозвучало его слово к немецкой нации. И чтобы услышать его, а не его искаженное эхо, необходимо обратиться к самому учению Фихте.

«Речи к немецкой нации» характеризуются самим их автором в качестве продолжения работы «Основные черты современной эпохи» (1806 г.). В последней, как известно, для того, чтобы подойти к выяснению существенных черт современной ему эпохи, он начинает с построения общей философии истории. «Речи» же по многим направлениям конкретизируют общую философию истории Фихте и, опираясь на данную в сочинении

1806 г. характеристику современности, предлагают определенные пути преодоления последней.

Согласно общей концепции великого немецкого идеалиста история представляет собой целенаправленный процесс: цель земной жизни человечества заключается в том, чтобы «установить в этой жизни все свои отношения свободно и сообразно с разумом».² Разум же «есть основной закон жизни человечества».³ Разумом Фихте называет здесь не мыслительную способность индивида или весь совокупный духовный опыт человечества. Разум есть закон существования человечества в том же смысле, в каком жизнь есть закон существования живого, а количество — математических предметов. Каждый математический предмет есть определенный способ бытия количества, его конкретизация. Треугольник, например, есть не количество как таковое, а определенного рода количественное отношение. Но ведь сама возможность количественных отношений заключена в том, что такое количество. Количественное же отношение, в свою очередь, есть возможность в том числе и треугольника, который, со своей стороны, есть действительность, непосредственно — количественного отношения, а опосредованно — и количества как такового. Подобным образом и живое есть действительность жизни. Ни каждое живое существо в отдельности, ни даже совокупность всех живых существ и процесс их развития не суть жизнь как таковая. Но они существуют

² *Фихте И. Г.* Основные черты современной эпохи // *Фихте И. Г. Соч.: В 2 т. Т. 2.* СПб.: Мифрил, 1993. С. 366.

³ Там же. С. 367.

как актуализация жизни, раскрытие ее закономерностей и конкретная действительность.

Сходным образом дело обстоит и в отношении разума как закона существования человечества. Человечество существует как человечество только в силу бытия разума, вся духовная активность как человечества в целом, так и каждого человека в отдельности есть постепенное раскрытие разума как такового. Каждый отдельный человек есть потому разумное существо, но не разум как таковой.

Но аналогичность разума жизни и количества имеет свои пределы, определение их происходит различным образом. В то время как определение количества происходит потусторонним его частным определениям способом, так что неизбежно возникает иллюзия того, что не само количество, но мыслящий его субъект определяет себя до своих частных форм, в живом момент самоопределения гораздо более существенен и потому более очевиден. Действующий в живом закон жизни гораздо в большей степени актуализирует себя в ее особенных проявлениях. Но и живое не способно полностью актуализировать свою потенцию и потому вынуждено постоянно воспроизводить себя, переходя от одного своего состояния к другому. Иначе дело обстоит в сфере разумного. Хотя изначально разум выступает здесь подобным природе образом, т. е. как внешняя индивидам и человечеству определяющая их сила, но постепенно он все в большей и большей мере становится силой их самоопределения. Индивиды и все человечество в целом все в большей степени начинают сознательно руководствоваться им.

На основе этой закономерности Фихте и устанавливает пять основных эпох истории: разумного инстинкта, принудительного авторитета, пустой свободы, разумной науки и разумного искусства. Что же скрывается за столь непривычными для современного читателя наименованиями? На первый взгляд утверждения Фихте о том, что разум есть с самого начала царящий в истории закон, и о том, что история еще только имеет целью господство разума, противоречат друг другу. Но здесь и скрывается ответ на поставленный вопрос. Хотя разум и царит в истории изначально, но способ, каким он осуществляется в ней вплоть до последней эпохи, не полностью ему соответствует, не полностью разумен. Разумное содержание и при начале истории руководит людьми, но не как знаемое в качестве такового. Начальной формой, в которой оно выступает, является инстинкт. Речь, разумеется, идет не о животных инстинктах, не об отправлениях естественных потребностей, но о том, что люди интуитивно руководствуются этим содержанием, совершенно не будучи в состоянии отдать себе отчет в том, каким образом это происходит. Принципиально родственным этому способу актуализации разумного содержания является деятельность по его освоению детьми в самом раннем возрасте, с тем только отличием, что дети имеют перед собой в лице родителей образец этого содержания, в то время как в начале истории люди вынуждены открывать его почти только на ощупь. Этот способ освоения разумного содержания и диктует все формы существования человечества в данную эпоху.

Фихте крайне скупо характеризует все эпохи, кроме третьей, поскольку задачей является характеристика

именно этой эпохи. Как представляется, можно расширить данные им характеристики других эпох, не рискуя исказить мысль автора. В первый период человечество почти целиком подчинено природе и обладает практически только тем, что она дарует ему, и путем постоянных проб и ошибок накапливает по крупице драгоценный опыт. Потому здесь безраздельно господствуют традиционализм, перемены вызываются почти только изменениями природной среды обитания, поклонение силам природы, не превращающееся, однако, в целостное мировоззрение, общественная же дифференциация обладает зачаточным характером.

Следующей формой, в которой актуализируется разумное содержание, а значит, и следующей эпохой, становится, по Фихте, принудительный авторитет. По мере накопления опыта различные решения, на которые набредает разумный инстинкт, приходят в противоречие между собой и начинают требовать себе объяснения и оснований для предпочтения. Безальтернативность основанных на инстинкте решений первой эпохи сменяется их проблематичностью, что ведет к попыткам создать целостное, охватывающее многообразие уже накопленного опыта и служащее основой выбора мировоззрение. Потому вторая эпоха — это «время положительных систем мировоззрения и жизнепонимания».⁴ Но эти системы именно положительны, они не проникают до своих последних оснований и держатся на авторитете.

⁴ Там же. С. 370.

Авторитет связан с несколькими принципиально важными моментами. Во-первых, авторитет характеризуется внешним отношением с некоторым содержанием. Это ведет к дифференциации общества, возникновению почвы для отношений господства и подчинения. Во-вторых, авторитет не обладает полноценной доказательностью и базируется на доверии, а в случае сопротивления ему — на насилии, внешнем принуждении. Эти два момента ведут к возникновению религии и государства как средств обоснования авторитета и принуждения к подчинению ему. Они существуют в этот период синкретичным образом, оба будучи выражением авторитета и действуя соответствующими средствами. В-третьих, авторитет невозможно приобрести и поддерживать его исключительно с помощью насилия. Для этого все же требуется некоторая степень убедительности проповедуемых взглядов, некоторое интеллектуальное превосходство. Поэтому возникновение религии и государства сопровождается возникновением соответствующих сословий, достоянием которых становится знание этой эпохи, трактуемое как сакральное; правом доступа к этому сакральному знанию, т. е. правом на образование, обладают только представители этих сословий.

Так же скупы и характеристики, даваемые Фихте двум последним эпохам истории, эпохам разумной науки и разумного искусства. Разумное искусство, согласно великому немецкому идеалисту, заключается в том, чтобы «уверенной и твердой рукой создать из себя точный отпечаток разума».⁵ Но для того, чтобы

⁵ Там же.

такое искусство стало возможным, необходимо познание разума — эпоха разумной науки. Убежденный в истинности найденного им принципа наукоучения, Фихте полагал, что его открытие является началом четвертой эпохи. Современная же ему эпоха, эпоха пустой свободы, есть переход от эпохи авторитета к эпохе разумной науки. Хотя истинное познание уже выступило в ней, но оно еще не обрело себе признания в такой степени, чтобы считать переход совершившимся. В этом убеждении Фихте кроется причина того, что в так называемый «поздний» период своего творчества — примерно с 1799 г. — он активно обращается к широкой аудитории как с кафедры, так и печатно, посредством курсов лекций и сочинений в популярной форме излагая содержание наукоучения и выводы из него для всех областей духовной жизни. Одним из таких сочинений как раз и являются «Речи к немецкой нации», основная задача которых состоит в том, чтобы указать пути перехода от третьей эпохи к четвертой.

Третья эпоха истории характеризуется Фихте двояким образом: с одной стороны, как «состояние завершенной греховности»,⁶ «пустой свободы»,⁷ с другой стороны, как эпоха освобождения от принудительного авторитета. Ее существование оправдано необходимостью освобождения от не соответствующей разуму формы освоения разумного содержания. В своей принципиальной установке — «считать существующим и обязательным только то, что понятно и ясно

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 379.

усматривается»⁸ — она близка эпохе разумной науки. Различает их понимание того, что такое понимание, точнее говоря, в то время как наука разума видит, что оно представляет собой проблему и задачу, эпоха пустой свободы пользуется уже имеющимися у нее представлениями рассудка, считая их пониманием и не видя здесь проблемы.

Последнее происходит потому, что разумный инстинкт и базирующийся на нем авторитет затрагивают жизнь человечества в целом, в недостаточной степени касаясь жизни индивидуальной. «Естественное влечение к самосохранению и личному благополучию»⁹ в недостаточной мере определяются разумом, остающимся в первые две эпохи абстрактным. Авторитет убеждает того, кого он убеждает, неясным для него самого образом, в механизме его действенности самодетельность личности выступает в гораздо меньшей степени, чем при решении чисто индивидуальных задач. В последнем случае для индивида гораздо очевиднее то, что именно он является субъектом деятельности, именно он ставит задачи, ищет пути их решения, усматривает основания и т. д. В эпоху авторитета общество усложняется, духовный опыт продолжает накапливаться, деятельность по достижению личного благополучия все меньше зависит от продиктованного авторитетом мировоззрения. Построенные с его помощью государства входят в соприкосновение, а положительные системы жизнепонимания — в конфликт. Все это начи-

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 380.

нает подрывать авторитет, чему также способствует то обстоятельство, что сакральное знание второй эпохи не имело распространения за пределы высших сословий, так что низшие в гораздо большей степени оставались предоставленными своим собственным представлениям. Результатом является все нарастающий общественный и мировоззренческий кризис, что ведет к широкому распространению неудовлетворенности авторитетом, которая первоначально возникает лишь у немногих, и к переходу в следующую эпоху истории.

Отбрасывая авторитет, это умонастроение, именно в силу стремления к ясному и самостоятельному пониманию, обращается к тому, что остается для него в качестве материала и основания мышления, — к рассудку с его выработанными в целях сохранения и обеспечения индивидуального существования представлениями. Они, с одной стороны, сформировались таким образом, что совершенно не имеют в виду целое и представляют частное, в первую очередь индивида, в качестве самостоятельной реальности, с другой стороны, обладают гораздо большей убедительностью.

Таким путем получается то, что мышление и разум оказываются в убеждении этой эпохи само собой разумеющимся образом приурочены к индивиду, а его образование становится важной задачей. Это ведет к распространению образования на все общество, возникновению средств его распространения — системы образования, печатного дела, периодической печати (от себя добавим — и электронных средств распространения информации). Общество начинается мыслиться как совокупность и результат взаимодействия индивидов,

каждый из которых движим своим частным интересом, а государство — как регулятор частных устремлений в целях наиболее эффективного удовлетворения частных интересов в целом. Отношения государств между собой также представляются третьей эпохе борьбой за частные интересы, пределы которой полагаются лишь теми же самыми частными интересами индивидов.

Последовательное проведение принципа третьей эпохи приводит к эгоизму как жизненной установке, от полного развала общества некоторое время предохраняет лишь непоследовательность. Но во всяком случае, индивиду и обществу не предлагается никаких иных целей, кроме сохранения индивидуального существования и связанного с этим благополучия, поэтому третья эпоха и называется Фихте «эпохой пустой свободы». Критика им этой эпохи концентрируется при этом не на моральном аспекте, но на состоятельности ее принципа со стороны соответствия разуму. Достоверность познаний, проистекающая из достоверности субъективного мышления, есть, с ее точки зрения, безусловное понимание. Для ее представителей решающим оправданием того или иного мнения является его соответствие основополагающим для этой эпохи представлениям, и потому их философствование не заходит далее критики языка, выяснения того смысла, которым то или иное слово обладает в языке, в то время как действительное понимание еще только должно быть найдено путем поиска его последнего основания и выведения из него истинной природы всего подлежащего пониманию. Только решение этой задачи способно вывести из тупиков пустой свободы, и Фихте считал ее решенной

в своем наукоучении, что повело его к попытке содействовать ходу истории посредством популяризации своих взглядов.

Таков общий контекст философского учения Фихте об истории, в котором зарождается интенция «Речей к немецкой нации». Но почему же стремление содействовать ходу истории вылилось в обращение к определенной нации? С этим вопросом мы переходим к собственному содержанию представляемой здесь работы.

Согласно Фихте, европейские народы играют в историческом процессе различные роли. Приступая к исследованию их различий, он делит народы на две основные части — романские народы и германскую нацию. К последней он относит все германоязычные народы, обходя при этом молчанием вопрос о месте в данной классификации английского народа (как станет ясно из последующего, он не может быть однозначно помещен ни в ту, ни в другую группу). Славянские народы, с точки зрения Фихте, еще не в достаточной мере проявили себя для того, чтобы высказать о них что-либо определенное. Как видим, он производит деление народов по языковому признаку, и с его стороны это не следование некоторой данности, но принципиальный момент, поскольку именно характер языка определяет, по Фихте, духовный строй народа, а следовательно, и его роль в истории.

По мысли автора наукоучения, исторически изначальная стадия существования какого-либо языка связана с обозначением предметов чувственной реальности и простейших духовных актов. Язык в этот период существует исключительно в устной форме,

а знаки языка суть звуки. При этом важным моментом является то, что, хотя при первичном обозначении связь между обозначаемым и обозначающим его звуком устанавливается всегда более или менее произвольным образом, даже и здесь при выборе знака имеет место оценка. Когда же язык переходит на более развитую фазу своего существования, роль этой оценки при обозначении существенно возрастает. При создании знака всегда существует некоторый спектр возможных способов его формирования, из которых и выбирается один, изредка два. Выбор в данной ситуации определяется актуальной нравственностью народа, тем, какое место занимает обозначаемая реальность в народной жизни и как она им оценивается. Разумеется, разного рода реалии оцениваются с точки зрения нравственности с разной степенью интенсивности, но ранняя стадия существования народа и его языка очень далека от того, чтобы оценивать предметы только с утилитарной точки зрения. Береза и липа, например, не рассматриваются только с точки зрения пользы, они и их важные в утилитарном отношении свойства получают эмоциональную и нравственную оценку.

Тем более важным становится способ формирования знака тогда, когда обозначается собственно духовная реальность. В этом случае сознание не имеет дела с чувственно данным, с которым знак языка корреспондировал бы и вне зависимости от нравственной оценки. Последняя, выраженная в способе обозначения, во многом и определяет для пользующегося словом сознания то, что такое эта реальность. Цепочка этой взаимосвязи обозначений пронизывает собой весь

язык, который, согласно Фихте, является выражением и орудием нравственности говорящего на нем народа. Индивид, осваивающий родной язык, вместе с ним приобретает и определенную нравственность, но не путем произвольного выбора, а quasi естественным образом. По всей видимости, Фихте не считал, что мышление отдельного человека полностью определено строем и законами развития языка его народа, но, во всяком случае, с его точки зрения, национальный язык имеет гигантское влияние на него.

Основополагающее отличие романских народов от германской нации заключается, согласно Фихте, в том, что романские языки смешанны по своему составу, в то время как немецкий язык и языки соседних с Германией германских народов — однородны.

Романские народы возникли в результате переселения германцев на территории с населением, говорящим на латинском языке, и смешения этих двух этнических групп, но само по себе данное обстоятельство не играет, с точки зрения Фихте, существенной роли. Гораздо более важным является то, что переселившиеся на территорию Римской империи германцы не сохранили свой исходный строй отношений. Столкнувшись с гораздо более развитой культурой, они стали многое перенимать у коренного населения, и самым важным в этом процессе было усвоение его обычаев, общественных отношений и соответственно способов их обозначения. Но этот процесс не был ни полным переходом на латинский язык, ни полным принятием римской нравственности. Результатом стало установление такого строя отношений, в котором ни одна его составляющая не

являлась органической частью целого, и такого языка, обозначения которого не корреспондировали с какой-либо цельной и последовательной системой взглядов на мир.

Немецкий язык не претерпел подобного смешения, последовательным образом развиваясь из своих начальных корней, и всегда оставался ясным для говорящих на нем выражением и орудием германской нравственности (поддержкой этой версии служит самоназвание немцев — *deutsch*, слово, однокоренное со словами *deutlich* — ясный и *deuten* — истолковывать). По всей видимости, именно поэтому Фихте удерживает название нации только за германцами, прочих именуя народами.

Эти свойства языков и определяют духовный строй и роль в истории романских народов и германской нации. Первые, с точки зрения Фихте, обладают такой нравственностью, необходимость которой не просматривается ее носителями и которая может представляться произвольным установлением, возникшим в результате соглашения на основе выбора. Такой взгляд и появляется у представителей этих народов, причем появляется как следствие характера их языков, в которых перемешанность между собой разнородных элементов не дает сознанию ясной и прозрачной в своем корне оценки того или иного явления духовного порядка. Не имея опоры в собственном языке, мышление индивида, как только кажущаяся самоочевидность смысла этого явления разрушается, теряет все ориентиры и ему приходится либо обращаться к господствующему мнению, либо определять его смысл произвольным образом. В любом

случае обычаи, нравы и общественные установления, являющиеся плодом закономерного хода развития, начинают выглядеть для него результатом личного или коллективного произвола, а принятие или непринятие их — также делом его произвольного выбора.

Поэтому, согласно мысли Фихте, романские народы, в силу свойств их языков, являются носителями принципа третьей эпохи. Их языки родственны и латинскому и германским языкам, что делает их идеальными медиаторами, посредниками в передаче культурного наследия древности. Но сами они не способны на *оригинальное* культурное творчество, на него, по Фихте, способны из рассматриваемых им народов только германцы. Только у романских народов мог восторжествовать способ мышления, отрицающий разум в пользу рассудка. Только для носителей этих языков органичным является описанное выше в качестве «пустой свободы» представление о свободе как о произволе, а следовательно, общественный строй, в основе которого лежит представление об обществе и государстве как совокупности произвольно определяющих себя индивидов.

Как нетрудно догадаться, немецкому языку, а следовательно, немецкой нации Фихте приписывает ровно противоположные свойства. Будучи органическим порождением цельного хода развития нравственности немецкого народа, немецкий язык воспитывает в его носителях иной, внутренне единый образ мысли. Немец не рассматривает себя как индивида в качестве изначальной и единственно подлинной реальности, не противопоставляет себя обществу и государству, последние для него — естественные формы его су-

ществования, а не результат произвольного выбора. Отсюда серьезность, последовательность и честность немецкого характера.

После событий XX века невозможно без смешанных чувств воспринимать из уст немца славословия немецкому характеру и утверждения о его превосходстве над какими-либо другими. Национальное чувство есть, безусловно, явление нравственного порядка, а его отрицание, как мы говорили выше, разрушает саму почву нравственности. Каждая нация представляет собой особенный способ раскрытия разума, особенный способ реализации нравственности, и попытка заменить многообразие этих путей одним единственно верным есть несомненное свидетельство рассудочности мышления, ведь именно рассудок не способен мыслить единство иначе как противоположность многообразию. Но и педантизирование особенного момента, стремление выдать его за нечто самостоятельное или всеобщее, не более разумно. Попытка выдать национальную особенность за всеобщее, что и представляет собой национализм, неизбежно превращает нравственное в своей основе национальное чувство в его противоположность. Потому апелляция к национальному есть вещь обоюдоострая: с одной стороны, она оправдана в той мере, в какой актуализирует всеобщее в содержании национального, но если она переходит всегда проблематичную грань, за которой начинается предпочтение самой особенной формы национального, она теряет свою разумную природу, открывая себя превращению в противоразумное, истеричное, поскольку бесосновное, и питающееся ненавистью к своей противоположности чувство.

На вопрос, переходит ли Фихте в «Речах к немецкой нации» эту грань, нельзя дать односложного ответа. Его пышная, обращенная к широкой публике германофильская риторика, несомненно, содействовала не только росту национального самосознания немцев, но возвращала и национальную гордыню, содействовала укреплению чувства ленивой самоудовлетворенности, принимающего наличное состояние нации за верх совершенства. Но целью его было нечто иное. В характере немецкого народа он видел, и не безосновательно, предрасположенность к более высокому строю мысли и отношений, чем до сих пор выступавшие, и стремился к тому, чтобы осуществить с помощью этого народа такой строй. Его восхваления немецкой нации — это похвала многообещающему талантливому ученику, попытка пробудить в нем глубокий интерес к предстоящей нелегкой учебе. Фихте ошибся в своих расчетах — ученик оказался способен не столько к обучению, сколько к самооболащиванию. С удовольствием выслушав похвалы, он поставил учебники, не раскрыв их, на почетное место. Фихте, возможно, заслуживает упрека в том, что для достижения своих целей он избрал, как оказалось позже, не те средства, но в отношении самих целей этот результат еще ни о чем не свидетельствует. Кроме того, преувеличенный национальный пафос автора «Речей» объясняется еще и тем бедственным положением, в котором находилась немецкая нация в тот момент, желанием вернуть ей самоуважение и веру в себя.

Основная цель «Речей к немецкой нации», как уже было сказано, заключалась в том, чтобы способствовать

переходу человечества из третьей эпохи мировой истории в четвертую. Принципом четвертой эпохи, с точки зрения Фихте, является принцип наукоучения — «абсолютное Я», «дело-действие», единое во многом, в отношении истории характеризуемое им как разум, «на себе самом основывающееся и покоящееся бытие и жизнь».¹⁰ Наиболее распространено истолкование этого принципа как субъективно-идеалистического. Согласно этому взгляду, «дело-действие» есть духовное начало человека как индивида, взятого в его обособленности, которому Фихте, отрицавший действительное бытие объективного, ошибочно приписал абсолютность.

Фихте, разумеется, не отрицал существования представлений об объективном, его отрицание относится к тому, что представляемое таково, каким оно выступает в представлении — как объективно существующее само по себе. Истинное бытие, которое таким образом пытается представить себе сознание, не противостоит ему как противоположное. Противоположение, а следовательно, и представление, согласно концепции Фихте, хотя и суть действия самого первопринципа, но не есть сам первопринцип, истинное бытие. И потому объект, подлежащий представлению, есть, но есть не по истине, а как действие представления, противоположения принципа самому себе. В этом отношении и субъект есть также не по истине, но как действие представления. Поскольку же субъект есть понятие, оппозиционное понятию объекта, и не мыслим вне этой оппозиции, что вполне осознавалось Фихте, то харак-

¹⁰ Там же. С. 381.

теристика его философского учения как субъективно-го идеализма представляется очень упрощенной. Еще Гегель, несколько десятилетий спустя после появления наукоучения, отметил неудачность формы последнего, вопреки намерению его автора подставляющей другую точку зрения, чем точка зрения наукоучения.¹¹

В действительности философия Фихте обладает чертами как субъективного, так и абсолютного идеализма, причиной чего является противопоставление им тождества и нетождества. Абсолютный принцип, по его мысли, только тождествен себе самому, и потому получается, что принцип, должный быть абсолютным, лишь относителен и представляет собой лишь возможность своего саморазличения и всего, что из него проистекает. Он нуждается в дополнении тем, что по отношению к нему играло бы роль действительности, выводило бы его из неразличенности. А поскольку в таком случае и в движении к первопринципу, и в мышлении его действующим представляется субъективное мышление, то абсолютный, по исходной интуиции, принцип приобретает черты субъективного.

Но как бы значительны ни были черты субъективизма в способе мышления Фихте принципа наукоучения, несомненным остается то, что намерением его было выдвинуть не односторонний, а именно абсолютный принцип, не принцип духовной деятельности индивида, а принцип, охватывающий собой все явления духовной жизни, в том числе и все предметы представления.

¹¹ Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 3. СПб.: Наука, 1994. С. 518.

Потому в его философии истории индивид рассматривается не в качестве подлинной, покоящейся на себе самой реальности, но как «модификация, определение, изменение и индивидуальное проявление» единого разума.¹² Изменение в мировоззрении, знаменующее собой переход от третьей эпохи к четвертой, должно, по Фихте, заключаться как раз в усмотрении каждым отдельным человеком своей жизни как части жизни человеческого рода и посвящении ее идеям, в которых протекает жизнь последнего.

Здесь наше внимание речам Фихте вновь спотыкается о камни, разбросанные на этом пути двумя столетиями, прошедшими после его выступления. За этот период в Германии и России были предприняты энергичные попытки построить такие общества, в которых с индивидом бы обращались именно как с частью целого, а интересы его трактовались как тождественные интересам этого целого. В современной политической теории эти режимы обозначаются как тоталитарные, что указывает на полный контроль и безальтернативную централизацию власти в государстве и государства над обществом. Такое политическое устройство привело к тому, что отдельные члены общества и его части оказались беззащитными перед влиянием государства, и превратило нарушение их фундаментальных прав в обычное дело, что, казалось бы, навсегда дискредитирует саму идею общества, построенного на подчинении частных целей общим.

¹² *Фихте И. Г.* Основные черты современной эпохи. С. 381.

Но ведь в любом обществе, вне зависимости от того, какую идеологию оно исповедует, цели государства и общества ставятся выше частных. Будь наоборот, никто не имел бы права требовать от индивида каких бы то ни было жертв. Экологи не имели бы права требовать от промышленников применения щадящих природу технологий, поскольку они приводят к удорожанию производства и снижению прибыли и оплаты труда. Государство имело бы право только на такую внешнюю и внутреннюю политику, которая повышала бы благосостояние индивидов здесь и сейчас, поскольку нельзя требовать жертв ради будущего благосостояния, когда именно этих жертвующих индивидов может уже и не быть. И конечно, государство не могло бы требовать от индивида участия в военных действиях, поскольку здесь ему явно угрожает опасность гибели или увечья. Поскольку же подобная практика имеет место, ясно, что вопрос заключается не в том, существует ли право ставить общий интерес выше частного, а в том, каким образом они должны быть сочетаемы, когда один должен быть предпочтен другому и каким должно быть общественное и политическое устройство, обеспечивающее их оптимальное сочетание.

Торжество современного политического либерализма есть, безусловно, реакция на неудовлетворительность тех ответов на указанные вопросы, которые были даны в Германии и России в XX веке. И потому на его знамени начертано — частный интерес превыше всего. Но упор на исключительно частный интерес неизбежно размывает нравственную основу, на которой базируется любого рода общество и государство. Определение

частного интереса предоставлено в таком случае произволу индивида, но это не означает, что оно на деле беспричинно. В конечном итоге оно зависит от того, каким представлением о самом себе обладает человек. Последнее же не является результатом исключительно индивидуальных усилий, в качестве исходной точки и материала им всегда подлежат представления, произведенные предшествующим ходом развития человечества и имеющиеся налицо в идейном арсенале общества.

Когда же декларируется недопустимость вмешательства государства в определение частного интереса, индивид трактуется в качестве конечной инстанции этого определения. При начале развития этого взгляда до всеохватывающей системы отношений интерес индивида достаточно эффективно определяется нравственностью общества, реализующейся в многообразных и до определенного момента успешно развивающихся общественно-экономических механизмах. В них не стоит видеть лишь средство достижения индивидуального благополучия, поскольку его достижение опосредовано здесь тесным взаимодействием с другими индивидами, а в конечном итоге — сообществом в целом, что оказывает гигантское воспитательное воздействие на индивида, корректируя его представления о себе и превращая его в носителя общественной нравственности. Эти механизмы, однако, достаточно хрупки, их действенность зависит от сохранения нравственного климата. Представление об индивиде как конечной инстанции определения частного интереса, дополняемое на начальном этапе неосознаваемым и корректирующим

воспитательным воздействием общества, шаг за шагом начинает разрушать этот климат. Пока существует внешняя угроза такому сообществу, оно способно подпитывать нравственное умонастроение чувством опасности, но как только угроза минует, принцип эгоизма уже ничем не сдерживается. С исчезновением внешней угрозы государство, понимаемое как защитник частных интересов, теряет остатки нравственной почвы, и основным побудительным мотивом действий политиков становится эгоизм, что выражается и в способах политической борьбы, и в государственной политике. Общественные механизмы, не получая в достаточной мере поддержки от государства, начинают приходить в упадок, а с ними — и общественная нравственность. Частные лица, все в меньшей степени побуждаемые к нравственному поведению страхом и примером, также постепенно усваивают себе эгоистическую максиму поведения, что ведет к полной деструкции общества.

Таким образом, попытка современного либерализма решить проблему гармоничного отношения частного и общего чисто политическими средствами, не прибегая к ревизии старого идейного багажа, являющаяся полным и окончательным раскрытием принципа третьей эпохи, обречена на самоотрицание и пересмотр ее парадигмальных установок.

Внимание Фихте в «Речах к немецкой нации» сосредоточено на установлении средства перехода к четвертой эпохе. Государственное и общественное устройство, соответствующее принципам четвертой и пятой эпох, не является их темой. Поэтому в данном введении в чтение этой работы мы оставим в стороне вопросы

о состоятельности тех взглядов на общество и государство, которые Фихте изложил в других своих сочинениях (в первую очередь в работе «Замкнутое торговое государство»), и о том, являются ли изложенные в них взгляды его проектами общества и государства этих эпох. Средство же перехода к новой эпохе философ видит в воспитании.

Но почему все-таки в воспитании, а не в политических или экономических реформах, как это зачастую представляется? Любое изменение политических или экономических обстоятельств, будучи следствием изменений в нравственности народа, ведет к изменению всего нравственного климата и тем самым обладает определенным воспитующим воздействием на индивида. Более того, либерализация политической жизни и способов хозяйствования на первый взгляд привносит такие изменения в характер отношения целого общества и индивида, которые лежат в русле искомого Фихте усиления самодеятельности последнего. Все так, и подобного рода реформы действительно осуществляют определенный шаг в указываемом им направлении. Но такие изменения, усиливая эту самодеятельность, оставляют все же делом случая то, чем она будет определяться, чем человек будет в ней руководствоваться.

Большая свобода самоопределения индивида в политических и экономических сферах, именно в силу ослабления диктата общества и государства, грозит обернуться торжеством эгоизма как жизненной установки. Именно в силу этого ослабления государство и общество становятся беззащитными перед его торжеством, в случае если они не окажутся решающим об-

разом дополнены эффективным воспитанием. Человек должен определять себя сам, но что есть он сам, что есть это пресловутое «я» человека, этот источник самоопределения — вот решающий для самоопределения вопрос, без успешного разрешения которого значительной частью потенциальных граждан и членов общества государство и общество, при всей разумности их устройства, грозят в любой момент развалиться, как картонный домик. Обратное — отсутствие такого разумного политического и общественного устройства при разумном умонастроении граждан — не представляет собой большой проблемы, построение последних в таком случае является лишь делом времени, причем довольно краткого. Эту задачу постижения индивидом самого себя и призвано решить предлагаемое Фихте «новое воспитание».

Основной задачей воспитания и образования, по Фихте, является воспитание «в человеке устойчивой и безошибочной доброй воли»,¹³ и, что то же самое, оно есть «искусство целиком и полностью образовывать человека в человеке».¹⁴ Каждый человек есть модификация, индивидуальное проявление разума, или, иначе, «вечное звено в цепи откровения божественной жизни».¹⁵ Воспитание направлено на то, чтобы открыть человеку эту божественную жизнь в нем самом, а потому — его самого и других как часть этой жизни. Усвоение этой истины является решающим шагом как

¹³ См. настоящее издание: С. 73.

¹⁴ Там же. С. 95.

¹⁵ Там же. С. 91.

в деле воспитания, так и при переходе к четвертой эпохе, поскольку усмотрение этого и составляет ее существо.

Каким же способом должно быть воспитываемо в человеке это убеждение, почему можно быть уверенным в успехе дела воспитания? Согласно Фихте, основу человеческого существа составляет стремление (Trieb). «Основной закон духовной природы человека» заключается в том, что «человек непосредственно стремится к духовной деятельности».¹⁶ Это исходное стремление изначально не определено, определение оно получает посредством его истолкования, перевода его в представления. Это возможно тем образом, что неразличенное дотоле в себе стремление различается на волю и рассудок, взаимодействующие между собой на каждом шагу дальнейшего определения изначально-го стремления. Фихте пишет: «Человек может хотеть только того, что он любит; его любовь есть единственный и в то же время безошибочный мотив его воления и всех его жизненных побуждений и движений».¹⁷ Но что представляет собой то, что любит человек, на что устремлена его воля, это истолковывает рассудок.

По Фихте, существуют два основных способа истолкования изначально-го стремления — путем «смутного чувства» и посредством «ясного познания». «Смутное чувство» застревает на поверхности, принимая единичные предметы за сам предмет стремления. Во втором случае рассудок проникает до законов, управляющих

¹⁶ Там же. С. 77.

¹⁷ Там же. С. 73.

этими единичными предметами. Соответствующим образом истолковывается в каждом случае и само исходное стремление. В первом — как жажда удовольствия, во втором — как стремление к духовной деятельности, в которой рассудок открывает эти законы. В первом случае человек деятелен не преимущественно как человек, т. е. деятелен в гораздо меньшей степени, чем во втором, и потому для того, чтобы он предпочел второе, достаточно раскрыть ему эту деятельность как его собственную, раскрыть эту деятельность в нем самом. Таким путем образование интеллекта, рассудка становится одновременно и воспитанием, образованием воли, соединяясь не внешним, механическим образом, но органически сливаясь.

Недостатком обычного воспитания и образования является то, что в них преимущественно обращаются к памяти воспитанника, преподнося ему готовые знания и нормы поведения. Здесь делом случая является то, усмотрит ли воспитанник в них свою собственную деятельность, усвоит ли он их в самом точном смысле слова или просто запомнит, оставшись, по сути, не затронутым ими. «Новое воспитание», предлагаемое Фихте, идет иным путем. Первым его этапом является развитие интеллекта воспитанника посредством познания природы. Открывая в своей деятельности законы природы, ученик приучается смотреть на нее не как на собрание единичных предметов, но как на закономерное целое, а на себя — также не как на единичное, но как на всеобщее. Этим путем он оказывается подготовлен ко второму этапу — нравственному воспитанию. Привыкнув повсюду усматривать законы, он

станет искать их и в отношениях людей между собой, не удовлетворяясь случайностью произвола. Вторая ступень воспитания, таким образом, является ступенью воспитания гражданина, человека, руководствующегося в своем поведении в обществе и государстве законом. Последнюю фазу воспитания составляет воспитание к истинной религии. Пройдя предшествующие ступени, воспитанник оказывается наконец способным усмотреть себя и всех остальных в качестве «звеньев в цепи откровения божественной жизни», что и было целью образования, поскольку, усвоив это, он станет стремиться к духовному развитию и благу других с той же энергичностью, с какой стремится к собственным, и цнеть общее благо выше всего остального.

Таковы общие принципиальные черты концепции «нового воспитания» И. Г. Фихте, вылитые, как и вся его философия, «из одного куска».¹⁸ Но ее автор не ограничился лишь ими, предложив конкретные пути их реализации. И если в отношении своих принципов его концепция представляется нам более чем продуктивной, то предлагаемые им пути ее реализации очень спорны.

Для того чтобы ускорить процесс перехода к новой эпохе, Фихте предлагает оградить первое поколение воспитанников от влияния существующего общества, поместив их в закрытые учебные заведения. Ему представляется возможным совершить таким образом

¹⁸ Высказывание Ф. Г. Якоби о философии Фихте: *Якоби Ф. Г. Письмо Ф. Г. Якоби к И. Г. Фихте (1799)* // Гаманн И. Г., Якоби Ф. Г. *Философия чувства и веры*. СПб., 2006. С. 215.

революционный скачок из существующего общества в желаемое. Но, с нашей точки зрения, этот опыт может удался только в ограниченных масштабах (вспомним хотя бы Пушкинский лицей), однако в желаемом Фихте объеме он не может быть реализован, поскольку большое количество подобных заведений потребовало бы множества уже воспитанных в новом духе педагогов, воспитание которых уже само по себе есть дело многих лет, поскольку остальное общество, не затронутое преобразованием, неизбежно будет тормозить процесс инерцией привычных ему отношений.

Замыкая воспитанников в закрытой общине, Фихте стремится поместить их в более нравственную среду, чем среда существующего общества. Здесь воспитанники должны сначала приобрести опыт нравственных отношений, чтобы затем, на второй фазе воспитания, приступить к деятельному участию в управлении общиной. По мысли Фихте, созданию нравственного климата в ней должно содействовать то, что община будет находиться на полном или почти полном самообеспечении. Воспитанники должны собственным трудом добывать средства для ее существования.

Но и здесь просматривается ряд проблем. Надежда Фихте на то, что потребный для самообеспечения общины физический труд будет в достаточной мере содействовать интеллектуальному развитию воспитанников, открытию ими закономерностей природы, представляется преувеличенной. На наш взгляд, скорее стоит ожидать обратного. Фихте, правда, предлагает постепенно выделять из среды воспитанников наиболее способных к науке, освобождая их от физического

труда. Но подобная селекция осуществляется в обществе и без создания специальных общин, и вопрос заключается, таким образом, не в ее наличии, а в ее эффективности. В последнем отношении мы не видим у системы «нового воспитания» никаких особенных преимуществ. Что же касается воспитующего воздействия труда на благо целого, то подобное может иметь место и в семье. Семейное воспитание, кроме того, обладает тем преимуществом, что в семье нравственный климат обеспечивается чувством любви членов семьи друг к другу. Разумеется, не в каждой семье он существует в достаточной мере, но и в замкнутой общине воспитанников он не гарантирован.

К безусловным находкам Фихте нужно отнести момент самоуправления общины на втором этапе воспитания и то, что участие воспитанника в нем возрастает по мере его интеллектуального развития. К сожалению, последний этап — этап религиозного воспитания — описан им крайне скупо. Ясно только то, что оно не должно, по мысли Фихте, заключаться в изучении догматов той или иной конфессии.

Отношение Фихте к обучению чтению и письму продиктовано его, как мы полагаем, ошибочной оценкой этих навыков как исключительно средств запоминания. К обучению им он предлагает переходить только в самом конце образовательного процесса. Но ведь каждый знак письменности представляет собой обобщение огромного количества актов употребления устной речи, которые, в свою очередь, суть обобщение и приведение в систему частных представлений. Письменность, кроме того, позволяет приобщиться

к духовному опыту не только тех членов общества, с которыми человек имеет непосредственный контакт. Разумеется, для того, чтобы это могло произойти, не достаточно простого умения складывать буквы в слова. И потому Фихте прав, отталкиваясь от представления о том, что обучение грамоте является основной целью образования и воспитания, но, по нашему мнению, вместе с водой он выплескивает и ребенка.

* * *

С момента появления «Речей к немецкой нации» И. Г. Фихте прошло два столетия, но можно ли сказать, что трактуемые в них проблемы разрешены современностью? История, вопреки объявлениям о ее конце, продолжает свое движение, открывая новые, не предсказанные ее теоретиками и пугающие перспективы. Нации, оказавшиеся на вершине политического могущества, подтачивает внутренняя немощь. Целые, разумеющие грамоте поколения пользуются ею, чтобы набрать в мировой паутине адрес садомазохистского сайта. Не означает ли это, что весь идейный багаж современности, все это упоение опытом и рассудком вполне выказало свою внутреннюю пустоту и требуется нечто большее, чем косметический ремонт? Фихте ошибался, полагая, что человечество на пороге XIX столетия созрело для радикального переворота в своих представлениях, но надо ли ждать еще более внятных признаков упадка, чем сейчас, и что необходимо предпринять? Почву для ответов на эти вопросы дает представляемое здесь

сочинение. Расчистить эту плодородную почву от покрывающих ее сорняков предубеждений было задачей данной статьи.

Политическая и общественная жизнь России за последние десятилетия претерпела радикальную либерализацию. В области образования и воспитания это означало, что нравственные ценности не могли больше транслироваться авторитетным образом, подаваться в качестве уже имеющихся налицо и не подверженных сомнению норм. И нравственный элемент, новые формы воспитания которого в России до сих пор не были найдены, стал выветриваться из институционализированного образования, опустившегося до безразличного в нравственном отношении формирования профессиональных навыков. Если Россия окажется неспособной сочетать самостоятельность индивида с его нравственным умонастроением, то, вне всякого сомнения, возникнет угроза ее исчезновения как с духовной, так и с политической карты мира.

Убеждение автора этих строк в том, что концепция «нового воспитания» Фихте, при всей небесспорности некоторых ее частных моментов, представляет собой средство, с помощью которого эта проблема может быть решена, и побудило его к работе над переводом «Речей к немецкой нации» и написанию данной статьи.

В заключение автор хотел бы выразить сердечную признательность своей семье за понимание и долготерпение и своему Учителю за многолетнюю возможность пользоваться его благосклонным общением и советами, без которых данный труд никогда не увидел бы свет.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующие «Речи» были прочитаны в Берлине зимой 1807—1808 гг. в виде курса лекций¹ и в качестве продолжения «Основных черт современной эпохи», прочитанных зимой 1804—1805 гг. там же (вышли в печать в данном издательстве в 1806 г.²). То, что в них и с их помощью должно было быть сообщено публике, высказано в них самих, и потому нет никакой необходимости в предисловии. Поскольку между тем, вследствие того способа, каким «Речи» попадают в печать,³ образовалось пустое место, которое необходимо заполнить, я заполняю его материалом, уже частично прошедшим цензуру и напечатанным в другом месте, вспомнить о котором заставила эта лакуна и который в целом может найти здесь применение, что в особенности видно в заключении двенадцатой речи, касающемся того же предмета.

Берлин, апрель 1808 г.

Фихте

ИЗ СТАТЬИ «О МАКИАВЕЛЛИ КАК ПИСАТЕЛЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

I

ИЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ» ЭТОЙ СТАТЬИ

В первую очередь нам на ум приходят два сорта людей, от нападков которых мы хотели бы защититься, если это только для нас возможно.

Сначала к тем, кто, поскольку их собственные мысли никогда не покидают пределов свежего номера газеты, считает, что и никто другой на это не способен; что поэтому все, о чем говорят или пишут, связано с этой газетой и должно служить комментарием к ней. Их я прошу обдумать следующее. Никто не может сказать: «Смотрите! Здесь подразумевали того-то и того-то!», не вынеся до этого суждения о том, что тот-то и тот-то действительно и на самом деле таковы, что судящий может их здесь подразумевать; что поэтому ни один писатель, остающийся в области общего, забывающий каждую особенную эпоху в охватывающем все времена правиле, не может быть кем-либо обвинен в сатире без того, чтобы его обвинитель сразу не выдал бы себя самого в качестве первоначального и самостоятельного

автора этой сатиры и так — глупейшим образом — свои собственные тайные мысли.

Далее, есть такие, кто не стесняется никакого дела, но стесняется слов об этих делах, и при этом чрезвычайно. Ты можешь попирать их ногами, и весь мир может это видеть; в этом для них нет ни беды, ни позора, но если затем завести разговор об этом поправлении, то это уже было бы невыносимым оскорблением, несущим зло; тут, правда, и без того подобный разговор ни один разумный и благонамеренный человек не заведет из злорадства, но исключительно только стараясь найти средства для предотвращения подобной ситуации. То же самое касается и будущих бед: они не хотят, чтобы их сладкие мечты были прерваны и потому крепко зажимаются перед будущим. Но так как из-за этого другие, не зажавшие глаз, не перестают видеть то, что приближается, и их подмывает сказать и назвать то, что они видят, то первым кажется, что надежней всего они избегнут этой опасности, если будут препятствовать сказыванию и называнию видящих; как будто бы теперь, в противоположность действительности, из несказывания последует невидение, а из невидения — небытие. Так, лунатик идет краем пропасти, и его не окликают из милосердия, его состояние сейчас для него защита — он погибнет, если пробудится. Если бы мечты подобных людей несли с собой дар, привилегию и безопасность лунатика, давая средство спасти их, не окликая и не будя их! Говорят, что страус якобы зажимается, видя приближающегося охотника, как будто бы опасность, больше им не видимая, перестает и существовать. А ведь тот, кто крикнул бы страусу:

«Открой глаза! Смотри — приближается охотник! Беги туда и тебе удастся ускользнуть от него!», был бы во все не врагом ему.

II

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА ПЕЧАТИ И ПРЕССЫ В ЭПОХУ МАКИАВЕЛЛИ

В связи с предыдущим отрывком, а также потому, что кто-нибудь из наших читателей удивляется, пожалуй, тому, как только что сообщенное касается Макиавелли, стоит в начале девятнадцатого столетия бросить взгляд из стран, которые бахвалятся высшей степенью свободы мысли, на свободу печати и прессы, царившую в начале шестнадцатого столетия в Италии и Риме — резиденции папы. Из тысячи примеров я приведу лишь один. «История Флоренции» Макиавелли была написана по заказу папы Клементы VII⁴ и посвящена ему же. Уже в первой книге «Истории» читаем следующее: «В то время как вплоть до этого периода не встречается никаких сообщений о свойственниках или родственниках какого-либо папы, то с этого момента история переполняется таковыми и дело доходит даже до сыновей, так что будущим папам уже ни в чем не возможно перещеголять предыдущих, им остается разве что только начать передавать по наследству папский престол, как их предшественники раньше стремились одаривать своих сыновей княжествами».

Этот самый Клемент выдает *honesto Antonii* (так звали издателя) *desiderio annuere volens*, привилегию

на издание «Истории Флоренции», книг «Государь» и «Размышления»; в документе всем христианам запрещается перепечатывать эти книги под угрозой отлучения от церкви, а папским подданным сверх того — под угрозой конфискации тиража и штрафа в размере 25 дукатов.

Это, конечно, нуждается в разъяснении. Папы и иерархи церкви сами рассматривали всю ее организацию в качестве только лишь декорации для самой низкой черни и, насколько это возможно, для ультрамонтанов; они были достаточно либеральны для того, чтобы позволить каждому утонченному и образованному итальянцу думать, говорить и писать об этих вещах с той же свободой, с какой они сами говорили о них между собой. Образованного человека они не хотели обманывать, а неграмотная чернь не читала. Также легко объяснить, почему позже потребовались другие правила. Реформаторы научили немецкий народ читать, они ссылались на писателей, видевших исключительно папу своим читателем; пример оказался заразительным и для других стран — писатели превратились в страшную, и потому должную находиться под наблюдением, силу.

Также и эти времена прошли, и ныне, в особенности в протестантских странах, некоторые отрасли писательства, например философское установление всеобщих основоположений всякого рода, подвергаются цензуре определенно только в силу традиции. При этом позволено любым образом портить столько бумаги, сколько вздумается, тем, кому нечего сказать сверх того, что каждый уже и так знает наизусть; если

же вдруг произносится действительно что-то новое, то цензор, который не сразу понимает, о чем идет речь, начинает подозревать, что здесь может скрываться незаметный для него яд, и, чтобы полностью обезопасить себя, поскорее запрещает это. Поэтому не стоит ставить в вину какому-нибудь писателю начала девятнадцатого века в протестантской стране, если он пожелает себе подобающую и скромную толику той свободы прессы, которую папы в начале шестнадцатого века без всяких опасений признавали за всеми.

III

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К НЕСКОЛЬКИМ, ОСТАВШИМСЯ НЕОПУБЛИКОВАННЫМИ БЕСЕДАМ О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ И ЕЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ⁵

В пределах этих ограничений, требуемых законом и справедливостью, теми, кто без всякого стеснения осуществляет нечто на деле, нам, как я полагаю, вполне может быть позволено без стеснения сказать о том, что они делают; поскольку ведь очевидно, что дело, которое, несомненно, заметят и без нашего сказывания о нем, причинит гораздо больше неприятностей, чем наше последующее сказывание об этом деле. И хотя совершенно ничто не препятствует тому, чтобы те, кто по долгу службы должны надзирать за книгоиздательством, частным образом принимали сторону одной из двух главных соперничающих в настоящий момент в духовном мире партий; но все же они имеют право от-

стаивать интересы этой своей партии только тогда, когда они сами выступают в качестве писателей, в качестве же государственных служащих они вовсе не принадлежат ни к какой партии и обязаны даровать рассудку, который и без того намного реже, чем безрассудство, просит у них слова, то же самое, что они ежедневно позволяют последнему — по собственному желанию удовлетворять свои потребности; они ни в коем случае не уполномочены глушить любой звук, если он для их ушей звучит чуждо или парадоксально.

Берлин, июль 1806 г.

ПЕРВАЯ РЕЧЬ

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ И ОБЗОР ЦЕЛОГО

Я объявил «Речи», которые я в настоящий момент начинаю, продолжением лекций, прочитанных мною зимой три года назад здесь, на этом самом месте, и опубликованных под названием «Основные черты современной эпохи». В тех лекциях я показал, что наше время принадлежит к третьему периоду всего мирового времени, источником всех жизненных порывов и движений которого служит голое чувственное своеобразие; что это время полностью понимает и постигает себя в возможности этого побуждения и что оно глубоко обосновано в своем существе и непоколебимо укреплено посредством этого ясного усмотрения своего сущства.

В нашу эпоху время продвигается гигантскими шагами, быстрее, чем в какую-либо другую эпоху с момента начала мировой истории. За те три года, что прошли с тех пор, как мною было дано это истолкование современной эпохи, она кое-где уже миновала и завершилась. Кое-где эгоизм уничтожил самого себя посредством полного своего развития, поскольку он за это время потерял свою самость и ее самостоятельность; и ему, поскольку он добровольно не принимает никаких

других целей, кроме самого себя, внешней силой была навязана такая, другая и чуждая цель. Тот, кто однажды предпринял попытку истолкования своего времени, также обязан продвинуться вперед в своем истолковании, если оно продвинется вперед; и потому я обязан перед той публикой, перед которой я нечто обозначал как современность, признать это время прошедшим, после того как оно перестало быть современностью.

То, что потеряло свою самостоятельность, потеряло в то же время способность оказывать влияние на течение времени и свободно определять его содержание; если оно остается в этом положении, то его время и оно само вместе с этим своим временем начинает развиваться посредством чуждой силы, которая распоряжается его судьбой; отныне оно больше не обладает даже своим собственным временем, но ведет счет лет по событиям и эпохам других народностей и царств. Из этого состояния, в котором весь прежний мир не доступен для самостоятельного вмешательства и в котором для него остается только похвала послушанию, оно могло бы подняться только при том условии, что ему откроется новый мир, с созданием которого для него начался бы новый и его собственный период во времени, наполненный его формированием; но, так как оно подпало чуждой власти, этот новый мир должен быть таким, чтобы оставаться не замечаемым этой властью и никоим образом не возбуждать ее ревности, даже таким, чтобы она сама, побуждаемая своей пользой, стремилась никоим образом не препятствовать его формированию. В случае если бы был такой мир как средство создания новой самости и нового времени

для рода, потерявшего прежнюю самость и прежнее время и мир, то всестороннему истолкованию для того только, чтобы указать такой мир, требовалось бы соответствующее время.

Я, со своей стороны, считаю здесь такой мир существующим; а целью этих речей будет доказать Вам его существование и истинные свойства, показать Вам его живой образ и указать Вам средства его создания. Таким образом, в соответствии со сказанным данные речи будут продолжением прежде прочитанных лекций о современном на тот момент периоде, поскольку они снимут покров с новой эпохи, которая может и должна непосредственно последовать за разрушением царства эгоизма посредством чуждой силы.

Но прежде чем я приступлю к этому делу, я должен попросить Вас предварительно принять, крепко-накрепко запомнить и согласиться со мной в том, где и насколько это потребуется, в отношении следующих пунктов:

1) Я говорю просто для немцев, просто о немцах, не признавая, но откладывая в сторону и отбрасывая все разделяющие различия, которые были созданы в единой нации злосчастными событиями в течение столетий. Вы, Уважаемое собрание, хотя Вы для моего плотского глаза суть первые и непосредственные представители, в которых мне представляются любимые национальные черты, зримый фокус, в котором возгорается пламень моих речей; но дух мой усматривает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, изо всех земель, над которыми она простерлась, рассматривает, обдумывает наше общее положение

и обстоятельства и жаждет, чтобы часть живой силы, с которой, быть может, Вас охватят эти речи, сохранилась и в немом отпечатке, который один будет доступен глазу не присутствующих здесь, чтобы она дышала из него и в любом краю воспламеняла немецкие души к решению и действию. Лишь о немцах и просто для немцев, сказал я. Мы в свое время покажем, что иное обозначение единства или национальной связи или никогда не обладало ни истиной, ни значением, или если обладало, то эти точки единства уничтожены и оторваны от нас нашим нынешним положением и никогда не смогут возвратиться; что предотвратить закат нашей нации — слияние ее с зарубежьем, вновь добыть самость, покоящуюся только на себе самой и совершенно неспособную впасть в какую бы то ни было зависимость, мы можем исключительно только посредством общего всему немецкому фундаментального свойства. То, как мы станем рассматривать эту самость, заставит одновременно совершенно исчезнуть видимость противоречия этого утверждения иным обязанностям и задачам, считающимся священными, которая, возможно, пугает некоторых.

И поскольку я говорю о немцах вообще, я буду высказывать кое-что, что к нам ближайшим образом не относится, как все же относящееся к нам, а кое-что непосредственно относящееся только к нам — как относящееся ко всем немцам. В духе, истечением которого являются эти речи, я усматриваю насквозь сращенное единство, в котором ни один из членов не считает судьбу другого чужой и которое должно и обязано возникнуть, если только мы не должны совершенно

исчезнуть, — я вижу это единство уже возникшим, завершенным и присутствующим в настоящем.

2) Я предполагаю таких немецких слушателей, которые не растворяются целиком в чувстве боли от пережитой потери, не теряются в этой боли, не наслаждаются своей безутешностью и не намерены ответить этим чувством на обращенное к ним требование действовать; таких, которые уже сами поднялись от этой справедливой боли к ясному осознанию и рассмотрению или по меньшей мере способны подняться. Мне знакома эта боль, я пережил ее, как и другие, я уважаю ее; тупость, которая довольна, если найдется еда и питье и если ее не беспокоит телесная боль, и для которой честь, свобода, самостоятельность — пустые слова, на нее не способна; но даже и эта боль существует только для того, чтобы подстегнуть наше осознание, решительность, поступок; если она не достигает своей конечной цели, то она лишает нас осознанности, отнимает у нас все еще остающиеся силы и тем довершает наше бедствие, ясно показывая сверх того как свидетельство нашей лени и трусости, что мы заслужили это бедствие. Я, однако, ни в коем случае не намерен поднять Вас над этой болью, подавая надежду на помощь извне и указывая на разнообразные события и изменения, которые может принести время. Но, даже не говоря о том, что этот образ мысли, который охотнее блуждает в ненадежном мире возможного, чем держится необходимого, и охотнее готов благодарить за свое спасение слепой случай, чем самого себя, и сам по себе, и в своих поступках демонстрирует преступнейшее легкомыслие и глубочайшее презрение к себе

самому, сверх всего этого — все эти утешения и ссылки подобного рода совершенно ничем не могут помочь в нашем положении. Можно четко доказать, и мы это сделаем в свой черед, что нам не в силах помочь ни человек, ни Бог и ни одно из лежащих в области возможного событий, но что мы сами должны себе помочь, если только нам должно что-то помочь. Я буду стараться поднять Вас над болью, скорее, с помощью ясного усмотрения нашего положения, еще остающихся у нас сил, средств нашего спасения. Но поэтому я буду призывать к определенной степени сознательности, определенной самостоятельности и некоторому самопожертвованию и рассчитываю поэтому на слушателей, к которым можно обращаться с такими призывами. Но впрочем, требования эти в общем и целом не чрезмерны и не предполагают сил больше, чем можно подозревать у нашей эпохи; что же касается опасности, то ее здесь нет никакой.⁶

3) Поскольку я намереваюсь произвести ясное усмотрение немцами как таковыми своего нынешнего положения, я предполагаю слушателей, которые склонны к тому, чтобы усматривать вещи подобного рода собственными глазами, и ни в коем случае таких, которые считают более удобным позволить при рассмотрении подобных предметов подсунуть себе чужие и иностранные приборы для зрения, которые или намеренно рассчитаны на обман, или естественным образом, из-за иной точки зрения и меньшей степени резкости, не могут подойти немецкому глазу. Я предполагаю далее, что эти слушатели, рассматривая дело собственными глазами, будут иметь достаточно мужества честно

видеть то, что есть, и честно признаться себе в том, что они видят, и что они уже победили или хотя бы способны победить часто встречающуюся склонность к самообману в отношении собственных обстоятельств, к тому, чтобы составлять себе несколько более радостный образ о них, чем того требует истина. Эта склонность есть трусливое бегство от собственных мыслей и ребячество, которое верит в свои силы, только если не видит своих бед или по меньшей мере не признается себе в том, что видит их, как будто беды вследствие этого и в действительности исчезнут, как исчезли в его мыслях. Мужественная смелость, напротив, будет заключаться в том, чтобы рассмотреть зло как следует, не отводя глаз, спокойно, холодно и свободно проникнуть его и разъять на составные части. Так же и мастером становятся только с помощью этого ясного усмотрения зла и в борьбе с ним продвигаются вперед уверенным шагом, поскольку, осмотрев все части целого, всегда знают, где находятся и в силу уже достигнутой ясности уверены в своем деле; в противном случае, не имея руководящей нити и твердой уверенности, как слепые и спящие, топчутся на месте.

Но почему мы все же должны пугаться этой ясности? Зло не становится ни меньшим от неизвестности, ни большим от его познания; последнее лишь делает возможным избавление от него; вина от этого не возрастает. Если бы бичевали огорчительными обвинительными речами, едкими насмешками, резким презрением к лени и эгоизму и побуждали бы если уж и не к чему-то лучшему, то по меньшей мере к ненависти и озлоблению против напоминающего об этом,

что также было бы заметным результатом, — то все же ни выздоровление, ни спасение, да и ни облегчение не наступили бы до тех пор, пока необходимое следствие, зло, не нашло бы своего завершения. После же того как зло находит свое полное завершение, так что у нас исчезает даже возможность грешить дальше, продолжать бранить уже несовершаемый грех бессмысленно, иначе это выглядит как злорадство; рассмотрение его из области учения о нравственности переходит в область исторического, для которого свобода уже миновала и которое рассматривает произошедшее в качестве необходимого следствия предшествовавшего. Для наших речей не остается никакой другой точки зрения на современность, кроме последней, и мы не будем переходить ни на какую другую.

Я предполагаю такой образ мысли, когда мыслят себя как просто немцев, когда не скованы болью, когда хотят видеть истину и обладают мужеством взглянуть ей в глаза, я рассчитываю на него при каждом моем слове, и если кто-нибудь пришел с другим, то пусть он те неприятные переживания, которые ему здесь могут быть причинены, припишет исключительно себе самому. Об этом сказано и покончим с этим навсегда, я перехожу теперь к другому делу — дать Вам в общем обзоре основное содержание всех последующих речей.

Кое-где, сказал я при начале моей речи, эгоизм уничтожил себя самого путем полного своего развития, поскольку он при этом потерял свою самость и способность самостоятельно задаваться собственными целями. Это последовавшее теперь уничтожение эгоизма было предсказанным мною развитием эпохи и совершенно

новым событием в ней, которое сделало как возможным, так и необходимым продолжение моего прежнего описания эпохи на моих принципах; это уничтожение будет тем самым нашим собственным настоящим, с которого должна начаться наша новая жизнь в новом мире, существование которого я также стану утверждать; оно станет поэтому собственным исходным пунктом моих речей; и в первую очередь я должен показать, каким образом и почему это уничтожение эгоизма необходимым образом следует из его высшего развития.

Эгоизм достигает высшей степени своего развития тогда, когда, после того как он охватит, за редкими исключениями, всех подвластных, с них он перекинется на правящих и станет их единственным жизненным побуждением. В первую очередь во внешней политике такое правительство проявляет себя в пренебрежении всеми союзами, которые связывали его собственную безопасность с безопасностью других государств, отказе от целого, членом которого являются, лишь для того, чтобы не был нарушен его ленивый покой, печальном заблуждении эгоизма, что царит мир, если его границы находятся в неприкосновенности; а во внутренней политике — в вялом использовании поводов государства, что называют иностранными словами гуманность, либеральность, популярность и что, однако, на немецком языке правильной назвать сонливостью и недостойным поведением.

Когда охватит и правящих, сказал я. Народ может быть совершенно испорчен, т. е. эгоистичен, ведь эгоизм есть корень всякой другой порчи, и все же при этом не только сохранять свое существование, но и со-

вершать внешне блестящие подвиги, если только его правительство не настолько же испорчено; последнее может даже вовне действовать вероломно, безответственно и бесчестно, если только оно обладает мужеством железной рукой удерживать поводья управления внутри и управлять с помощью страха. Но там, где все вышеназванное соединяется, общее существование⁷ гибнет при первой же серьезной угрозе, и так же, как оно само сначала отделилось от целого, частью которого было, его составные части, которых больше не удерживает страх перед ним, но гонит больший страх перед чужаком, отделяются теперь от него с тем же вероломством и разбегаются прочь, каждый в свою сторону. Здесь оставшихся без защиты охватывает еще больший страх, и они широкой рукой и с вынужденно радостными лицами отдают врагу то, что скупое и с крайним нежеланием давали защитнику Отечества; а позже всеми покинутые и преданные правители будут вынуждены покупать свое место подчинением и следованием чужим планам; и теперь бросившие оружие в борьбе за Отечество учатся под чужими знаменами смело направлять его против Отечества. Вот как получается, что эгоизм уничтожается путем его полного развития, и тем, кто по доброй воле не хочет видеть никакой другой цели, кроме себя самих, внешнее насилие навязывает такую другую цель.

Нация, опустившаяся до состояния зависимости, не может подняться из него с помощью обычных и употреблявшихся до сих пор средств. Если ее сопротивление в то время, когда она полностью распорядилась всеми своими силами, оказалось бесплодным, то какие пло-

ды оно принесет тогда, когда она лишилась большей части этих сил? Меры, которые прежде могли помочь, собственно если бы правительство с силой натянуло вожжи, теперь не применимы, так как удила только по видимости находятся в его руках и рука возницы направляется и управляется чужой рукой. Такая нация не может больше рассчитывать на саму себя, не может она также рассчитывать и на победителя. Он должен бы быть так же неосмотрителен, таким же унылым и отчаявшимся, какой прежде была сама та нация, чтобы не удержать достигнутого превосходства и не охранять его всеми способами. Но даже если бы он с течением времени стал бы настолько неосмотрителен и ленив, что, конечно, и сам бы, так же как и мы, погиб, мы не извлекли бы из этого для себя никакой выгоды, поскольку он стал бы добычей нового победителя, а мы оказались бы всего лишь приложением к этой добыче — незначительным и самоочевидным. Если столь низко опустившаяся нация в состоянии себя спасти, то это может произойти только с помощью совершенно нового, еще не испытанного средства, посредством создания совершенно нового порядка вещей. Итак, давайте посмотрим, что было основанием прошедшего порядка вещей, почему ему когда-нибудь должен был прийти конец, чтобы нам в противоположность этой основе заката найти новое звено, которое должно быть добавлено в ход времени, чтобы опустившаяся нация с его помощью подняла себя к новой жизни.

При исследовании этого основания обнаруживается, что во всех прежних конституциях участие единичного в жизни целого было связано с участием в себе самом

посредством таких связей, которые кое-где до такой степени совершенно оборваны, что больше не осталось вообще никакого участия к целому, — посредством связей страха и надежды, которыми благополучие единичного связано с судьбой целого в будущей и настоящей жизни. Просвещение рассчитывающего с помощью чувств рассудка стало той силой, которая устранила связь будущей жизни с нынешней посредством религии, одновременно постигнув дополнительные и замещающие средства нравственного образа мысли, такие как любовь к славе и честь страны, в качестве обманчивых иллюзий; слабость правительств частой безнаказанностью неисполнения долга уничтожила вызванную боязнью наказания связь благополучия единичного, даже его нынешней жизни, с поведением его в отношении целого и также сделала недействительной надежду, которой она потакала, очень часто не обращая внимания на заслуги перед целым, руководствуясь совсем иными правилами и мотивами. Вот какого рода были связи, которые кое-где были совершенно разорваны, а с их разрывом распалось и общее существование.⁸

Конечно, с этих пор победитель может старательно заниматься тем, что только в его силах, а именно возобновлять и укреплять последнюю часть связующих уз — страх и надежду в отношении нынешней жизни; но тем самым он помогает себе, и ни в коем случае нам, ведь насколько он понимает свою пользу, настолько он будет в первую очередь привязывать их к своим выгодам, а к нашим ровно настолько, насколько их достижение служит как средство цели достижению его выгод. Для столь низко павшей нации страх и надежда

отныне бесполезны, поскольку руководство уже не в ее руках, и, хотя сама она вынуждена надеяться и бояться, ее отныне никто больше не боится и не надеется в чем-либо на нее; ей не остается ничего иного, как найти совершенно иные и новые, более высокие, чем страх и надежда, связующие узы, чтобы укрепить благо общего на участии каждого из них ради себя самого.

Над чувственным побуждением страха и надежды, гранича с ним, находится духовное побуждение нравственного одобрения или неодобрения, более высокое чувство удовлетворенности или неудовлетворенности собственным и чужим состоянием. Если внешнее зрение, привыкшее к чистоте и порядку, будет все же мучиться и раздражаться как от непосредственно испытываемой боли из-за пятна, которое телу напрямую не доставляет никакой боли, или из-за вида валяющихся в беспорядке предметов, то привыкшее к грязи и беспорядку будет в это же время чувствовать себя вполне хорошо; так же и внутреннее духовное зрение человека может быть образовано и привычно к тому, что один только вид смутного и беспорядочного, недостойного и бесчестного существования, своего или своих братьев, будет причинять внутренние страдания вне связи с тем, чем это грозит его чувственному благополучию, и что эта боль, опять же совершенно вне зависимости от чувственного страха и надежды, до тех пор не оставит обладателя такого зрения в покое, пока он, насколько это в его силах, не устранил данное состояние и не заменит его на такое, которое одно сможет его удовлетворить. В обладателе такого зрения благо окружающего его целого неразделимо связано, посредством

побуждающего чувства одобрения и неодобрения, с благом его собственной расширенной самости, которая чувствует себя только в качестве части целого и может выносить себя только в одобряемом им целом; самообразование к такому зрению было бы единственным надежным средством, которое остается нации, потерявшей свою самостоятельность, а с ней и влияние на общественные страх и надежду, для того, чтобы вновь подняться из пережитого уничтожения к существованию и чтобы вверить благо нации, о котором с момента упадка не заботится больше ни человек, ни Бог, впервые возникающему и более высокому чувству. Таким образом, средство спасения, указать которое я обещал, состоит в образовании совершенно новой самости, существовавшей прежде, пожалуй, только как исключение у отдельных лиц, но никогда как всеобщая и национальная самость, и в воспитании нации, чья прошлая жизнь угасла и стала приложением к чужой жизни, к совершенно новой жизни, которая или будет принадлежать исключительно только ей, или, если она должна будет от нее распространиться и на другие, при любом делении останется целой и не потерпит ущерба; **одним словом:** то, что я предлагаю в качестве средства сохранения существования немецкой нации, есть полное изменение воспитания.

О том, что детям нужно давать хорошее воспитание, и в нашу эпоху говорят достаточно часто, и даже чересчур часто, и если бы мы со своей стороны хотели сказать то же самое, то это было бы чем-то незначительным. Но поскольку мы намереваемся сказать нечто другое, то мы обязаны точно и определенно ис-

следовать, чего, собственно, недоставало прежнему воспитанию, и указать, что такого совершенно нового измененное воспитание должно привнести в прежнее образование человека.

После такого исследования прежнего воспитания приходится признать, что оно в достаточной мере представляет взору воспитанников картины религиозного, нравственного, законопослушного образа мысли и всякого рода порядка и добрых нравов и что оно от случая к случаю честным образом увещевает их отпечатать эти образцы на своей жизни; но за крайне редкими исключениями, причиной которых поэтому и не было это воспитание, поскольку в противном случае оно имело бы один и тот же закономерный результат в отношении всех прошедших через него, причины которых совершенно иные; за крайне редкими исключениями, говорю я, питомцы этого воспитания следовали вовсе не этим нравственным представлениям и увещеваниям, но побуждениям своего эгоизма, разросшимся в них естественным образом и без всякого вспомоществования искусства воспитания; что служит неопровержимым доказательством того, что это искусство воспитания хотя и в состоянии наполнить память словами и оборотами речи, а холодную и безучастную фантазию — тусклыми и блеклыми образами, но ему никогда не удавалось придать жизненность картине нравственного миропорядка, добиться того, чтобы его воспитанник был охвачен горячей любовью и страстью к нему, и пылким чувством, влекущим к его реализации в жизни, от которого эгоизм осыпается как пожухлая листва; что, следовательно, такое воспитание очень далеко от того, чтобы проникать

вплоть до корня действительных жизненных движений и устремлений и определять их, поскольку они повсюду, не взирая на слепое и бессильное воспитание, созревают, как придется: добрым плодом — у меньшинства Боговдохновенных, дурным — у огромного большинства. Теперь мы уже в совершенно достаточной мере описали это образование по его результатам и, исходя из наших целей, можем избавиться от мучительного занятия по анализу внутренних соков и жил того древа, плоды которого ныне полностью созрели и осыпались, лежат перед глазами всего мира и в высшей степени ясно и постижимо говорят о природе произведшего их. Строго говоря, прежнее воспитание в соответствии с тем, что мы усмотрели, никоим образом не является искусством образования человека, и как бы оно ни бахвалилось последним, довольно часто само по доброй воле признается в собственном бессилии, требуя предоставить в качестве условия его успеха природный талант или гений; такое искусство еще только требуется открыть, и его открытие является собственной задачей нового воспитания. Это новое воспитание должно дополнить прежнее недостающим ему проникновением вплоть до корня жизненных устремлений и движений, и если прежнее должно было, самое большее, образовывать нечто у человека, то это должно образовывать самого человека и делать образование ни в коем случае не имуществом воспитанника, как до сих пор, но скорее составной частью его личности.

Далее, это таким образом ограниченное образование до сих пор было достоянием только очень незначительного меньшинства, именно поэтому называвшегося

образованными сословиями, огромное же большинство, на котором, по сути, покоится общественное существование, народ, оставалось совершенно без попечения искусства воспитания и предоставлено слепому случаю. Мы намерены посредством нового воспитания образовать немцев к новой общности, которая во всех своих частях будет подвижна и оживлена одним и тем же **единым** настроением; и если бы мы при этом намеревались опять отделить образованное сословие, которое одушевлялось бы вновь развитым побуждением нравственного одобрения, от необразованного, то это последнее отпало бы от нас и было бы для нас потеряно, так как надежда и страх, посредством которых только и можно было бы на него воздействовать, служат уже не нам, но против нас. Нам поэтому не остается ничего иного, кроме как распространить новое образование на все без исключения, что есть немецкого, так что оно будет не образованием какого-нибудь особого сословия, но образованием нации просто как таковой и без всякого изъятия каких-либо ее отдельных частей, в котором, собственно, в воспитании ко внутреннему удовлетворению правым полностью снимается и исчезает всякое различие сословий, которое в других ветвях воспитания может продолжать сохраняться; и, таким образом, у нас возникнет ни в коем случае не народное воспитание, но собственное немецкое национальное воспитание.

Я покажу Вам, что искусство воспитания, которого мы жаждем, уже действительно открыто и используется, так что нам остается только принять подносимое, что, как я и обещал, говоря выше о спасительном средстве, вне всякого сомнения, не потребует больших сил,

чем по справедливости можно ожидать у нашей эпохи. К этому обещанию я добавлял еще одно, а именно, что наше предложение не несет с собой никакой опасности, поскольку собственные выгоды повелевающей нами власти скорее подтолкнут к поддержке этого предложения, чем к препятствованию ему. Мне представляется целесообразным ясно высказать это сразу в первой речи.

Хотя и в древнем и в новом мире очень часто искусства совращения и нравственного обещивания подданных с успехом использовались в качестве средств господства: с помощью лживых выдумок и искусственного спутывания понятий и языка государи очернялись в глазах народов, а последние — в глазах первых, чтобы тем надежней править, разделив; хитростью раздувались и развивались все побуждения тщеславия и своекорыстия, чтобы сделать покоренных презренными и со спокойной совестью попирали их; но если бы в отношении нас, немцев, был выбран этот путь, то он, вне всякого сомнения, для вступивших на него стал бы гибельным. Не считая связи страха и надежды, взаимосвязь той части зарубежья, с которой мы пришли в соприкосновение, покоится на побуждениях чести и славы нации; однако немецкая ясность уже давно непоколебимо убедилась в том, что это пустые иллюзии и что никакая рана и никакое увечье единичного не излечивается славой всей нации; мы, пожалуй, могли бы стать, поскольку нам не будет дано никакого более высокого воззрения на жизнь, опасными проповедниками этого легко постижимого и обладающего некоторой привлекательностью учения. И без дальнейшей порчи

мы уже и в нашем естественном состоянии злополучная добыча; только при осуществлении предложенного сможем мы стать благим приобретением; а ведь зарубежье, руководствуясь собственными интересами, охотнее владело бы последним, чем первым, если только оно понимает свою выгоду.

Речь моя обращает это предложение в первую очередь к образованным сословиям Германии, поскольку именно с их стороны можно надеяться на понимание, и призывает главным образом их стать авторами этого нового творения и тем самым, с одной стороны, примирить мир со своей прежней деятельностью, с другой — заслужить продолжение своего существования в будущем. В ходе этих речей мы увидим, что до сих пор всякое развитие человечности в немецкой нации исходило от народа, что всегда сначала в нем проявлялись великие национальные обстоятельства и он заботился о них и содействовал им; что, таким образом, сейчас впервые образованным сословиям представляется возможность вмешаться в развитие нации и что если они действительно воспользуются ею, то и это произойдет впервые. Мы увидим, что эти сословия не могут рассчитывать, на сколь продолжительное время в их власти будет стать во главе действий, поскольку народ уже почти готов к ним и созрел до того, чтобы быть ведомым людьми из народа, так что спустя короткое время он и без всякого нашего содействия сможет сам себе помочь; из чего для нас просто-напросто последует то, что потомки нынешних образованных станут народом, а из нынешнего народа произойдет другое, еще более образованное сословие.

*ВТОРАЯ РЕЧЬ***О СУЩНОСТИ НОВОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЦЕЛОМ**

Предложенное мной средство сохранения немецкой нации вообще, к ясному усмотрению которого эти «Речи» хотят привести сначала Вас, а вместе с Вами и всю нацию, истекает в качестве такого средства из особенностей времени, а так же свойств немецкой нации, поскольку оно должно само оказать воздействие на время и образование национальных свойств. Это средство станет совершенно ясно и понятно только тогда, когда оно будет соединено с ними, а они с ним и когда и то и другое будет представлено в полном взаимопроникновении, что потребует заметного времени, полной же ясности можно ожидать только в конце наших «Речей». Но так как мы все же должны начать с какой-нибудь отдельной части, то самым целесообразным будет рассмотреть это средство сначала само по себе, в его внутренней сущности, отдельно от обстоятельств времени и места, и этому будут посвящены наша сегодняшняя и последующая речи.

Указанным средством было совершенно новое и никогда прежде, следовательно, ни у одного народа не существовавшее национальное воспитание немцев. Это новое воспитание в предыдущей речи в отличие от до сих пор общепринятого уже было обозначено следующим образом: прежнее воспитание в лучшем случае только призывало к добропорядочности и нравствен-

ности, однако эти призывы оставались бесплодными в действительной жизни, которая образовывалась на совершенно других, полностью недоступных этому воспитанию основаниях. В противоположность этому новое воспитание должно быть в состоянии надежно и безошибочно, руководствуясь правилами, образовывать и определять действительные жизненные побуждения и движения своих воспитанников.

На это кто-нибудь мог бы сказать так, как действительно и говорили почти все те, кто руководил прежним воспитанием: как можно от какого-либо воспитания требовать больше того, чтобы оно показывало своему воспитаннику правое и честно призывало его к нему; захочет ли он последовать этим призывам — это его собственное дело, и, если он этого не сделает, — его собственная вина; он обладает свободной волей, лишитесь которой его не в силах никакое образование; на это, чтобы еще четче обозначить мыслимое мною новое воспитание, я отвечу: первое заблуждение прежнего воспитания и внятное признание им своего бессилия и ничтожности как раз и заключается в этом признании и расчете на свободную волю воспитанника. Ведь признавая то, что после всех ее сильнейших воздействий воля все же остается свободной, т. е. нерешительно колеблющейся между добром и злом, воспитание признает, что оно не только совершенно не в силах образовать волю, а так как она есть собственная коренная основа человека, то и самого человека, но и вообще не стремится совершать это образование, считая его невозможным. Новое воспитание, напротив, должно состоять как раз в том, что оно на почве, возделывание

которой оно взяло бы на себя, полностью уничтожило бы свободу воли и в противоположность этому вырастило бы строгую необходимость решений и невозможность противоположного в воле, на которую с этих пор можно смело рассчитывать и на которую можно положиться.

Всякое образование стремится к порождению надежного, определенного и постоянного бытия, которое больше не становится, но есть, и не может быть иначе, чем так, как оно есть. Если бы оно не стремилось к такому бытию, то оно было бы не образованием, а бесцельной игрой; если бы оно не порождало такое бытие, то оно именно поэтому и было бы еще не совершенным. Кто вынужден призывать себя и кто призываем другими к тому, чтобы желать добра, тот еще не обладает определенной и всегда готовой к действию волей, но хочет еще только создать таковую на случай действия; тот, кто обладает таковой, хочет то, чего хочет, на все времена и не может ни при каких обстоятельствах хотеть иного, чем то, чего он именно всегда и хочет; для него свобода воли уничтожена и растворилась в необходимости. Именно этим прежнее время и показало, что оно не имеет ни понятия об образовании человека, ни сил для его реализации; что оно хотело улучшать людей с помощью призывающих проповедей и досадовало и ругалось, когда эти проповеди никого не пугали. Но как могли они испугать? Воля человека обладает своим устойчивым направлением еще до призывов и вне зависимости от них; если оно согласно с твоим призывом, то призыв уже опоздал и человек и без него сделал бы то, к чему ты его призываешь; если оно на-

ходится с ним в противоречии, то ты можешь усыпить его на несколько мгновений, но, как только подвернется случай, он забудет себя самого и твои призывы и последует своей естественной склонности. Если хочешь направить его, то ты должен сделать нечто большее, чем просто заговорить с ним, ты должен сделать его таким, чтобы он не мог желать иного, чем то, что ты хочешь, чтобы он хотел. Напрасно говорить «лети!» тому, кто не имеет крыльев: с помощью твоих призывов он не поднимется и на два шага над землей; но развеи, если сможешь, его духовные крылья, дай ему поупражняться и укрепить их, и он, без всяких твоих призывов, захочет не чего-нибудь, а летать.

Новое воспитание должно произвести эту устойчивую и не колеблющуюся волю с помощью надежного и действенного без исключений правила; необходимость оно само должно изготавлять с намеренной необходимостью. Что прежде становилось хорошим, становилось хорошим с помощью своей природной расположенности, перевешивавшей влияние дурного окружения; никоим образом, однако, не с помощью воспитания, в противном случае все, прошедшие через него, должны были бы становиться хорошими; то, что портилось, также портилось не из-за воспитания, ведь иначе все проходящие через него должны были бы портиться, но из-за себя самих и своей природной склонности; воспитание было в этом отношении всего лишь ничтожно, ни в коем случае не пагубно, собственным образующим средством была духовная природа. Образование человека должно быть передано теперь из рук этой темной и непредсказуемой силы в распоряжение сознательного

искусства, которое наверняка достигнет своей цели во всех, кто будет ему доверен, без всякого исключения, или, если оно ее не достигнет, во всяком случае, будет знать, что оно ее не достигло и что воспитание поэтому еще не завершено. Итак, предложенное мной воспитание должно быть надежным и сознательным искусством образовывать в человеке устойчивую и безошибочную добрую волю, и это — первый его признак.

Далее, человек может хотеть только того, что он любит; его любовь есть единственный, и в то же время безошибочный, мотив его воления и всех его жизненных побуждений и движений. Прежнее искусство государственного управления, собственно как воспитание общественного человека, предполагало в качестве надежного и не имеющего исключений правила, что каждый любит и волит свое собственное чувственное благополучие, и оно искусственно, страхом и надеждой, связывало добрую волю, которую оно жаждало, с помощью этой природной любви с интересом к общему существованию. Не говоря уже о том, что при этом способе воспитания гражданин, внешне ставший безвредным и дельным, внутренне все же остается дурным человеком, ведь низость именно в том и состоит, что любят только свое чувственное благополучие и приводятся в движение только надеждой и страхом за него, не важно — в этой или будущей жизни; не говоря уже об этом, выше мы видели, что больше не можем воспользоваться этой мерой, поскольку страх и надежда служат уже не нам, но против нас, и чувственное себялюбие никоим образом не может дать нам преимущество. Нам поэтому даже по необходимости приходится

стремиться основательно внутренне образовывать хороших людей, поскольку только в таких людях немецкая нация может продолжить свое существование, с помощью дурных же неизбежно сольется с зарубежьем. Поэтому на место этого себялюбия, с которым нельзя больше связывать ничего для нас хорошего, в душах всех, кого мы хотим причислять к немецкой нации, мы должны поставить и основать другую любовь, непосредственно направленную на добро как таковое ради него самого.

Любовь к добру просто как таковому, а не ради его полезности для нас выступает, как мы уже видели, в образе одобрения его, такого одобрения, что им побуждаются к тому, чтобы превратить свою жизнь в его выражение. Следовательно, это внутреннее одобрение было бы тем, что новое воспитание должно было бы произвести как устойчивое и неизменное бытие своего питомца; тем самым это одобрение посредством себя самого основывало бы в качестве необходимой неизменно добрую волю этого питомца.

Одобрение, побуждающее к тому, чтобы осуществить в действительности такой определенный порядок отношений, которого в ней налицо еще нет, предполагает образ такого порядка, предстоящий духу еще до своего действительного бытия и притягивающий к себе одобрение, влекущее к его осуществлению. Тем самым это одобрение предполагает в лице, которое им охвачено, способность самостоятельно создавать подобного рода образы, которые были бы независимыми от действительности, никоим образом не слепками с нее, но скорее прообразами. Я должен теперь в первую

очередь обратиться к этой способности и прошу не забывать во время этого рассмотрения, что производимый посредством этой способности образ может нравиться именно как чистый образ и как такой, в котором мы ощущаем нашу образующую силу, вне связи с тем, что он может быть прообразом действительности, и не в той мере, в какой он влечет к осуществлению; что этот последний — нечто совсем иное, чем первый, и есть наша собственная цель, речь о которой мы не упустим завести позже, первый же есть лишь промежуточное условие для достижения истинной конечной цели воспитания.

Способность самостоятельно создавать образы, которые никоим образом не были бы голыми слепками действительности, но были бы способны становиться ее прообразами, есть та первая, из которой должно исходить образование рода новым воспитанием. Самостоятельно создавать, сказал я, что означает: воспитанник будет изготавливать их себе своими собственными силами, никоим образом не так, что он будет способен лишь страдательно воспринимать данный ему посредством воспитания образ, в достаточной мере постигать его и повторять его так, как он ему дан, как будто все сводится к тому, чтобы обладать этим образом. Собственная самостоятельность в этом образовывании требуется по следующей причине: только при этом условии созданный образ может привлечь деятельное одобрение воспитанника. Одно — только позволять чему-то нравиться себе и не возражать против того, чтобы, самое большее, из одного только расслабленного несопротивления возникала такая склонность; совсем другое — быть охваченным одобрением чего-либо так,

чтобы оно стало творческим, возбуждающим всю нашу способность создания образов. Мы будем говорить не о первом, встречавшемся повсюду и в прежнем воспитании, но о последнем. Но это одобрение воспламеняется только тем, что самодеятельность воспитанника возбуждается и открывается ему с помощью данного предмета, и этот предмет нравится не просто из-за него самого, но в то же время и как предмет выражения духовной силы, последнее же нравится непосредственно, с необходимостью и без всякого исключения.

Эта деятельность по духовному созданию образов, каковую нужно развить в воспитаннике, есть, вне всякого сомнения, деятельность по правилам, которые станут известны действующему, вплоть до усмотрения единственной их возможности в непосредственном опыте в нем самом; т. е. эта деятельность приносит познание, и именно познание всеобщих и не допускающих исключений законов. Так же и в этом свободном, из себя самого начинающемся с этого пункта, развивающемся образовывании невозможно предпринять что-либо вопреки закону, и будут удачными только те поступки, которые следуют закону; поэтому хотя это свободное, развивающееся образовывание первоначально и исходит из слепых попыток, но заканчивается оно все же увеличившимся познанием закона. Потому в своем последнем результате это образование есть образование способности познания воспитанника, и ни в коем случае не историческое, о существующем порядке вещей, но более высокое и философское, о законах, в соответствии с которыми необходим данный порядок вещей. Воспитанник учится.

Я добавлю: воспитанник учится охотно и с удовольствием, ему нравится заниматься не чем иным, как учебой, до тех пор, пока хватает сил; в учении он самостоятелен, а к этому он непосредственно ощущает наибольшую склонность. В этом мы нашли внешний, с одной стороны, непосредственно бросающийся в глаза, с другой — вернейший, признак истинного воспитания, состоящий в том, что все воспитанники, подвергнутые этому воспитанию, не взирая на различия природных способностей и без всякого исключения, учатся с любовью и удовольствием ради самого учения, и ни по какой иной причине. Мы нашли способ воспламенять эту чистую любовь к учению, возбуждать непосредственную самостоятельность воспитанника, а ее делать основоположением познания, так что то, что изучается, изучается в ней.

Первая часть искусства состоит в умении сначала только возбудить эту собственную деятельность воспитанника в каком-нибудь известном нам пункте. Если это удалось, то в дальнейшем важно продолжать сохранять возбужденную в этом пункте деятельность в живости, что возможно исключительно только в систематическом продвижении вперед, в котором любая ошибка воспитания сразу же показывает себя в неудаче задуманного. Мы, следовательно, нашли связь, которой ожидаемый результат будет неразрывно связан с указанным способом действия, вечным и без исключений царящим основным законом духовной природы человека, состоящим в том, что человек непосредственно стремится к духовной деятельности.

Если кто-то, введенный в заблуждение обычным опытом наших дней, усомнится даже в самом суще-

ствовании такого основного закона, то я обращаю его внимание сверх того еще на то, что человек, конечно, от природы лишь чувствен и эгоистичен, пока его гонит непосредственная нужда и сиюминутная чувственная потребность, и что его невозможно удержать от ее удовлетворения никакой духовной потребностью или предостережением; но что он, после того как устранил ее, не слишком склонен к тому, чтобы в своей фантазии заниматься ее болезненным образом и освежать его; но что он гораздо больше любит направлять свои освободившиеся мысли к свободному рассмотрению того, что привлекает внимание его чувств, и что он даже вовсе не пренебрегает поэтическим взлетом в идеальные миры, поскольку природа даровала ему легкое понимание временного, чтобы его осмысление имело некоторый простор для развития к вечному. Последнее доказывается историей всех древних народов и разнообразными наблюдениями и открытиями, сохранившимися до наших дней; это доказывается и в наше время наблюдениями над еще остающимися дикими народами, если только климат не обходится с ними слишком уж сурово, и над нашими собственными детьми; это доказывается даже добровольными признаниями наших фанатичных борцов против идеалов, которые жалуются, что гораздо неприятнее изучать имена и даты, чем взмывать в пустое, как им представляется, пространство идей, которые, как видно из сказанного, охотнее занялись бы вторым, чем первым, если бы только могли себе это позволить. То, что на смену этому естественно-му легкомыслию приходят тяжкие думы, когда даже сытому как единственное, что заполняет и жалит его

душу, предносится и гонит его длинная череда всех могущих случиться в будущем голодовок, произведено в нашу эпоху искусственно, бичеванием естественного легкомыслия у мальчиков, у взрослых — стремлением прослыть умным человеком, каковая слава достается только тому, кто ни на секунду не теряет из виду эту точку зрения; таким образом, это ни в коем случае не природа, которую нам необходимо принимать в расчет, но противный природе и с трудом навязываемый порок, который тут же отпадет, как только его перестанут навязывать.

Выше мы сказали, что это, непосредственно возбуждающее духовную самодеятельность питомца, воспитание производит познание; и это хороший повод еще глубже охарактеризовать новое воспитание в противоположность прежнему. В точном смысле новое воспитание направлено на возбуждение систематически продвигающейся вперед духовной деятельности. Познание, как мы видели раньше, добывается мимоходом и как неизбежное следствие. Даже если это познание, в котором одном может быть схвачен образ действительной жизни, должный в будущем возбуждать серьезную деятельность нашего ставшего взрослым человеком воспитанника; в связи с этим познание составляет, конечно, существенную составную часть желанного образования, но все же нельзя сказать, что новое образование направлено на познание, познание ему лишь достается. В противоположность этому прежнее воспитание было именно направлено на познание и определенный объем материала познания. Далее, тот вид познания, который мимоходом возникает в новом воспитании, и тот, ко-

торый имело своей целью прежнее, очень различны. Для первого возникает познание законов этой деятельности, обуславливающих возможность всякой духовной деятельности. Например, если воспитанник попробует в своей фантазии ограничить пространство с помощью прямой линии, то это будет его впервые пробужденной духовной деятельностью. Если он при этой попытке найдет, что не может ограничить пространство меньше чем тремя прямыми линиями, то последнее будет мимоходом возникшим познанием второй, совершенно иной деятельности способности познания, ограничивающей свободную способность, пробужденную первой. Для этого воспитания с самого начала возникает тем самым поистине превышающее всякий опыт сверхчувственное, строго необходимое и всеобщее познание, которое уже с самого начала охватывает собой впоследствии весь возможный опыт. Прежнее же обучение, напротив, было направлено, как правило, на существующий порядок вещей, как они суть, не в силах указать причину этого, а просто вынужденно веря в него и запоминая; т. е. к просто страдательному восприятию с помощью способности памяти, стоящей исключительно на службе у вещей, посредством чего дело совершенно не могло дойти даже до предчувствия духа как самостоятельного и изначального принципа самих вещей. Пусть новейшая педагогика⁹ даже и не надеется защитить себя от этого упрека с помощью ссылки на свое постоянно подтверждаемое отвращение к механическому заучиванию и на свои знаменитые шедевры в сократической манере; ведь ей уже в другом месте указали, что это сократическое резонирование также было все-

го лишь выучено наизусть,¹⁰ и это тем более опасное заучивание, что воспитаннику, который не мыслит, придается видимость того, что он может мыслить; что при том материале, который она намеревалась применять для развития самостоятельного мышления, и не могло произойти иначе и что к этой цели требуется подходить с совсем другим материалом. Это свойство прежнего обучения проясняет, с одной стороны, почему прежде воспитанник учился, как правило, неохотно, и поэтому медленно и скудно, и почему, за отсутствием привлекательности самого учения, приходилось подстилать чужеродные побудительные мотивы; с другой стороны, отсюда становится понятной основа прежних исключений из правил. Память, если обращаются исключительно к ней, без того, чтобы она служила какой-нибудь другой духовной цели, есть, скорее, страдание души, чем ее деятельность, и понятно, что воспитанник в высшей степени неохотно принимает это страдание. Так же и ознакомление с совершенно чуждыми и не обладающими для него ни малейшим интересом вещами и их особенностями представляет собой скверную плату за причиненные ему страдания; потому-то и приходилось преодолевать его отвращение увещеваниями о пользе этих познаний в будущем, о том, что только посредством них можно обрести хлеб и честь, даже с помощью наказаний и поощрений в настоящем; тем самым познание с самого начала выставляется в качестве служанки чувственного благополучия, и это воспитание, в отношении которого выше было выяснено, что оно со стороны своего содержания бессильно развить нравственный образ мысли, чтобы только досту-

чатся до воспитанника, вынуждено даже насаждать и взращивать в нем моральную порочность, привязывать свой интерес к интересу этой порочности. Далее будет усмотрено, что природный талант, который в виде исключения из правил с охотой и потому хорошо учился в школе этого прежнего воспитания, с помощью царящей в нем более высокой любви преодолевал моральную порчу окружения и сохранял свой ум в чистоте, посредством своей природной склонности раскрывал практический смысл предметов и, руководимый своим счастливым инстинктом, в большей мере устремлялся к тому, чтобы самому порождать познания такого рода, чем к тому, чтобы просто воспринимать их; затем, что касается учебных предметов, с которыми в качестве исключения из правил дела у этого воспитания обстояли в целом самым благополучным образом, то так было потому, что оно позволяло заниматься ими деятельно, так, например, те из языков, в процессе обучения которыми упражнялись в письме и общении на них, изучались чуть ли не безупречно, те же, в изучении которых, напротив, пренебрегали письменными и устными упражнениями, как правило, выучивались очень плохо и поверхностно и забывались в зрелом возрасте. Так что даже из прошлого опыта получается, что только лишь из развития духовной деятельности в обучении проистекает стремление к познанию исключительно как таковому, только оно сохраняет душу открытой для нравственного образования, чисто же страдательное восприятие, напротив, парализует и убивает познание, и ее потребностью является уничтожить на корню нравственное чувство.

Но возвратимся к питомцу нового воспитания: ясно, что тот, кто движим своей любовью, научится многому и, так как он все схватывает в его взаимосвязи и тут же делом упражняется в схваченном, это многое выучит правильно и раз и навсегда. И все же это второстепенно. Важнее то, что посредством этой любви возвышается его самость и осознается и вводится в соответствии с правилом в совершенно новый порядок вещей, до которого до сих пор случайно добирались по милости Божьей только немногие. Им движет любовь, которая не направлена совершенно ни на какое чувственное удовольствие, поскольку последнее как побудительная причина совершенно немо для него, направлена на духовную деятельность, ради этой деятельности, и на ее закон, ради этого закона. Хотя эта духовная деятельность не является тем, на что вообще направлена нравственность, и к ней еще должна добавиться направленность этой деятельности, но все же эта любовь есть всеобщее свойство и форма нравственной воли; таким образом, этот способ духовного образования — непосредственная подготовка к нравственному образованию; но он совершенно искореняет безнравственность тем, что никогда не допускает чувственное удовольствие в качестве побудительного мотива. До сих пор этот мотив был первым, который пробуждали и образовывали, поскольку не надеялись на то, что другим способом смогут воздействовать на воспитанника и получают некоторое влияние на него; когда же после этого приходило время для развития нравственного побуждения, то оно приходило слишком поздно и находило сердце уже занятым и заполненным другой любовью. Посредством

нового воспитания образование чистого воления, наоборот, должно стать первым, для того чтобы эгоизм, если позже он все-таки пробудится или будет пробужден извне, приходил слишком поздно и не находил себе места в занятой уже чем-то другим душе.

Для этой цели, так же как и для уже указанной последующей, существенно важно, чтобы воспитанник с самого начала непрерывно и целиком находился под влиянием этого воспитания и чтобы он был совершенно изолирован от общества и тем самым предохранен от всякого соприкосновения с ним. Он вовсе не должен слышать о том, что в жизни надо пошевеливаться ради сохранения себя и своего благополучия, или о том, что учатся ради этого и что учение может в этом как-то помочь. Отсюда следует, что к нему должен применяться только этот способ духовного развития, что здесь не должно быть никаких перерывов и что этот способ обучения ни в коем случае не должен быть перемежаем другим, противоположным, нуждающимся в чувственном побуждении.

Хотя это духовное развитие не допускает к жизни эгоизма и дает форму нравственной воли, но это потому еще и не сама нравственная воля; и если бы предложенное нами новое воспитание не шло бы дальше, то оно в самом лучшем случае воспитывало бы хороших работников науки, каковые до сих пор имелись и потребны в небольших количествах, для нашей собственной человеческой и национальной цели они были бы в силах совершить не более, что подобные им мужи уже совершали прежде: призывать и вновь призывать, давать поводы для изумления и, при случае, для поношения.

Но ясно и было уже сказано выше, что эта свободная деятельность духа развивается с тем намерением, чтобы воспитанник с ее помощью свободно создал образ нравственного порядка действительно имеющейся жизни, постиг этот образ с помощью уже как раз развитой в нем любви и посредством этой любви был подвигнут к тому, чтобы привести его к существованию в своей жизни и посредством нее. Спрашивается, как новое воспитание могло бы доказать, что оно достигло в воспитаннике этой своей собственной и последней цели?

Во-первых, ясно, что духовная деятельность воспитанника, ранее уже укрепленная обращением с другими предметами, должна быть пробуждена к тому, чтобы создать образ общественных отношений людей, какими они должны быть в соответствии с законом разума как таковым. Правилен ли созданный воспитанником образ, об этом легче всего судить воспитанию, если оно только само обладает этим правильным образом; действительно ли он создан собственной самодеятельностью воспитанника или только воспринят страдательным образом и по-школярски принят на веру и повторяется; далее, поднялся ли он до соответствующей ясности и живости, об этом воспитание сможет судить тем же образом, каким оно прежде в том же самом отношении выносило справедливый приговор по поводу других предметов. Все это еще дело голого познания и остается в его области, легко доступной в этом воспитании. Но совсем другой и более высокий вопрос состоит в следующем: охвачен ли воспитанник пламенной любовью к такому порядку вещей, так что для него, после того как руководство воспитания закончилось бы и он стал

бы самостоятельным, совершенно невозможно было бы не хотеть этого порядка и не работать изо всех своих сил ради содействия ему? Этот вопрос решается не словами и не использующими слова экзаменами, но только делами.

Поставленную нам последним рассмотрением задачу я разрешу следующим образом. Питомцы этого нового воспитания, хотя и отделенные от совместной жизни с уже выросшими, будут жить, вне всякого сомнения, в сообществе друг с другом и образуют обособленную и сохраняющуюся для себя самой общину, которая будет иметь свою точно определенную, основанную на природе вещей и требованиях разума конституцию. Самым первым образом товарищеского порядка, к созданию которого дух воспитанника будет побуждаться, будет образ общины, в которой он сам живет, следовательно, он будет внутренне вынужден пункт за пунктом образовывать для себя именно так, как уже предписано в действительности, и постигнет его из его основания во всех частях как необходимый. Это, правда, снова дело голого познания. Каждый единичный при этом общественном порядке должен в действительной жизни воздерживаться ради целого от много такого, что он, не задумываясь, сделал бы, живи он один; целесообразным будет в законодательстве и в построенном на нем обучении основным законам представить единичному остальных с любовью к порядку, приближающейся к идеалу, какой в действительности не обладает, пожалуй, никто в отдельности, но которую должны были бы иметь все; чтобы тем самым законодательство сохраняло высокую степень строгости и возлагало бы

многочисленные обязанности. К последним как просто должным существовать и к тому, на сохранность чего опирается общество, в экстренных ситуациях можно принуждать посредством страха перед посюсторонним наказанием; предусмотренные законом наказания должны быть исполняемы без всякого снисхождения и исключений. Нравственности воспитанника посредством этого применения страха в качестве побудительного мотива не наносится вовсе никакого ущерба, ведь здесь должны будут побуждать не к совершению доброго, но к несовершению установленного в конституции в качестве злого; кроме того, в обучении основному закону будет становиться совершенно ясно, что тот, кому приходится помнить о наказании или даже освежать это представление с помощью претерпевания его, тот находится на очень низкой ступени образования. Но все же при всем этом понятно, что никогда нельзя знать наверняка, проявляют послушание из любви к порядку или из страха наказания, в данном окружении ни воспитанник не может вовсе проявить свою добрую волю, ни воспитание измерить ее.

Окружение же, в котором это измерение, напротив, возможно, следующее. Конституция далее должна быть устроена таким образом, чтобы единичный должен был не просто жертвовать целому, но и активно действовать и идти к свершениям ради него. Кроме духовного развития в учебе в совместном существовании воспитанников будут иметь место и телесные, и механические упражнения, но облагороженные здесь до идеала земледельческие работы и всякого рода ремесла. Основным правилом конституции должно быть то, чтобы каждый,

преуспевший в какой-либо из этих отраслей, был обязан помогать обучать ей других, имел некоторую долю ответственности и осуществлял бы надзор; каждого, кто придумает какое-нибудь улучшение или самым первым и лучше всех поймет предлагаемое учителем, обязывать осуществить его собственноручно, но не освобождать его при этом от обычных обязанностей по учебе и работе; чтобы каждый отвечал этим требованиям добровольно, а не по принуждению, для чего не желающим должна предоставляться возможность отказаться; чтобы за это нельзя было бы ожидать какого-либо вознаграждения, поскольку по конституции все были бы равны в отношении работы и удовольствия, и даже никакой похвалы, поскольку господствующим образом мысли в общине является тот, согласно которому он всего лишь исполняет свою обязанность, а наслаждается он исключительно только радостью от своего дела и спешествования целому и от удачи свершения, если она ему выпадет. В этой конституции, таким образом, из достижения большего совершенства и из приложенного для этого труда будут следовать только новый труд и работа, и именно самый прилежный будет обязан бодрствовать, когда другие спят, и размышлять, когда другие играют.

Воспитанников, которые, хотя все эти правила им совершенно ясны и понятны, продолжают все-таки усердно трудиться и с радостью принимают новые труды, проистекающие из предыдущих, и на которых, таким образом, вполне можно рассчитывать, которые не перестают, а наоборот, все сильнее ощущают свои силы и деятельность, таких питомцев воспитание может

спокойно выпустить в мир; в них оно достигло этой своей цели; в них любовь возжена и пылает вплоть до самого корня их живых движений, и отныне она будет охватывать все, без какого-либо изъятия, что только достигнет этого жизненного движения; и в более обширном сообществе, в которое они ныне вступают, они будут ничем иным, но только тем, чем они неколебимо и неизменно были в малой общине, которую они теперь покидают.

ТРЕТЬЯ РЕЧЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПИСАНИЯ НОВОГО ВОСПИТАНИЯ

Собственная сущность предлагаемого воспитания, в той мере, в какой оно было описано в предыдущей речи, состояла в том, что оно есть сознательное и надежное искусство образовывать воспитанника к чистой нравственности. Я сказал — к чистой нравственности; нравственность, к которой оно воспитывает, выступает первым, независимым и самостоятельным, которое живет из себя самого своей собственной жизнью; но ни в коем случае не так, как с прежде желанной закономерностью, которая привязывалась и прививалась к совсем иному, не нравственному побуждению, удовлетворению которого оно служило. Оно — сознательное и надежное искусство такого нравственного воспитания, сказал я. Оно ступает не наобум и наудачу, но в соответствии

с твердым и отлично ему известным правилом и уверено в своем успехе. Его воспитанник происходит из него в урочный час как устойчивое и неизменное произведение этого его искусства, которое не может действовать иначе, чем оно настроено им, и которое не нуждается даже в помощи, но продолжает свой путь само по себе в соответствии со своим собственным законом.

Это воспитание образует, конечно, и дух своего питомца; это духовное образование есть даже первое, с чего оно начинает свое дело. Но это духовное развитие не является все же первой и самостоятельной целью, а только обуславливающим средством для нравственного образования воспитанника. Но в то же время это только лишь мимоходом приобретенное духовное образование остается неустранимым из жизни воспитанника владением и неугасимым светочем его нравственной любви. Не важно, велика или мала сумма познаний, вынесенных им из воспитания, — он несомненно унес с собой дух, который в течение всей его жизни будет в состоянии постичь любую истину, познание которой только ему потребуется, и останется способным беспрерывно как учиться у других, так и мыслить самостоятельно.

В описании нового воспитания в прошлой речи мы дошли до этого пункта. В конце ее мы отметили, что всем этим воспитание еще не завершается, оно должно решить еще другую, отличную от уже установленных задачу; и теперь мы займемся подробным описанием этой задачи.

Питомец этого воспитания есть не просто член человеческого общества здесь на земле, на короткий

срок жизни, отпущенный ему, но он также есть звено вечной цепи духовной жизни как таковой, находящееся в более высоком общественном порядке, и без сомнения признается таковым и со стороны воспитания. Несомненно, образование, стремящееся охватить все его существо, должно также ввести его и в усмотрение этого более высокого порядка, таким образом направляя его к тому, чтобы он самостоятельно предначертал образ того нравственного миропорядка, который никогда не существует, но вечно должен возникнуть, точно так же, как оно должно вести его к созданию в мысли образа такого сверхчувственного миропорядка, в котором ничто не возникает и который также никогда не возникал, но лишь вечно существует, к созданию с равной самостоятельностью, следовательно яснейшим образом усматривающему и понимающему, что он не может быть иным. Правильно руководимый, он доберется в попытках создать такой образ до конца и под конец найдет, что поистине ничего нет, кроме жизни, и именно духовной жизни, живущей в мышлении; и что все остальное существует не поистине, но только кажется существующим, и он также постигнет проистекающее из мышления основание этой видимости, пусть только в общем виде. Он усмотрит далее, что эта единственно поистине существующая духовная жизнь во всех многообразных образах, которые она получает не случайным путем, но от основанного в самом Боге закона, с другой стороны, есть Одно, сама божественная жизнь, каковая одна только и существует в живом мышлении и открывает себя. Так он познаёт и научится ценить, как святыню, свою жизнь, как вечное звено в цепи

откровения божественной жизни, и всякую другую духовную жизнь, как точно такое же звено; и только в непосредственном соприкосновении с Богом и не передаваемом истечении из него своей жизни научиться находить жизнь, свет и блаженство; а в любом удалении из этой непосредственности — смерть, мрак и несчастье. Одним словом: это развитие образует его к религии; и эта религия проживания нашей жизни в Боге, разумеется, должна и в новую эпоху царить и заботливо пестоваться. Религия же старой эпохи, которая отделяла духовную жизнь от божественной и не могла никак иначе одарить первую абсолютным существованием, которым она ее наделила, кроме как ценой отпадения от второй, и которой Бог был нужен как нить, для того чтобы выводить эгоизм и за пределы смерти бренного тела — в другие миры, укрепляя на них страхом и надеждой слишком ослабевших для этого мира; эта религия, явным образом бывшая служанкой эгоизма, должна быть, конечно, погребена вместе со старой эпохой, ведь в новую эпоху вечность настает не по ту лишь сторону гроба, но для нее она оказывается посреди ее современности, эгоизм же отрешен и от власти, и от службы и потому, уходя, забирает с собой и свою служанку.

Воспитание к истинной религии есть тем самым последнее предприятие нового воспитания. Действительно ли воспитанник при создании необходимого здесь образа сверхчувственного миропорядка действовал самостоятельно, и во всем ли созданный образ правилен и совершенно ясен и понятен, об этом воспитание сможет судить так же легко, как и в отношении других

предметов познания; ведь даже и это остается в области познания.

Но и здесь важнее вопрос: как воспитание может взвесить и гарантировать себе, что эти религиозные познания не останутся мертвыми и холодными, но что они выразят себя в действительной жизни его воспитанника? Этому вопросу должен предшествовать ответ на другой вопрос, а именно: как и каким образом вообще проявляет себя религия в жизни?

Непосредственно в обычной жизни и в благоустроенном обществе для того, чтобы образовывать жизнь, нет нужды в религии, для этой цели совершенно достаточно истинной нравственности. В этом отношении религия не практична, и не должна становиться практичной, но есть исключительно лишь познание: она только делает человека совершенно ясным и понятным для него самого, отвечает на самый высокий вопрос, который он может задать, разрешает для него последнее противоречие и таким образом приносит полное единство с самим собой и сбывшуюся ясность в его рассудок. Она есть его полное спасение и освобождение от всех чуждых пут; и, таким образом, она обязана давать ему воспитание, как то, что ему подобает просто и без всяких дальнейших целей. Область, в которой религия действует как движущий мотив, она получает или только в высшей степени испорченном обществе, или если сфера деятельности человека лежит не внутри общественного порядка, но выше него и она скорее должна постоянно продолжать создавать и сохранять его, как это происходит с верховным правителем, который во многих ситуациях без религии совершенно не мог бы исполнять

свою должность с чистой совестью. В последнем случае речь не идет о воспитании, рассчитанном на всех и нацию в целом. В отношении первого: там, где все же неустанно продолжают работать над исправлением эпохи, несмотря на то, что рассудок ясно усмотрит ее неисправимость; там, где, не имея надежды на урожай, мужественно засевают потом; там, где делают добро даже и неблагодарным, где проклинающих даруют и делом, и имуществом и в ясном предвидении того, что они не прекратят проклинать; там, где стократные неудачи преодолеваются с верой и любовью, — там движет не голая нравственность, ведь она стремится к цели, но религия, предание себя в руки высшего, неизвестного нам закона, смиренное умолкание перед Богом, внутренняя любовь к его жизни, пробивающейся в нас, которая одна и ради нее самой должна быть спасена там, где уже нельзя спасти ничего другого.

Таким образом, желаемое религиозное усмотрение питомцев нового воспитания в их малой общине, в которой они изначально возрастают, не может и не должно быть практичным. Эта община благоустроена, и в ней предпринимаемое с умом всегда удастся; а кроме того, человека в нежном возрасте не стоит смущать и нужно сохранять в спокойной вере в род человеческий. Предоставим познание его коварства собственному опыту зрелого и более стойкого возраста.

Итак, только в этом, более зрелом, возрасте и в серьезной жизни, после того как воспитание давно уже предоставило его себе самому, его питомцу в качестве движущего мотива может понадобиться его религиозное знание, в случае если от простоты он подни-

мется до более высокого общественного положения. Как воспитание, которое не может проверить питомца в отношении этого пункта тогда, когда он в его руках, может быть все же уверенным в том, что действие будет руководствоваться непременно этим мотивом, когда в этом наступит потребность? Отвечу: в силу того, что его воспитанник образован вообще так, что ни одно из познаний, которыми он обладает, не остается в нем мертвым и холодным, когда для него возникает возможность обрести жизнь, но каждое неизбежно тут же вмешивается в жизнь, как только у жизни возникает в нем потребность. Я сразу же еще глубже обосную это утверждение и тем самым подниму выше все это рассматривавшееся в данной и предыдущей речи понятие, включив его в более широкое целое познания, само же это более широкое целое я, исходя из этого понятия, представлю в новом свете и большей ясности, после того как сначала определенно укажу истинную сущность нового воспитания, общее описание которого я только что завершил.

Это воспитание выступает теперь в отличие от начала нашей сегодняшней речи не просто как искусство образовывать воспитанника к чистой нравственности, оно проясняется скорее как искусство целиком и полностью образовывать человека в человеке. Две основные стороны этого: во-первых, в отношении формы образуется действительный живой человек, вплоть до корня его жизни, ни в коем случае не голая тень и схема человека; далее, в отношении содержания формируются все необходимые составные части человека в равной мере и без изъятия. Эти составные части суть рассудок

и воля, и воспитание должно стремиться к ясности первого и чистоте второй. К ясности первого поднимают два основных вопроса: во-первых, что это такое, чего желает чистая воля и какими средствами может быть достигнуто это желаемое — занимаясь этим основным вопросом, воспитанник усвоит и все остальные познания; во-вторых, что такое по своему существу сама эта чистая воля, посредством чего будет постигнуто религиозное познание. Развитие двух этих основных сторон, вплоть до включения их в активную жизнь, просто требуется воспитанием, и оно никого не освобождает даже от их малейшей части, ведь каждый должен стать человеком; кем кто-либо станет сверх того и какую особенную форму в нем примет или получит человечность, это общего воспитания совершенно не касается и находится вне его компетенции. Я перехожу теперь к обещанному более глубокому обоснованию положения о том, что для питомца нового воспитания никакое познание не может оставаться мертвым, и к взаимосвязи, в которую я намереваюсь поднять все сказанное, и сделаю это посредством следующих положений.

1) Вследствие сказанного с точки зрения образования существует два совершенно различных и полностью противоположных рода людей. Скажем сразу, что все, что есть человек, а потому и оба этих рода, заключается в том, что в основании многообразных выражений его жизни лежит побуждение, которое остается неизменным и равным себе во всех изменениях. — Мимоходом отметим, что самопостижение этого побуждения и перевод его в понятия создает мир, и нет никакого другого мира, кроме этого, таким путем создающего себя

в ни в коем случае не свободном, но необходимом мышлении. Это побуждение, должное постоянно быть переводимым в сознание, в котором оба рода опять же равны друг другу, может быть переводимо в сознание двумя способами, в соответствии с двумя основными типами сознания, и эти роды различаются между собой этими способами перевода в сознание и понимания себя самого.

Первый основной тип сознания, возникающий во времени самым первым, есть смутное чувство. С помощью этого чувства основное побуждение обычно и как правило схватывается как любовь единичного к самому себе, и смутное чувство изначально преподносит эту самость только как то, что хочет жить и наслаждаться. Так чувственный эгоизм становится действительным основным побуждением и движущей силой жизни, запутанной этим переводом ее изначального основного побуждения. Человек будет поступать эгоистично и не может иначе до тех пор, пока он продолжает так понимать себя; и в непрестанных изменениях его жизни единственно только этот эгоизм постоянен, остается равным себе и всегда присутствует. Это смутное чувство в виде экстраординарного исключения из правил может прыгнуть выше личной самости и схватить основное побуждение как требование иного, смутно ощущаемого порядка вещей. Отсюда проистекает та любовь, в достаточной мере описанная нами в других местах, которая, поднявшись над эгоизмом, движима идеями, пусть смутными, но все же идеями и в которой царит разум в виде инстинкта. Это схватывание основного побуждения только смутным чувством вообще есть

основная черта людей первого рода, которые образуются не воспитанием, но сами собой; этот род охватывает два вида, которые расходятся по непостижимой, совершенно недоступной человеческому искусству причине.

Второй основной тип сознания, который, как правило, не развивается сам по себе, но должен заботливо пестоваться в обществе, — это ясное познание. Если основное побуждение человечности схватывается в этой стихии, то развивается второй, совершенно отличный от первого род людей. Такое, схватывающее саму фундаментальную любовь, познание не оставляет познающего, как это, пожалуй, может произойти с другим познанием, холодным и безучастным, но его предмет любим больше всего, так как он есть истолкование и перевод нашей изначальной любви. Другое познание схватывает чуждое, которое остается чуждым понающему и оставляет его холодным; первое же схватывает самого познающего и его любовь, и он любит его. Несмотря на то, что людьми обоих родов движет одна и та же любовь, лишь проявляющаяся различным образом, можно сказать, отвлекаясь от этого обстоятельства, что там человеком движет смутное чувство, а здесь — ясное познание.

Для того чтобы такое ясное познание становилось в жизни непосредственно побуждающим и на него можно было с уверенностью рассчитывать, нужно, как было сказано, чтобы то, что им истолковывается, было действительной и истинной любовью человека, а также чтобы ему становилось непосредственно ясно, что это так, чтобы одновременно с истолкованием в нем развивалось и им воспринималось чувство

этой любви, чтобы поэтому познание у него никогда не развивалось без того, чтобы возникала любовь, поскольку в противном случае он оставался бы холоден, а также никогда — любовь без познания, поскольку в противном случае его движущим мотивом стало бы смутное чувство; чтобы, следовательно, с каждым шагом образования образовывался весь человек в целом. Человек, с которым воспитание всегда обращалось как с неделимым целым, останется таким и впредь, и каждое познание непосредственно будет становиться для него жизненным побуждением.

2) Поскольку этим путем первичным и истинным основанием и исходным пунктом жизни вместо смутного чувства станет ясное познание, то эгоизм будет совершенно исключен и лишен какого-либо развития. Ведь только смутное чувство преподносит человеку его самость как нечто требующее удовольствий и страшящееся болезненного; ясное понятие ни в коем случае не преподносит его так, а показывает как звено нравственного порядка, что дарует ему любовь этого порядка, которая возгорается и развивается одновременно с развитием этого понятия. С эгоизмом это воспитание не имеет ничего общего, поскольку оно ясностью заглушает смутное чувство, его корень; оно так же мало борется с ним, как и развивает его, оно вовсе ничего не знает о нем. Если бы было возможно, чтобы эта страсть позже все же возбудилась, то она нашла бы сердце уже наполненным более высокой любовью, которая не оставляла бы для нее места.

3) Это основное побуждение человека, если оно переведено в ясное познание, устремлено не к уже дан-

ному и существующему миру, который ведь может быть только страдательно воспринят, как он есть, в котором для любви, побуждающей к изначально творческой деятельности, нет сферы деятельности; но, поднявшись до познания, оно устремляется к миру, который должен возникнуть, априорному, существующему в будущем и вечно остающемуся будущим. Эта божественная жизнь, лежащая в основании всех явлений, не выступает поэтому никогда в качестве пребывающего и данного бытия, но как то, что должно возникнуть, а после того, как то, что должно было стать, станет, снова выступает как вечно должное стать, поэтому божественная жизнь никогда не вступает в смерть пребывающего бытия, но всегда остается в форме утекающей жизни. Непосредственное явление и откровение Бога есть любовь; лишь истолкование этой любви познанием полагает бытие, и именно такое, которое должно становиться в течение всей вечности, и это — единственно истинный мир, если только в мире вообще есть истина. Второй же, данный и преднаходимый нами в качестве существующего, мир есть только тень и схема, из него познание строит своему истолкованию любви устойчивый образ и зримое тело; этот второй мир есть средство и условие созерцаемости самого по себе незримого высшего мира. Бог не вступает непосредственно даже в этот последний высший мир, но даже и в нем опосредован. Одной, чистой, неизменной и безобразной любовью, непосредственно являясь только в одной этой любви. К этой любви приближается созерцающее познание, которое из себя самого приносит образ, в который оно одевает сам по себе незримый предмет любви; чему

любовь все же каждый раз противоречит, поэтому оно устремляется к новой форме, которая в свой черед также будет опровергаться; только лишь посредством этого любовь, которая чисто для себя есть Одно, совершенно не способна на утеkanie, бесконечность и вечность, в этом слиянии с созерцанием становится вечным и бесконечным, как оно само. Только что упомянутый произведенный самим познанием образ — будучи взят сам по себе и без применения к ясно познанной любви — есть пребывающий и данный мир или природа. Заблуждение, состоящее в том, что сущность Бога каким-то образом вступает в эту природу непосредственно и как-то иначе, чем посредством указанных промежуточных звеньев, происходит из мрака в духе и нечестия в воле.

4) То, что смутное чувство в качестве средства разгадки любви совершенно пропускается в соответствии с правилом и на его место в качестве привычного средства разгадки ставится ясное познание, — это может произойти, как уже было упомянуто, только посредством сознательного искусства воспитания человека, и, следовательно, до сих пор этого не происходило. Так как отныне, как мы только что видели, указанным путем будет введен и станет правилом совершенно отличный от прежних людей новый вид людей, то посредством этого воспитания, конечно, начнется совершенно новый порядок вещей и новое творение. Этот новый образ человечество сможет создать себе самому посредством себя самого, и именно посредством того, что оно как нынешнее поколение воспитает себя самого как будущее; тем способом, которым для него это только и возможно, посредством познания

как единственного общего, должного быть свободно сообщаемым, и истинного света и воздуха этого мира, связывающего весь мир духовных существ в единство. До сих пор человечество становилось, как становилось и как могло становиться; это становление посредством случайности прошло; ведь там, где оно развилось шире всего, оно стало ничем. Если оно не должно оставаться в этом ничто, то отныне оно должно само себя делать тем, чем еще должно стать. Собственное назначение человеческого рода на Земле, сказал я в лекциях, продолжением которых является этот курс, состоит в том, чтобы свободно сделать себя тем, что оно собственно есть изначально.¹¹ Это себя-самого-делание, в основных чертах сознательное, в соответствии с правилом должно только однажды где-то и когда-то начаться в пространстве и времени, посредством чего на смену первому периоду несвободного развития человеческого рода пришел бы второй основной период свободного и осознанного развития. Мы полагаем, что в отношении времени это время настает именно сейчас и что именно сейчас человеческий род находится поистине посередине своей жизни на земле, между обеими основными эпохами; в отношении же пространства мы считаем, что в первую очередь от немцев можно требовать начать новое время, предшествуя и подавая пример всем остальным.

5) Но все же даже и это совершенно новое творение не может выйти из предыдущего одним прыжком, но оно есть истинное естественное продолжение и следствие прошлого времени, в особенности у немцев. Очевидно и, как я полагаю, всеми признано, что все

стремления и движения времени направлялись к тому, чтобы изгнать смутные чувства и передать власть в руки исключительно ясности и познания. Это стремление полностью удалось в том плане, что было целиком разоблачено прежнее ничтожество. Ни в коем случае не должна быть теперь искоренена эта тяга к ясности — или вновь воцарится затхлое покоение при смутном чувстве; эта тяга только должна быть развита еще дальше и введена в более высокие сферы, т. е. чтобы после разоблачения ничто так же открылось нечто — утвердительная и действительно полагающая нечто истина. Произрастающий из смутного чувства мир данного и создающего самого себя бытия ушел в прошлое и должен оставаться в нем; произрастающий из изначальной ясности мир бытия, вечно порождающийся в духе, должен, напротив, просиять и выступить во всем своем блеске.

Правда, это предсказание новой жизни в такой форме может показаться нашему времени странным, и ему вряд ли достанет смелости последовать этому обещанию, поскольку оно может видеть только чудовищную дистанцию между господствующими в нем мнениями о только что высказанных предметах и тем, что показано в качестве основоположений нового времени. Я не намерен говорить об образовании, которое до сих пор, как правило в виде привилегии, не должно быть общедоступной, получали высшие сословия, которое совершенно умалчивало о сверхчувственном мире и стремилось лишь к тому, чтобы создать некоторую ловкость в делах чувственного, поскольку оно явным образом дурно. Я намерен взглянуть на то образование,

которое было народным и в некотором, очень ограниченном, смысле может быть названо национальным воспитанием, которое не совершенно умалчивало о сверхчувственном мире. Каково было учение этого воспитания? Если первой предпосылкой нового воспитания мы выставляем то, что в корне человека заключена чистая склонность к добру и что эта склонность может быть развита настолько, что для человека станет невозможным делать познанное злым вместо познанного добрым, то прежнее воспитание, напротив, не просто принимало, но даже с молодых ногтей наставляло своих воспитанников в том, что, с одной стороны, человеку свойственно естественное отвращение к заповедям божьим, с другой стороны, что для него просто невозможно их исполнить. Можно ли ожидать от такого наставления, если его примут всерьез и поверят ему, чего-нибудь другого кроме того, что каждый покорится своей неизменной природе, не будет пытаться достичь того, что ему было представлено невозможным, и не будет стремиться быть лучше того, что посильно для него и всех остальных; даже того, что требуемое от него самоуничтожение, признаваться самому себе в своей полной греховности и слабости, ему понравится, поскольку это самоуничтожение перед Богом дает ему единственное средство примирения с ним; того, что, если бы однажды его слух коснулось какое-нибудь утверждение вроде нашего, он бы посчитал, что с ним хотя бы сыграть дурную шутку, поскольку в своей душе он всегда чувствует, для него очевидно, что верно не это, но противоположное? Если мы примем познание, совершенно независимое от всякого данного бытия

и, скорее, самому этому бытию диктующее закон, оку-нем в него с самого начала каждое человеческое дитя, с этого момента непрерывно пребывающее в этой области, в сравнении с чем лишь исторически изучаемый порядок вещей рассматривается как малозначительное дополнение, которое происходит само собой, то самые зрелые плоды прежнего образования выступят против нас и напомним нам, что, как всем известно, нет во-все никакого априорного познания, и скажут, что они хотели бы знать, как можно познать не посредством опыта. А чтобы сверхчувственный и априорный мир не обнаружил себя даже там, где, как кажется, этого избежать нельзя — в возможности познания Бога, и чтобы духовная самостоятельность не поднималась до Бога, но страдательно предавалась всему во всем, от этой опасности прежнее образование человека оградилося смелым средством, сделав существование Бога историческим фактом, истинность которого устанавливается с помощью свидетелей.

Так оно и шло, но эпоха все же не отчаивалась в самой себе. Ведь это и все прочие подобные явления сами суть не нечто самостоятельное, но цветы и плоды дикого корня старых времен. Если эпоха даст привить себе новый, более благородный и сильный корень, то старый сгниет, а его цветы и плоды, не питаемые им больше, сами по себе завянут и осыпятся. Ныне эпоха еще не может поверить нашим словам, и они неизбежно кажутся ей сказками. Мы и не жаждем этой веры, нам нужно лишь пространство для творчества и действия. Позже все станет видно, и тогда своим собственным глазам поверят.

Так, например, все, кто знаком с событиями последних лет, заметили, что здесь вновь высказываются положения и взгляды, которые проповедовались, и проповедовались новейшей немецкой философией с момента ее возникновения, поскольку она не могла ничего иного, кроме как проповедовать. Теперь в достаточной мере ясно, что эти проповеди бесплодно сотрясали пустой воздух, ясна и причина, почему так должно было происходить. Живое действует только на живое, но в действительной жизни этого времени нет совершенно ничего родственного с этой философией, поскольку она подвизается в той сфере, которая совершенно закрыта для времени и у него еще нет средств прикосновения к нему. Она вовсе не у себя дома в эту эпоху, она — предвосхищение, уже заранее готовая жизненная стихия поколения, которое еще только должно появиться на свет в эту эпоху. От современного поколения эта философия вынуждена отказаться, и, чтобы не оставаться до тех пор праздной, она примет на себя задачу образовать себе то поколение, к которому принадлежит. Лишь когда данная высшая задача становится ей ясной, она может мирно и дружно жить с тем поколением, которое ей не нравится. Воспитание, которое мы до сих пор описывали, есть одновременно воспитание к этой философии, которая, с другой стороны, в некотором смысле в этом воспитании является воспитательницей и, таким образом, должна загодя заботиться о своей понятности и приемлемости. Но время, когда она будет понята и с радостью принята, придет, и поэтому эпоха не собирается отчаиваться в самой себе.

Пусть эта эпоха услышит о воззрении древнего пророка, касающемся, пожалуй, не менее печальных обстоятельств. Так говорил пророк на водах Ховара,¹² утешитель плененных не в своей, но в чужой стране: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие! слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и, когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище».¹³ Пусть составные части нашей высшей духовной жизни иссохли, и именно потому связи нашего национального единства разорваны и в полном беспорядке разбросаны повсюду так же, как кости в речи пророка; пусть грозы, ливни и палящее

солнце многих столетий отмыли и иссушили их, но живительное дыхание духовного мира не перестало еще веять. Оно охватит останки нашего помертвевшего национального тела и воссоединит их, чтобы даровать им великолепную новую и преображенную жизнь.

ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ

ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НЕМЦАМИ И ОСТАЛЬНЫМИ НАРОДАМИ ГЕРМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Было сказано, что предложенное в этих речах средство образования нового поколения людей должно быть в первую очередь применено немцами к немцам, оно совершенно и ближе всего подходит нашей нации. Это положение нуждается в доказательстве, и мы здесь, как и раньше, начнем с самого высшего и самого общего, показывая, что есть немец в себе и для себя, вне зависимости от судьбы, которая его сейчас постигла, в своем основном свойстве издревле, с тех пор как он существует; и демонстрируя, что уже в этом основном свойстве заключается, исключительным среди других европейских наций образом, способность и восприимчивость к такому образованию.

Немцы есть в первую очередь вообще племя германцев, в отношении которых здесь будет достаточно сказать, что они существовали для того, чтобы соеди-

нить созданный в древней Европе общественный порядок с сохраненной в древней Азии истинной религией и таким образом развить у себя и из себя в противоположность погибшей древности новое время. Далее достаточно будет охарактеризовать немцев посредством их противоположности другим германским народностям, возникшим наряду с ними; поскольку другие новоевропейские нации, например славянского происхождения, как представляется, еще не так ясно развились по сравнению с остальной Европой, чтобы их было возможно определенно обрисовать; другие же нации германского происхождения, такие как скандинавы, в отношении которых приводимое ниже основание различия не действительно, будут здесь, без сомнения, приниматься в качестве немцев, и их будет касаться все выведенное в нашем рассмотрении.

Но прежде всего рассмотрению ближайшего вопроса необходимо предпослать следующее замечание. В качестве основания произошедшего различия в изначально едином исходном племени я укажу событие, которое просто как событие ясно и непротиворечиво открыто взору; затем я буду устанавливать отдельные явления этого произошедшего различия, которые в качестве голых событий также, пожалуй, можно сделать очевидными. Но что касается связывания последних как следствий с первым как их основанием и выведения следствий из основания, то здесь я не могу в целом рассчитывать на то, что это будет также ясно и убедительно для всех. Я, правда, и в этом отношении высказываю не совершенно новые и до сих пор неслыханные положения, и среди нас имеется много таких, кто либо

очень хорошо подготовлен к подобному рассмотрению вещей, либо, может быть, уже даже и знаком с ним. Большинство же употребляет в отношении предстоящего к рассмотрению предмета понятия, которые очень сильно отличаются от наших; ограниченность же нашего времени и наши планы совершенно не позволяют нам исправлять их и опровергать все возражения, которые будут возникать в связи с отдельными вопросами у тех, кто недостаточно готов для соображения целого. В отношении последних я вынужден ограничиться сообщением, что в моем совокупном мышлении ничто не имеет права оставаться настолько единичным и оторванным, без обоснования в глубинах знания, как оно должно быть изложено здесь в качестве только лишь предмета для Вашего дальнейшего размышления. Данное обстоятельство я не мог совершенно обойти не только из-за основательности, обязательной для целого, но и из-за важных следствий, которые выяснятся в дальнейшем ходе наших речей и которые существенным образом проистекают из наших ближайших намерений.

Различие между судьбами немцев и других племен, происходящих от того же корня, в первую очередь и непосредственно подлежащее рассмотрению, состоит в том, что первые остались в первоначальных местах проживания коренного народа, последние же переселились, первые сохранили и развили изначальный язык коренного народа, последние приняли чужой язык, постепенно преобразовав его на свой лад. Различия, возникшие позднее, например то, что в исконном Отечестве в соответствии с первоначальными германскими обычаями сохранялся союз государств

с ограниченными полномочиями верховной власти, в то время как другие государства на римский манер в большей степени переходили к монархии и т. д., должны быть объясняемы из этого самого первого различия, ни в коем случае не наоборот.

Первое из указанных изменений, перемена родины, совершенно незначительно. Человек быстро осваивается под чужим небом, и народное своеобразие вовсе не так уж сильно изменяется местом проживания, гораздо в большей степени оно начинает господствовать над ним и изменять его под себя. К тому же и различие влияния природы в населенных германцами краях не так уж велико. Также мало стоит придавать значение тому обстоятельству, что в покоренных землях германцы смешивались с прежним населением; ведь победителями, господами и создателями возникающего из смешения нового народа были только германцы. Кроме того, то же самое смешение, которое за рубежом происходило с галлами, кантабрами¹⁴ и т. д., на родине осуществлялось в не меньшей, пожалуй, мере со славянами; так что ни для одного из произошедших от германцев народов в настоящее время не будет легким делом доказать большую чистоту своего происхождения по сравнению с остальными.

Но второе изменение, изменение языка, значительнее, и, как я считаю, оно ведет к совершенной противоположности немцев и других народов германского происхождения; при этом я сразу хочу подчеркнуть, что речь идет не об особенностях того языка, который был сохранен одним племенем, и не об особенностях того, который был принят другим, но лишь о том, что

первое сохранило собственный, второе приняло чужой; речь идет не о происхождении тех, кто продолжал говорить на первоначальном языке, а о том, что на этом языке не переставали говорить, при том что в гораздо большей степени язык образует людей, чем люди образуют язык.

Чтобы выяснить, насколько это здесь возможно и необходимо, последствия этого различия в становлении народов и характер противоположности в национальных чертах, необходимым образом следующий из него, я предлагаю Вам рассмотреть сущность языка вообще.

Язык вообще, в особенности обозначение предметов в нем с помощью озвучивания языковых средств, никоим образом не зависит от произвольных решений и договоренностей, каждое понятие в языковых средствах становится таким, и не каким иным, звуком в соответствии с фундаментальным законом. Как предметы отображаются в органах чувств единичного человека с помощью определенной фигуры, цвета и т. д., так в органе общественного человека, в языке, они отображаются с помощью определенного звука. Говорит собственно не человек — в нем говорит человеческая природа и сообщает о себе себе подобным. Таким образом, получается: язык един и совершенно необходим.

Но ведь, и это второй пункт, язык никогда и нигде не выступает для человека просто как таковой, в этом своем единстве, но повсюду продолжает изменяться и формироваться влиянием, оказываемым на языковые средства местностью, более или менее частым

применением, а на порядок обозначения — порядком наблюдаемых и обозначаемых предметов. Но и здесь имеет место не произвол или случайность, но строгий закон; необходимо, чтобы в языковом средстве, определенном упомянутыми условиями, выступал не Единый и чистый человеческий язык, а отклонение от него, и причем именно это определенное отклонение.

Если живущие вместе и продолжающие образовывать свой язык в непрекращающемся сообщении люди, на языковые средства которых осуществляются одни и те же внешние влияния, называются народом, то нужно сказать следующее: язык этого народа необходимым образом таков, каков он есть, и не этот народ высказывает свое познание, но само его познание высказывает себя в нем.

Эта закономерность продолжает действовать при всех изменениях, происходящих с языком вследствие упомянутых выше обстоятельств; и там, где новое, высказанное любым единичным, достигает слуха всех, остающихся в непрерывном сообщении, не прекращает своего действия. Одна и та же закономерность. После всех изменений, которые за столетия претерпело внешнее явление языка этого народа, все еще сохраняется. Одна и та же, изначально рвущаяся наружу, живая языковая сила природы, которая беспрерывно пробивалась во всех условиях и при каждом должна была стать такой, какой она стала, а в их результате такой, какой она стала теперь, и через некоторое время станет такой, какой она должна стать. Чисто человеческий язык, взятый сначала вместе с органикой народа, прозвучал как его первый звук; то, что из этого получается, взятое,

далее, вместе со всеми изменениями, которые этому первому звуку пришлось пережить в данных обстоятельствах, дает в качестве последнего результата современный язык народа. Поэтому язык всегда остается тем же самым языком. Хотя потомки после нескольких столетий не понимают прежнего языка своих предков, потому что для них исчезли переходы, однако все же с самого начала сохраняется незаметный в настоящем непрерывный переход без скачков, делающийся заметным добавлением новых переходов и проявляющийся как скачок. Никогда не наступал момент, когда бы современники переставали понимать друг друга, поскольку их вечный посредник и переводчик — сказывающая из них всех естественная сила — всегда был и сохранялся. Так обстоит дело с языком как обозначением предметов непосредственно чувственного восприятия, и изначально таков всякий человеческий язык. Если народ от него поднимается к схватыванию сверхчувственного, то это сверхчувственное, чтобы первый нашедший мог его любимым образом воспроизвести и не смешивал с чувственным, а также мог сообщать и целесообразным образом передавать другим, не может сначала быть удерживаемо никаким другим образом, кроме как с помощью обозначения самости в качестве орудия сверхчувственного мира и строгого отличия этой самости как орудия сверхчувственного мира от тела, противопоставления ему души и т. п. Далее, различные предметы этого сверхчувственного мира, поскольку они появляются только в том сверхчувственном орудии и существуют только для него, могут быть обозначены в языке лишь тем образом, что говорится, что их особенное отно-

шение к этому орудю такое же, как тех-то и тех-то чувственных предметов к чувственному орудю, и что в этом отношении особенное сверхчувственное приравнивается к особенному чувственному и посредством языка с помощью этого приравнивания намечается его место в сверхчувственном орудии. Большого в этой сфере язык не может, он просто дает чувственный образ сверхчувственного с тем примечанием, что это такой образ; тот, кто хочет добраться до самого дела, должен привести в движение свое собственное духовное орудие в соответствии с данным ему посредством образа правилом. В целом становится ясно, что это символическое обозначение сверхчувственного в каждом случае должно соответствовать ступени развития чувственной способности познания у данного народа; что поэтому начало и развитие этого символического обозначения в различных языках происходит очень различно, соответственно с различием имеющих и будущих отношений между чувственным и духовным развитием народов, говорящих на этих языках.

Оживим сначала это, само по себе ясное, замечание следующим примером. То, что возникает вследствие объясненного в прошлой речи схватывания основного побуждения, происходящего не посредством только смутного чувства, но одновременно и ясного познания, каков в каждом случае сверхчувственный предмет, называется греческим, также и в немецком языке часто употребляемым словом *идея*, это слово дает ровно тот же образ, что и слово *вид* (*Gesicht*) в немецком языке, как в следующих оборотах лютеровского перевода Библии: вы узрите виды, у вас будут сновидения.¹⁵ Идея

или вид в чувственном значении есть нечто, что может быть схвачено только телесным зрением и никаким иным чувством: ни осязанием, ни слухом и т. д., как например радуга или образы, проходящие перед нами во сне. То же самое в сверхчувственном значении в соответствии со сферой, в которой применяется слово, должно в первую очередь обозначать то, что схватывается только духом, но не телом; и далее то, что не может быть схвачено посредством смутного чувства духа, как многое другое, но исключительно лишь посредством зрения последнего, ясного познания. Если, например, принять далее, что греки при этом символическом обозначении положили в основу радугу и явления подобного рода, то придется признать, что их чувственное познание уже до того должно было подняться до усмотрения различия между вещами, из которых одни открываются всем или многим чувствам, другие — только зрению, и что в ином случае они должны были бы развиваемое понятие, когда оно стало бы им ясным, обозначить не так, а иным образом. Отсюда стало бы видно их превосходство в духовной ясности над другим народом, который обозначал бы различие чувственного и сверхчувственного не с помощью символа, позаимствованного из состояния сознательного бодрствования, но прибегал бы к снам, чтобы найти образ для иного мира; одновременно бы прояснилось, что это различие основывается не на большей или меньшей силе чувства сверхчувственного в этих народах, но исключительно на разнице их чувственной ясности в то время, когда они хотели обозначить сверхчувственное.

Таким образом, всякое обозначение сверхчувственного руководствуется объемом и ясностью чувственного познания того, кто обозначает. Символ для него ясен и совершенно понятно выражает для него отношение постигнутого к духовному орудию, ведь это отношение объясняется ему с помощью другого, непосредственно живого отношения к его чувственному орудию. Это, возникшее таким образом, новое отношение закрепляется в языке со всей той новой ясностью, которую получает само чувственное познание посредством этого расширенного употребления знака; а возможное будущее сверхчувственное познание будет обозначаться теперь в соответствии со своим отношением ко всему сверхчувственному и чувственному познанию, закрепленному в совокупном языке; и так продолжается без перерыва; и так непосредственная ясность и понятность символа никогда не прерывается, но пребывает постоянным потоком. — Далее, так как язык передается не посредством произвола, а вырывается как естественная сила из осмысленной жизни, то язык, беспрерывно развивающийся в соответствии с этим законом, обладает также силой непосредственно воздействовать на жизнь и возбуждать ее. Как непосредственно присутствующие вещи воздействуют на человека, так и слова такого языка должны воздействовать на того, кто их понимает, ведь также и они суть вещи, а не произвольная подделка. Так в первую очередь в чувственном. Но не иначе и в сверхчувственном. Ведь хотя в отношении последнего постоянное развитие наблюдения природы прерывается свободным осмыслением и размышлением и здесь как будто вступает безобразный Бог, но все

же обозначение с помощью языка тут же возвращает безобразное во взаимосвязь образного; так что и в этом отношении постоянное развитие языка, вырывающегося сначала как естественная сила, остается непрерывным и в поток обозначения не вступает никакой произвол. Поэтому также и сверхчувственная часть постоянно развивающегося таким образом языка не теряет своей возбуждающей жизни силы в отношении каждого, кто только приводит в движение свое духовное орудие. — Давайте также и в отношении развития языка о сверхчувственном сделаем предположение, что народ оставался в непрерывном сообщении этого языка и что то, что один измыслил и высказал, вскоре становится общим достоянием, в этом случае все то, что выше мы высказали вообще, будет касаться всех, говорящих на этом языке. Для всех, кто только хочет мыслить, закрепленный в языке символ ясен; для всех, кто только действительно мыслит, он жив и возбуждает их жизнь.

Так, говорю я, дело обстоит с таким языком, который непрерывно развивался начиная с самого первого вырвавшегося в нем звука из действительно общей жизни народа, в который никогда не проникала составная часть, не выражающая действительно пережитое созерцание этого народа, и который выражал созерцание, находящееся во всесторонне пронизывающей взаимосвязи со всеми остальными созерцаниями этого народа. Пусть к изначальному народу присоединятся многие другого племени и языка, и если только им не будет позволено поднять круг своих созерцаний до точки зрения, исходя из которой отныне развивается

язык, то в общине они останутся безгласными до тех пор, пока сами не войдут в круг созерцаний изначального народа, и, таким образом, не они образуют язык, но язык образует их.

Но полностью противоположное всему вышесказанному получается тогда, когда народ, устраняя свой собственный язык, принимает чужой, уже достаточно развитый для обозначения сверхчувственного; и при этом не так, чтобы он совершенно свободно предал себя влиянию этого чужого языка и оставался бы безмолвным до тех пор, пока не вошел бы в круг созерцаний этого чужого языка, но так, что народ навязывает языку свой собственный круг созерцаний и ему с момента, когда это случается, приходится развиваться в этом кругу созерцаний. В отношении чувственной части языка это событие не имеет последствий. У каждого народа детям в любом случае приходится изучать эту часть языка, как если бы знаки были чем-то произвольным, этим они усваивают все прежнее языковое развитие нации; однако каждый знак здесь может быть совершенно прояснен с помощью рассмотрения или соприкосновения с обозначаемым. Самое большее, что отсюда могло бы последовать, это то, что у изменяющего свой язык народа первое поколение взрослых вынуждено было бы вернуться в детство; для новорожденного, а также последующих поколений все оставалось бы по-старому. В отношении же сверхчувственной части языка это изменение, напротив, обладало бы важнейшими последствиями. Для первых его обладателей он, правда, образуется вышеописанным образом; но для позднейших его завоевателей символ сравнивается с созерца-

нием, которое они либо давно уже оставили позади, не создав связанного с ним духовного образования, либо на тот момент вообще не имели, а может, даже и не могли иметь. Самое большее, что они могут при этом сделать, это получить объяснение символа и его духовного значения, посредством чего они получают плоскую и мертвую историю чужого образования но никоим образом не собственное образование и соответственно образы, которые для них и не ясны непосредственно, и не возбуждают жизнь, но должны казаться полностью произвольными, как и чувственная часть языка. Для них теперь, со вступлением голой истории как просветительницы, язык во всем круге своей символики мертв, завершен, а его постоянное течение дальше прервано; и хотя они могут продолжать живо развивать этот язык на свой манер, исходя из этого круга и насколько это возможно с этого исходного пункта, но первая составная часть остается все же перегородкой, которая совершенно разделяет первоначало языка как естественной силы из жизни и возвращение действующего языка в жизнь. Такой язык хотя на поверхности и может приводиться в движение ветром жизни и потому казаться живым, но в глубине его — мертвая составляющая: он, получая новый круг созерцаний и теряя старый, лишается живых корней.

Оживим только что сказанное примером и в связи с этим мимоходом заметим: подобный, в основе мертвый и непонятный, язык очень легко может быть извращен и использован для оправдания человеческой испорченности, что в никогда не замиравшем языке в таком виде не возможно. В качестве примера я вос-

пользуюсь тремя пресловутыми словами: «гуманность», «популярность», «либеральность». Эти слова, произнесенные перед немцем, не изучавшим никакого другого языка, для него совершенно пустой звук, который не напоминает ему посредством родства звуков ни о чем, уже известном ему, и таким образом полностью вырывает его из круга его созерцания и всякого возможного созерцания. Если все же неизвестное слово, из-за своего чуждого, изысканного и приятного звучания, возбуждает его внимание и если он полагает, что то, что высоко звучит, должно иметь и высокое значение, то он должен с самого начала получить объяснение этого значения, как чего-то ему совершенно нового и слепо верить ему; таким образом, он должен молча привыкать признавать действительно существующим и достойным то, что он, будучи предоставленный самому себе, никогда, может быть, не посчитал бы чем-то стоящим упоминания. Не стоит считать, что новолатинские народы, употребляющие эти слова якобы как слова своего родного языка, в этом плане сильно отличаются от немцев. Без ученого исследования древности и ее действительного языка они также мало понимают корни этих слов. Если бы немцу вместо слова «гуманность» сказали слово «человечность», как оно и должно буквально переводиться, то он бы понял нас без дальнейшего исторического объяснения, но сказал бы: «Это не так уж и много — быть человеком, а не диким зверем». Но немец сказал бы так, как, пожалуй, никогда не сказал бы римлянин, потому что в его языке человечность вообще осталась чувственным понятием и не стала, как у римлян, символом сверхчувственного; потому что наши предки за-

метили, вероятно, отдельные человеческие добродетели и символически обозначили их в языке задолго до того, как им пришлось в голову соединить их в одном понятии, и именно в противоположность звериной природе, что все же вовсе не означает некоторого недостатка наших предков по сравнению с римлянами. Тот, кто хотел бы искусственно подсунуть немцам в язык этот чуждый римский символ, явным образом ухудшил бы их нравственный образ мысли, поскольку дал бы им в качестве чего-то превосходного и достойного то, что вполне и может быть таковым в чужом языке, но что он, в силу неизгладимой природы своей национальной способности воображения, считает известным, а это совершенно недопустимо. Можно, наверное, с помощью более подробного исследования показать, что подобного рода ухудшения прежнего нравственного образа мысли из-за неподходящих и чуждых символов уже с самого начала случались с германскими племенами, принимавшими римский язык; но здесь мы не придаем этому обстоятельству слишком большого значения.

Если бы я, обращаясь к немцу, вместо слов «популярность» и «либеральность» употребил бы обороты «погоня за благосклонностью толпы» и «устранение рабского сознания», как они буквально и должны быть переводимы, то он в первую очередь не получил бы такого же ясного и жизненного чувственного образа, какие, без сомнения, получил бы римлянин более ранних времен. Тот каждый день лицеизреп податливую вежливость честолубивых кандидатов в отношении всего и вся, а также вспышки раболепства, и эти слова вновь пробуждали в нем живые образы. Уже римлянин позд-

них времен был избавлен от этих зрелищ посредством изменения формы правления и введения христианства; у него, правда, его собственный язык в немалой части начал отмирать в собственных устах, в особенности из-за чужеродного христианства, от которого он не мог защититься, но которого не мог и усвоить. Как этот язык, уже на своей собственной родине наполовину мертвый, мог бы быть живо передан другому народу? Как это могло бы получиться с нами, немцами, сейчас? Что же касается, далее, заключенного в тех выражениях символа духовного, то в «популярности» уже изначально заключается подлость, которая посредством порчи нации и ее устройства превратилась в ее устах в добродетель. Немец в данное искажение, каким это представляется ему в его собственном языке, не вдается. На перевод «либеральности» тем образом, что человек не раб душой или что, приспособляясь к новым нравам, у него не лакейский образ мысли, он также ответит, что этим сказано крайне мало.

Позднее в эти символы, которые уже у римлян возникли в своем чистом виде на низкой ступени нравственного образования или прямо обозначали подлость, в развитии новолатинских языков вложили понятие недостатка серьезности в области общественных отношений, потери достоинства, малодушной неуверенности и привнесли их и в немецкий язык, чтобы с помощью авторитета древности и зарубежья, исподтишка и так, чтобы никто не заметил, о чем идет речь, и у нас придать авторитет упомянутым вещам. Целью и успехом всякого вмешательства было всегда следующее: сначала увести слушателя из непосредственной понятно-

сти и определенности, которую несет с собой каждый изначальный язык, в темноту и непонятность; затем к пробужденной в нем этим слепой вере обратиться со ставшим теперь необходимым объяснением, а в нем так перемешать пороки и добродетели, чтобы разделить их снова было не легко. Если бы то, что три этих иностранных слова собственно хотят выразить, если они вообще что-нибудь хотят выразить, высказали следующим образом его словами и в его сфере символов: человеколюбие, приветливость, благородство, то он бы нас понял; но названные подлости в этих обозначениях не могут быть устранены. В пределах немецкой речи такое закутывание в непонятность и темноту происходит или из-за неумелости, или по злокозненности; перевод на настоящий истинный немецкий представляет собой подходящее средство избежать этого. Но в новолатинских языках эта непонятность естественна и изначальна, и никакое средство здесь не поможет, поскольку они вовсе не обладают живым языком, которым могли бы поверить мертвый, точнее, вообще не обладают родным языком.

То, что я изложил с помощью отдельного примера и что очень легко могло бы быть отслежено на всем объеме языка и найдено повсюду, должно сделать Вам понятным уже сказанное, а так же то, о чем пойдет речь. Речь пойдет о сверхчувственной части языка, о чувственной же только косвенно и опосредованно. Эта сверхчувственная часть в языке, всегда остающемся живым, символична, при каждом шаге сопрягает целое чувственной и духовной жизни нации, закрепленной в языке, в завершенное единство, чтобы обозначить не-

произвольное понятие, необходимым образом проистекающее из всей предшествующей жизни нации; по нему и его обозначению, вглядываясь в прошлое, возможно восстановить всю историю образования нации. Эта часть в мертвом языке, бывшая тем же самым во времена его жизни, из-за умирания становится разодранным собранием произвольных и больше совершенно непроясняемых знаков и таких же произвольных понятий, которые можно только выучить, и ничего более.

Итак, наша первая задача — найти фундаментальное свойство, отличающее немцев от других народов германского происхождения, — решена. Различие возникло сразу же при первом разделении единого племени и заключается в том, что немцы говорят на языке, живом вплоть до его первого истечения из естественной силы, остальные германские племена — на языке, оживленном только лишь на поверхности, но в корне мертвом. Только в этом обстоятельстве, в жизненности и в смерти, мы видим различие; мы, однако, не будем пускаться в обсуждение прочих внутренних достоинств немецкого языка. Жизнь и смерть вовсе нельзя сравнивать, и первая бесконечно ценнее последней; поэтому все непосредственные сравнения немецких и новолатинских языков ничтожны, и возникающие в связи с этим вопросы не стоят упоминания. Если бы нужно было говорить о внутренней ценности немецкого языка, то ему должно было бы противопоставить язык по меньшей мере равного ранга, например греческий; но наша следующая цель гораздо глубже, чем такое сравнение.

Какое неизмеримое влияние на все человеческое развитие народа может оказывать строение его язы-

ка, — языка, который сопровождает индивида в мышлении и волении до самых глубин его души, ограничивает или окрыляет, который связывает множество людей, говорящих на нем, на их земле в единый общий рассудок, являющийся истинной точкой обоюдного проникновения чувственного мира и мира духовных существ, и таким образом сплавляет воедино концы обоих, что и не скажешь, к какому из них принадлежит он сам! Насколько различными могут быть следствия этого влияния, когда различия суть жизнь и смерть, остается в целом только догадываться. В первую очередь представляется, что немец обладает средством еще глубже проникнуть в свой живой язык с помощью сравнения с завершенным римским языком, который в развитии символики очень сильно отличается от его языка, и, наоборот, тем же образом яснее понять этот язык, что для говорящего на новолатинском языке, принципиально остающегося заключенным в сфере одного и того же языка, невозможно; что немец, когда он изучает исходный римский язык, до некоторой степени получает одновременно и производные, и если ему и приходится изучать его более основательно, чем иностранцу, на что он по указанной причине очень даже способен, то он одновременно научается намного основательнее понимать язык самого этого иностранца и делает его даже более своим, чем сам говорящий на нем; что немец поэтому, если только он использует все свои преимущества, всегда может видеть дальше иностранца, понимать его полностью, даже лучше, чем он себя, и переводить его во всем его объеме; иностранец же, напротив, без наитяжелейшего изучения немецкого

языка ни в коем случае не поймет настоящего немца и вне сомнения не сможет перевести что-либо подлинно немецкое. То, что в этих языках можно узнать только от самого иностранца, это в основном новые модные обороты, порожденные скукой и капризом, и нужно быть очень скромным, чтобы внимать такому наставлению. В большинстве случаев вместо этого им можно было бы показать, как они должны были бы говорить в соответствии с исходным языком и законом его изменения и то, что новая мода бесполезна и погрешает против старых добрых нравов. — Многообразие следствий вообще, так же как и последнее упомянутое особенное следствие, выводится, как сказано, само собой.

Но нашим намерением является схватить все эти следствия в целом, в их единой связи и глубине, чтобы с помощью этого дать основательное описание немцев в противоположность другим германским племенам. Я предварительно вкратце укажу эти следствия: 1) У народа живого языка духовное образование напрямую влияет на жизнь; в противоположном случае духовное образование и жизнь оторваны друг от друга. 2) По той же причине народ первого типа совершенно серьезно относится ко всякому духовному образованию и хочет, чтобы оно влияло на жизнь; для народа второго типа оно, напротив, игра гения, и ему ничего больше от него не надо. Последние обладают духом, первые кроме духа обладают еще и душой. 3) Из второго следует: первые добросовестно прилежны и серьезны во всяком деле и трудолюбивы, последние же, напротив, полагаются на свою счастливую природу. 4) Из всего предыдущего следует: у нации первого рода народ

восприимчив, а создатели образования такой нации пробуют свои открытия на народе и хотят иметь влияние на него; в нации второго рода, напротив, образованные сословия отделяют себя от народа и считают последний не более чем слепым орудием своих планов. Дальнейшие разъяснения указанных отличительных черт я дам в следующий раз.

ПЯТАЯ РЕЧЬ

СЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗЛИЧИЯ

Для того чтобы описать своеобразие немцев, было указано фундаментальное различие между ними и другими народами германского происхождения, а именно что первые оставались в непрерывном потоке праязыка, развивающегося из действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который омертвел под их влиянием. В конце прошлого занятия мы указали у этих столь различных народных групп прочие, необходимо следующие из данного фундаментального различия явления, которые сегодня далее раскроем и обоснуем.

Исследование, стремящееся к основательности, способно быть выше каких-либо споров и возбуждения всякого рода зависти. Мы станем здесь действовать так же, как поступали в том исследовании, продолжением которого является нынешнее. Мы шаг за шагом выведем то, что следует из фундаментального различия, и только

затем усмотрим, что выведение верно. Действительно ли различие явлений, которое в соответствии с этим выводением должно иметь место, встречается ли оно в действительном опыте или нет, об этом я предоставляю судить лишь Вам и любому наблюдателю. Что касается немцев, я, правда, в свое время покажу, что они действительно демонстрируют, что они таковы, какими они должны быть согласно нашему выведению. Но что касается зарубежных германцев, я не имею ничего против того, если кто-нибудь из них действительно поймет, о чем здесь, собственно, идет речь, и сможет затем доказать, что его земляки были тем же самым, что и немцы, и если ему удастся полностью освободить их от противоположных черт. В целом наше описание также ни в коем случае не станет обрисовывать противоположные черты с помощью их недостатков и ярких контрастов, что делает победу более легкой, но не почетной, а будет указывать только следующее необходимым образом и честно сообщать об этом то, что состоятельно перед истиной.

Первым указанным мной следствием выдвинутого фундаментального различия было следующее: у народа живого языка духовное образование влияет на жизнь; в противоположном случае духовное образование и жизнь идут каждое своим путем. Будет полезно сначала глубже разъяснить смысл выдвинутого положения. Во-первых, здесь говорится о жизни и о влиянии духовного образования на нее, под этим надо понимать изначальную жизнь и ее происхождение из источника всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование человеческих отношений по их прообразу

и, таким образом, создание нового и небывалого; речь ни в коем случае не идет о голом сохранении этих отношений на той ступени, на которой они уже находятся, о препятствовании их ухудшению и еще в меньшей степени — о помощи отдельным членам, отстающим от общего образования. Далее, когда речь идет о духовном образовании, в первую очередь под этим нужно понимать философию — нам приходится пользоваться этим иностранным обозначением, поскольку немцы не соизволили одобрить давно уже предложенное немецкое,¹⁶ — ведь именно она научным образом схватывает вечный прообраз всякой духовной жизни. О ней и обо всякой, основанной на ней науке, говорится, что у народа живого языка она влияет на жизнь. Ныне, однако, что кажется противоречащим этому утверждению, часто, в том числе и нашими людьми, говорится, что философия, наука, изящное искусство и т. п. суть самоцели и не служат жизни и что оценивать их по полезности на этой службе — значит унижать их. Здесь будет уместно подробнее разъяснить эти выражения и предохранить их от любого ложного истолкования. Они верны в следующем, двойном, однако ограниченном, смысле: во-первых, наука или искусство не должны стремиться служить жизни на некоторой низкой ступени, например земной и чувственной жизни, или обычной назидательности, как думали некоторые; затем, индивид вследствие его персональной отделенности от целого духовного мира может полностью раствориться в этих особенных ветвях всеобщей божественной жизни, не нуждаться ни в каком лежащем вне их импульсе и находить в них полное удовлетворение. Но они ни в коем случае не

верны в строгом смысле, ведь не может быть, чтобы было множество самоцелей, как не может быть множества абсолютов. Единственная самоцель, вне которой не может быть никакой иной, есть духовная жизнь. Она обнаруживает себя только частично и является в качестве вечного проистекания из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вечно получает свой образец от науки, а умение создавать по этому образу — от искусства, и, как может показаться, наука и искусство существуют в качестве средств для деятельной жизни как цели. Однако сама жизнь в этой форме деятельности никогда не завершена и не замкнута в единство, но движется в бесконечность. И, значит, если жизнь должна существовать как такое замкнутое единство, она должна существовать в какой-то другой форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которая дает описанное в третьей речи религиозное понимание; форма, которая как замкнутое единство совершенно отлична от бесконечности действия и не может быть полностью выражена в действии. Поэтому они, мысль и действие, суть лишь в явлении отличающиеся формы, по ту же сторону явления они, и первая и второе, суть одна и та же Единая абсолютная жизнь; и совершенно нельзя сказать, что мысль есть ради действия, и есть так, или действие есть ради мысли, но оба просто должны быть, поскольку жизнь также и в явлении должна быть завершенным целым, какова она и по ту сторону всяческого явления. Поэтому в отношении этой сферы и вследствие этого рассмотрения тем, что наука влияет на жизнь, сказано очень мало; скорее она есть сама и пребывающая в себе жизнь. — Выразим то же самое

с помощью знакомого оборота. Что проку от знания, можно услышать порой, если не поступать в соответствии с ним? В этом высказывании знание считается средством для действия, а это последнее — собственно целью. Можно сказать и наоборот: как можно поступать хорошо, не зная блага? И в этом высказывании знание рассматривается в качестве обуславливающего действие. Но оба высказывания односторонни, а истинным является то, что они оба, знание и действие, одним и тем же образом суть неразделимые составные части разумной жизни.

Но наука есть, как мы только что выразились, пребывающая в себе жизнь лишь постольку, поскольку мысль есть действительное настроение и убеждение мыслящего, который, следовательно, без особого труда и даже не осознавая этого ясно, все, что мыслит, оценивает, — мыслит и оценивает вследствие этой основной мысли, а в случае, если она влияет на поступки, также необходимым образом поступает в соответствии с ней. Но мысль никоим образом не есть жизнь и убеждение, если она мыслится только как мысль чужой жизни; как бы отчетливо и полно не понималась такая, лишь возможная, мысль и как бы ясно при этом не мыслили то, что кто-нибудь мог бы мыслить. В последнем случае наше помысленное мышление и наше действительное мышление разделяет широкое поле случайности и свободы, которую мы не можем произвести; и, таким образом, то помысленное мышление остается отделенным от нас, лишь возможным, свободно совершаемым нами и всегда свободно повторяемым мышлением. В первом случае мысль непосредственно сама собой охватывает

нашу самость и делает ее самой собой, и посредством этой, возникшей таким образом, действительности мысли для нас наше усмотрение проникает к ее необходимости. К тому, чтобы произошло последнее, как сказано выше, свобода не может принудить, оно именно само должно совершить себя, и сама мысль должна охватить нас и образовать нас по себе самой.

Эта живая действенность мысли сильно поддерживается и даже делается необходимой мышлением и обозначением в живом языке, если только мышление в достаточной мере глубоко и сильно. Знак в последнем сам по себе жив и чувствен и воссоздает всю собственную жизнь, таким образом охватывая ее и влияя на нее. С обладателем такого языка непосредственно говорит дух и открывает себя ему, как человек человеку. Знак же мертвого языка, напротив, не возбуждает ничего непосредственно; чтобы оказаться в его живом токе, нужно сначала сделать своими исторически изученные познания из вымершего мира и перенестись в чуждый образ мышления. Каким безудержным должен быть порыв собственного мышления, чтобы не обессилеть в этой просторной и объемной области истории и под конец скромно не удовлетвориться ею! Когда мышление обладателя живого языка перестает быть живым, тогда его без дальнейших размышлений можно обвинить в том, что он вовсе не мыслил, а лишь спал. Обладателя мертвого языка в подобном случае нельзя сразу же обвинять в этом, ведь он мыслил на свой манер, старательно развивая закрепленные в его языке понятия; он лишь не делал того, что, если бы ему удалось это сделать, стоило бы почитать как нечто подобное чуду.

Попутно проясняется, что у народа мертвого языка вначале, когда язык еще недостаточно всесторонне ясен, порыв мышления сильнее всего и производит самые броские продукты; но что он, по мере того как язык становится яснее и определеннее, все более замирает в его кандалах и что под конец философия такого народа ограничивается собственным сознанием того, что она — лишь разъяснение словаря или, как напыщенно выражается ненецкий дух среди нас, метакритика языка;¹⁷ и под самый конец, что такой народ заурядный дидактический комедийный стишок о лицемерии станет принимать за величайшее философское произведение.

Таким образом, говорю я, духовное образование, а здесь, в особенности, мышление, в изначальном языке не влияет на жизнь, но есть сама жизнь так мыслящего. Но оно из этой так мыслящей жизни необходимым образом стремится влиять на другую жизнь вне него, и таким образом — на существующую общую жизнь, и формировать ее по-своему. Ведь именно потому, что это мышление есть жизнь, оно приносит его обладателю удовольствие своей оживляющей, проясняющей и освобождающей силой. Но каждый, душе которого раскрылось благо, неизбежно хочет, чтобы и с другими случилось это же благо, и он должен стремиться и работать, чтобы источник, из которого на него излилось благополучие, стал таковым и для других. Иначе с теми, кто лишь понял чужое мышление как возможное. Так как ему самому его содержание не приносит ни радости, ни печали, но лишь приятно занимает его досуг и развлекает, он не может поверить в то, что другому

оно может приносить радость или печаль, и поэтому в конечном итоге считает безразличным, на чем кто-либо упражняет свое остроумие и чем он заполняет свои праздные часы.

Самым предпочтительным средством ввести мышление, начавшееся в индивидуальной жизни, в общую жизнь является поэзия; она, таким образом, вторая основная ветвь духовного образования народа. Уже мыслитель непосредственно есть поэт, когда он обозначает свою мысль в языке, что в соответствии с вышесказанным не может произойти иначе как чувственным образом, а именно творчески поднимаясь над прежним объемом символического; и в случае, если он им не является, при первой же мысли у него будет на исходе язык, а при попытке второй — и само мышление. Разлить по всей области символов это начатое мыслителем расширение и дополнение символического круга языка так, чтобы каждый на своем месте получал причитающуюся ему долю нового духовного улучшения, чтобы, таким образом, вся жизнь, вплоть до ее последней чувственной почвы, явилась омытой новым лучом солнца, блаженствовала и облагораживалась бессознательно, как бы сама собой — вот в чем дело подлинной поэзии. Только живой язык может обладать такой поэзией, ведь только в нем символический круг может расширяться творческим мышлением и только в нем уже созданное остается живым и открытым притоку родственной жизни. Такой язык имеет в себе способность к бесконечной, вечно обновляющейся и омолаживающейся поэзии, ведь каждое движение живого мышления в нем вскрывает новую

жилу поэтического вдохновения; и, таким образом, для него эта поэзия — превосходнейшее средство разлить достигнутое духовное образование по всей общей жизни. Мертвый язык вовсе не может иметь поэзии в этом более высоком смысле, поскольку в нем присутствуют не все указанные условия поэзии. Такой язык может некоторое время обладать заменой поэзии следующим образом. Присутствующие в изначальном языке истоки поэтического искусства возбуждают внимание. Вновь возникший народ не может, правда, продолжать творчество по начатому пути, ведь он чужд его жизни, но он может ввести свою собственную жизнь и ее новые отношения в символический и поэтический объем, в котором его предшественники высказывали свою, и, например, облачить своих рыцарей как героев или, наоборот, дать старым богам обменяться нарядами с новыми. Именно с помощью этого чуждого покровы на обычном последнее получит подобную идеализированному привлекательность, и возникнут очень приятные фигуры. Но и то и другое, как символический и поэтический объем изначального языка, так и новые жизненные отношения, суть конечные и ограниченные величины, их взаимопроникновение в какой-то момент завершается; и там, где оно завершается, народ празднует свой золотой век, а исток его поэзии иссякает. В какой-то момент достигается высшая точка совпадения неразвивающихся слов с неразвивающимися понятиями и неразвивающихся символов с неразвивающимися жизненными отношениями. После того как этот пункт достигнут, народ не может больше ничего, кроме как переделывать свои самые удачные шедевры таким образом, чтобы они

выглядели как что-то новое, хотя они — хорошо известное старое; или, если хочется быть совершенно новым и говорить на новый лад, — пользоваться неуместным и непристойным и в поэтическом искусстве смешивать отвратительное с прекрасным, делая ставку на карикатуру и юмористическое, а в прозе спутывать понятия и делать смесь из порока и добродетели.

Поскольку в народе духовное образование и жизнь, таким образом, идут каждое своим путем, то само собой следует, что сословия, которые не имеют доступа к первому и до которых в противоположность тому, как это происходит в живом народе, даже не доходят следствия этого образования, будут поставлены ниже образованных сословий и будут считаться, в некотором роде, людьми второго сорта, которые изначально и в силу уже одного только рождения не равны первым по духовным способностям; и что поэтому образованные сословия вовсе не будут иметь истинно любовного сочувствия к ним и побуждения серьезно помогать им именно потому, что полагают, что им невозможно помочь по причине изначального неравенства, и что образованных гораздо больше будет привлекать возможность пользоваться ими в том виде, как они суть, и позволять им быть такими. Также и это следствие умирания языка при возникновении нового народа может быть смягчено человеколюбивой религией и недостаточной ловкостью высших сословий, но в дальнейшем презрение к народу будет становиться все более откровенным и жестоким. С этой общей причиной самовозвеличивания и кичливости образованных сословий связана еще одна частная, которая, поскольку она обладала очень широким

влиянием даже и на немцев, не может быть опущена. Собственно римляне, которые вначале, вслед за греками, безо всякого стеснения называли себя по сравнению с ними варварами и свой собственный язык варварским, передали позже предназначенное им наименование дальше и нашли у германцев то же самое чистосердечное доверие, которое они сначала сами оказали грекам. Германцы верили, что они смогут избавиться от варварства только став римлянами. Переселившись на прежние римские земли, они стремились к этому изо всех сил. В их способности воображения «варварский» получило очень скоро дополнительное значение «пошлый», «низкий», «бестолковый», а «римское» в противоположность ему стало равнозначно «превосходному». Это проникает и в общее, и в особенное их языков, поскольку попытки сознательного и осмысленного образования языка направлялись к тому, чтобы отбросить германские корни и, образуя слова из римских корней, таким образом создать романский как язык двора и образования, поскольку почти всегда при одинаковом значении двух слов слово германского корня обозначает низменное и дурное, а романского — благородное и возвышенное.

Подобное, как если бы это было принципиальным заболеванием всего германского племени, происходит и на прародине с немцами, если они не вооружаются против этого со всей серьезностью. Также и нашему слуху римский звук может показаться благородным, также и нашему взору римский обычай может видаться более благородным, а немецкий — более пошлым; а поскольку нам не повезло получить все это из

первых рук, то мы будем рады получить это при посредничестве новых римлян. Пока мы немцы, мы представляем себе такими же людьми, как и другие; но если мы наполовину или больше говорим не по-немецки, имеем необычные иноземные манеры и наряды, то мы задираем нос; но вершиной триумфа мы считаем, если нас принимают не за немцев, а, например, за испанцев или англичан, в зависимости от предпочтений моды. Мы правы. Естественность немецкой стороны и произвольность и искусственность зарубежья — вот принципиальное различие; если мы выбираем первое, то остаемся такими же, каков весь наш народ, и тогда он понимает нас и воспринимает нас как подобных себе; но, если мы прибегаем к последнему, мы станем ему непонятны и он принимает нас за иное естество. У зарубежья неестественность в самой его жизни, поскольку оно изначально и в главном обстоятельстве отступило от природы; мы же должны сначала отыскать его и привыкнуть к нему, веря что прекрасно, искусно и удобно то, что естественным образом нам таким не представляется. Во всем этом и заключается основная причина веры у немцев в большую благородность романского зарубежья и стремления поступать так же благородно и искусственно создать в Германии пропасть между высшими сословиями и народом, которая в зарубежье появилась естественным образом. О принципиальном истоке «иностраничания» среди немцев сказано здесь достаточно; то, насколько широко его влияние, и то, что все зло, корень которого мы ныне указали, зарубежного происхождения, что, правда, может принести вред только в соединении с немецкой

серьезностью и влиянием на жизнь, это мы покажем в другой раз.

Кроме этих двух, проистекающих из основного различия, явлений, — того, что духовное образование или влияет на жизнь или нет, и того, что между образованными сословиями и народом или существует стена или нет, — я укажу еще на следующее: если народ живого языка обладает прилежанием и серьезностью и прикладывает усилия во всех делах, то народ мертвого языка, напротив, считает духовные занятия в большей степени игрой гения и отдает руководство собою своей счастливой природе. Это обстоятельство само собой следует из вышесказанного. У народа живого языка исследование исходит из потребности жизни, которая должна быть им удовлетворена, и таким образом получает все необходимые импульсы, приносимые самой жизнью. У народа мертвого языка оно стремится только к тому, чтобы провести время приятным и соразмерным чувству прекрасного образом, и полностью достигает своей цели, если ему это удастся. Для иностранцев последнее почти неизбежно; у немцев, когда это явление происходит, упор на гениальность и улыбку природы — это недостойная их «иностранщина», возникающая, как и всякая «иностранщина», из страсти поступать по-благородному. Правда, ни у одного народа мира не возникнет ничего превосходного без изначального побуждения в человеке, которое как нечто сверхчувственное по праву называется иностранным именем «гений». Но это побуждение само по себе возбуждает только способность воображения и создает в ней парящие над землей неопределенные образы. Чтобы

поставить их на почву действительной жизни и довести их определение до устойчивости в ней, требуется прилежное, сознательное и продвигающееся под руководством твердого правила мышление. Гениальность дает прилежанию материал для обработки, последнее без первой получало бы для обработки либо уже обработанное, либо не имело бы ничего. Но прилежание вводит этот материал, который без него был бы лишь пустой игрой, в жизнь; и, таким образом, оба способны на что-либо только при объединении, а по раздельности ничтожны. Более того, у народа мертвого языка вовсе не может загореться истинно творческая гениальность, потому что им недостает изначальной способности обозначения, они могут только развивать уже начатое и распространять его по всему уже существующему и завершенному обозначению.

Что же касается в особенности большего старания, то оно естественным образом приходится на долю народа живого языка. Живой язык может по сравнению с другим стоять на более высокой ступени образования, но он никогда не в состоянии достичь в себе самом такой же завершенности и такого же совершенства, которых легко достигает мертвый язык. В последнем словарный запас закончен, возможные удачные словосочетания постепенно также исчерпываются, и тот, кто хочет говорить на этом языке, вынужден говорить на нем так, как он есть; но после того, как он его выучит, речь в его устах говорит сама собой, и мыслит, и сочиняет за него. В живом же языке, если только в нем действительно живут, слова и их значения постоянно умножаются и изменяются, и именно поэтому стано-

вятся возможными новые сочетания, и язык, который никогда не есть, но вечно развивается, не говорит сам собой, но каждый, кто хочет им воспользоваться, должен говорить на нем именно сам на свой манер и творчески по своей собственной потребности. Последнее, без сомнения, требует гораздо больше прилежности и упражнения, чем первое. Таким же образом, как уже было сказано выше, исследования народа живого языка проникают вплоть до корня происхождения понятий из самой духовной природы; исследования народа мертвого языка, напротив, стремятся только проникнуть и сделать себе понятным чужое понятие, и, таким образом, они на самом деле лишь историчны и истолковательны, первые же истинно философичны. Понятно, что исследование последнего рода может быть завершено скорее и легче, чем исследование первого.

В соответствии со всем сказанным иностранный гений будет осыпать цветами марширующие войска древности и ткать изысканный наряд жизненной мудрости, которую он легко принимает за философию; немецкий дух, напротив, будет прорывать новые шахты, сводить в их бездны свет и день и извергать горы мыслей, из которых будущие эпохи возведут себе жилища. Иностранный гений будет милым сильфом, оторвавшимся от своей почвы и легко парящим над цветком, на который он осторожно опускается, чтобы насладиться освежающей росой; или пчелой, собирающей с деловитым искусством мед с того же цветка и в грациозном порядке наполняющей им правильно возведенные соты; немецкий дух — орлом, мощно бросающим вверх свое весомое тело и подминающим воздух сильным и при-

вычным крылом, чтобы взмыть к солнцу, созерцанием которого он воспламенен.

Сведем все до сих пор сказанное в Единый центральный пункт. В связи с историей образования человеческого рода вообще, исторически распадающейся на древность и новый мир, оба описанных основных племени в общем и целом следующим образом относятся к изначальному образованию этого нового мира. Та часть юной нации, которая стала иностранной, посредством принятия языка древности значительно теснее породнилась с нею. Вначале ей гораздо легче схватить этот язык в его первой и неизменной форме, проникнуть в памятники ее образования и привнести в них столько свежести, что они могут сочетаться с вновь возникающей жизнью. Короче, от них изучение классической древности распространяется на новейшую Европу. Воодушевленные оставшимися нерешенными ею задачами, они продолжают работу над ними, но, конечно, как над задачами, поставленными голой жаждой знаний, никоим образом не потребностью жизни, касаясь ее слегка, схватывая не всей душой, но только способностью воображения и только в последней создавая ей анемичное тело. При том богатстве материала, который оставила древность, при той легкости, с которой можно таким образом работать, они введут полноту этих образов в кругозор нового мира. Эти образы древнего мира, преобразованные в новую форму, попав к той части пранарода, которая с помощью сохраненного языка остается в потоке изначального образования, возбудят также и его внимание, и самостоятельность, — образы, которые она миновала бы не заметив и не восприняв,

если бы они остались в старой форме. Но как несомненно то, что она их схватит, верно и то, что она схватит их соразмерно своей природе, не просто передавая их из рук в руки, не в голом знании чужой жизни, а как составную часть своей; и, таким образом, не только выводя их из жизни нового мира, но и снова вводя их в нее, воплощая прежде лишь бесплотные образы в прочных и устойчивых в стихии жизни телах.

В этом превращении, которого со стихией жизни никогда не смогло бы совершить само зарубежье, она возвращается к нему от немцев, и лишь посредством этого перехода становится возможным дальнейшее образование человеческого рода на пути древности, соединение обеих основных частей и дальнейшее закономерное течение человеческого развития. В этом новом порядке вещей метрополия не будет изобретать новое в точном смысле, но в большом, как и в малом, всегда должна будет признавать, что была стимулирована указанием зарубежья, которое в свою очередь было побуждено древними; метрополия примет всерьез и введет в жизнь то, что там было набросано поверхностно и мимоходом. Сейчас не время, как было сказано выше, излагать это отношение на подходящем и глубоком примере, мы сделаем это в другой речи.

Обе части единой нации оставались, таким образом, Одним, и только в этом одновременном разделении и единстве они составляют привой на стволе древнего образования, которое без этого было бы прервано новым временем, и человечеству пришлось бы начинать свой путь сначала. Обе части должны теперь познать друг друга и каждая себя в этих, при начале

различных, но у цели соединяющихся, условиях и пользоваться друг другом в соответствии с ними; но для того, чтобы продвигалось всестороннее и полное образование целого, в особенности важно, чтобы каждая согласилась сохранять другую и неложно допускала бы ее в ее особенности. Что касается этого познания, то оно, пожалуй, должно исходить из метрополии, как в первую очередь обладающей пониманием глубины. Если будучи слепым к этим отношениям, увлеченное поверхностной видимостью зарубежье когда-нибудь попытается лишить свою метрополию самостоятельности и тем самым уничтожить и поглотить ее, то, если бы ему удалось это осуществить, оно перерезало бы себе последнюю жилу, которой оно до сих пор еще связано с природой и жизнью, и совершенно впало бы в духовную смерть, которая и без того с течением времени все более явно открывает себя в качестве его сущности; этим на самом деле был бы замкнут до сих пор беспрерывно продолжавшийся ток образования нашего рода, и от возродившегося варварства не было бы спасения: мы дошли бы до того, что вернулись бы, подобно диким зверям, в пещеры и, как они, стали бы пожирать друг друга. Что это действительно было бы так и необходимым образом должно было бы так выйти, могут усмотреть, правда, только немцы, и они одни только и должны усмотреть; иностранцу, поскольку он не знает другого образования и безгранично восхищается своим, это может и должно всегда казаться безвкусной руганью плохо обученного невежества.

Зарубежье — это земля, выделяющая и поднимающая к облакам плодородный пар, — земля, посредством

которой сосланные в Тартар старые боги все еще связаны с областью жизни. Метрополия — это то вечное облегающее небо, где легкий пар сгущается в облака, которые, оплодотворенные происходящей из иного мира грозовой молнией, проливаются живительным дождем, соединяющим небо и землю и приносящим дары первого в лоно последней. Новые титаны снова хотят штурмовать небо? Оно не будет для них небом, ведь они рождены землей; вид и воздействие неба их просто не коснутся, и им останется только их земля — холодный, мрачный и бесплодный приют. Но что может, говорит римский поэт,¹⁸ что может сделать Тифей,¹⁹ или мощный Мимант, или Порфирион, принявший грозную позу, или Рет,²⁰ или Энкелад,²¹ смело мечущий вырванные деревья, когда их опрокидывает звонкий щит Паллады.²² Это тот же щит, который, без сомнения, прикроет и нас, если мы догадаемся прибегнуть к его защите.

ПРИМЕЧАНИЕ К с. 138

Также и о большем или меньшем благозвучии языка, по нашему представлению, не стоит судить исходя из непосредственного впечатления, которое зависит от слишком многих случайностей, ведь такое суждение должно основываться на надежных основоположениях. Заслугу языка в этом отношении, без сомнения, стоит видеть в первую очередь в том, что он исчерпывает и в полном объеме представляет возможности человеческого языкового средства, во вторую — что он

сливает воедино, в естественную и правильную смесь, свои отдельные звуки. Отсюда уже ясно, что нации, которые половинчато и односторонне формируют свои языковые средства и под предлогом трудности или неблагозвучия избегают некоторые звуки и сочетания, — нации, которым благозвучным будет казаться только то, что они привыкли слышать и произносить, не обладают правом голоса в таком исследовании.

Здесь мы можем оставить без ответа вопрос: каким же, при предположении тех более высоких основоположений, должно быть суждение в этом отношении о немецком языке? Каждая новоевропейская нация выговаривает сам изначальный римский язык на свой собственный манер, и его истинное произношение не так-то просто и восстановить. Остается поэтому только один вопрос: действительно ли немецкий язык звучит так жестко и грубо по сравнению с новолатинскими, как некоторые склонны полагать?

Пока этот вопрос еще не решен, можно по меньшей мере предварительно объяснить, как получается, что иностранцам и самим немцам, даже если они не предвзяты и не имеют предпочтения или предубеждения, так кажется. Еще необразованный народ, с очень живой способностью воображения, при большой детскости чувств и свободе от национальной кичливости (каковы, как представляется, и были германцы), манят дальние страны и острова, и он охотно переносит туда предметы своих желаний и предчувствие чудес. У него развивается романтическое чувство (слово объясняет себя само и не могло бы быть образовано более подходящим образом). Звуки и тоны из этой

местности встречаются с этим чувством и пробуждают весь его мир чудес, и потому нравятся.

Так и получилось, что наши переселившиеся земляки так легко отказались от собственного языка в пользу чужого, и нам, их очень дальним родственникам, эти звуки до сих пор кажутся такими чудесными.

ШЕСТАЯ РЕЧЬ

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ НЕМЦЕВ В ИСТОРИИ

В прошлой речи были рассмотрены основные отличия народа, продолжающего образовывать себя в своем изначальном языке, от народа, принявшего чужой язык. Об этом мы сказали следующее: что касается зарубежья, то мы предоставляем каждому наблюдателю самостоятельно судить о том, действительно ли там имеют место те явления, которые согласно нашим утверждениям должны иметь там место; что же касается немцев, мы вызвались показать, что они действительно так проявляют себя, как согласно нашим утверждениям должен проявлять себя народ изначального языка. Сегодня мы исполним наши обещания, и именно тем образом, что изложим то, что мы в первую очередь должны доказать, на основании последнего великого и в некотором смысле уже завершенного мирового деяния немецкого народа — церковной Реформации.

Христианство, пришедшее из Азии и вследствие его порчи ставшее подлинно азиатским, проповедовавшее немую покорность и слепую веру, уже для римлян было чем-то чужеродным и иностранным; они никогда в действительности не проникались им и не усваивали его, оно разделяло их существо на две несоединимые половины; при этом добавка чужеродной части была опосредована их родным меланхоличным суеверием. В лице переселившихся германцев эта религия получила питомцев, у которых ей не препятствовало никакое прежнее образование рассудка, но и не способствовало ей никакое родное суеверие; таким образом, оно было дано им как еще одна принадлежность римлян, которыми они хотели стать, и оставалось без особого влияния на их жизнь. Само собой понятно, что эти христианские воспитатели с древнеримским образованием и языком как хранителем последнего могли получить доступ к этим новообращенным только примирившись с их взглядами; в этом также заключается причина падения и омертвения у них римского языка. Когда позже в руки этих народов попали подлинные и чистые памятники древнего образования, возбудившие тем самым у них стремление к самостоятельному мышлению и постижению; то им, поскольку, с одной стороны, это стремление было для них новым и свежим, а с другой — оно не уравнивалось традиционным страхом перед богами, противоречие между слепой верой и странными вещами, становившимися в ходе времени ее предметами, должно было гораздо сильнее броситься в глаза, чем даже римлянам, впервые столкнувшимся с христианством. Усмотрение полного

противоречия в том, во что до сих пор чистосердечно верили, возбуждает смех; разгадавшие загадку смеялись и издевались, даже священники, также разгадавшие ее, смеялись вместе с другими, защищенные тем, что только очень немногие имели доступ к древнему образованию как средству избавления от чар. При этом я имею в виду в первую очередь Италию как центр новоримского образования того времени, по сравнению с которой другие новоримские племена были во всех отношениях еще очень отсталыми.²³

Они смеялись над обманом, ведь они не относились к этому серьезно; исключительное обладание этим необычным знанием еще надежнее делало их благородным и образованным сословием, и им вполне по душе было оставить толпу, которой они не сочувствовали, во власти этого обмана и тем более послушной им в использовании ее для своих целей. Итак, должно было сохраняться положение, при котором народ был обманываем, а благородные пользовались этим и смеялись над обманом; и так, вероятно, все бы и обстояло до скончания века, если бы в новое время не существовало никого, кроме новых римлян.

Вы видите здесь ясное доказательство того, что было сказано раньше о продолжении древнего образования новым и о том, какое участие в нем могут принять новые римляне. Новая ясность исходила от древних и раскрылась сначала в центре древнеримского образования, она стала здесь лишь рассудочным усмотрением, не охватив и не преобразовав жизнь.

Но прежнее положение дел могло существовать только до тех пор, пока этот свет не проник в душу, ре-

лигиозную всерьез и во всей ее жизни, окруженную народом, которому она легко могла сообщить свои самые серьезные взгляды на вещи и в котором нашлись головы, способные ответить на его важнейшую потребность. Как низко бы не опускалось христианство, в нем все же всегда сохраняется содержащая истину фундаментальная составная часть, которая неизбежно возбуждает жизнь, действительную и самостоятельную, — вопрос: что мы должны делать, чтобы стать блаженными? Где этот вопрос попадал на мертвую почву, там он или просто оставался как есть, хотя тут и полагали всерьез, что нечто, называемое блаженством, возможно, или, будучи воспринят, все же не встречал твердой и решительной воли к тому, чтобы самому стать блаженным. На этой почве религия, таким образом, не получала влияния на жизнь и волю, но оставалась лишь неустойчивой и бледной тенью в памяти и способности воображения; поэтому, естественно, и всякое дальнейшее прояснение в отношении имеющихся религиозных понятий также не получало никакого влияния на жизнь. Если же этот вопрос, напротив, попадал на изначально живую почву, то всерьез верили в то, что блаженство есть, присутствовала воля к тому, чтобы стать блаженным, а средства достижения блаженства, указанные прежней религией, употреблялись для этого с внутренней верой и честной серьезностью. Таким образом, когда на эту почву, именно из-за серьезного отношения закрытую для прояснения того, каковы эти средства, такое прояснение все же в конце концов приходит, здесь возникает сильнейшее отвращение к обману в отношении спасения души и беспокойное стремление к тому, чтобы

спасти ее иным образом, а то, что казалось навсегда подвергнутым порче, не может быть принято с шуткой. Далее, индивид, которого сначала охватит это усмотрение, никоим образом не сможет удовлетвориться спасением своей собственной души при равнодушии к благу всех остальных бессмертных душ, поскольку согласно его глубочайшей религии таким образом не может быть спасена даже его собственная душа; но он с тем же страхом, как и за нее, должен бороться за то, чтобы открыть глаза совершенно всем людям на свете на этот проклятый обман.

Таким путем усмотрение, которым уже задолго до него в большей, пожалуй, степени ясности обладали очень многие иностранцы, попало в душу немца Лютера. В отношении древнего и тонкого образования, учености и других преимуществ его превосходили не только иностранцы, но и многие немцы. Но его охватило всемогущее стремление, беспокойство о вечном спасении, и оно стало жизнью в его жизни, заставляло рисковать ею, дало ему силу и талант, которыми восхищается потомство. Пусть другие при Реформации преследовали земные цели, они никогда не победили бы, если бы во главе ее не стоял предводитель, воодушевленный вечным; то, что он, никогда не забывавший о деле спасения всех бессмертных душ, с полной убежденностью бесстрашно выступал против всех сил ада, это естественно и не чудо. Это лишь свидетельство немецкой серьезности и души.

Причина того, что Лютер обратился с этим чисто человеческим и решаемым только самим отдельным человеком делом ко всем, и в первую очередь ко всей

своей нации, заключалась, как было сказано, в самом деле. Как же его народ воспринял этот призыв? Остался ли он в своем тупом покое, прикованный к земле земными заботами, спокойно продолжая свой привычный путь, или непривычное явление мощного воодушевления возбудило лишь его смех? Никоим образом, народ был как будто охвачен распространяющимся пламенем той самой заботы о спасении души, которая моментально раскрывала глаза людям, и они на лету схватывали подносимое им. Было ли это воодушевление только лишь мгновенным подъемом способности воображения, который не может сохраниться в жизни, в ее серьезной борьбе и опасностях? Никоим образом, у них не было ничего и они переносили все мучения, вели кровавые опасные войны только затем, чтобы вновь не подпасть власти проклятого папства, чтобы им и их детям всегда сиял свет Евангелия, один только делающий блаженным; и у них позже вновь были явлены все те чудеса, которые христианство явило при своем начале. Все проявления того времени наполнены этой повсюду распространившейся озабоченностью блаженством. В этом свидетельство особенности немецкого народа. Воодушевлением его легко поднять ко всякому воодушевлению и всякой ясности, и его воодушевление не иссякает в жизни и преобразует ее.

Также и раньше и в других местах реформаторы воодушевляли толпы народа и собирали их в общности и образовывали; но все же эти общности не имели стабильной устойчивости, основанной на почве прежнего строя, потому что главы народа и князя прежнего строя не выступали на их стороне. Сначала казалось,

что и лютеровской Реформации уготована не лучшая судьба. Мудрый курфюрст,²⁴ на глазах которого она началась, был мудр, как представляется, более в смысле зарубежном, чем в немецком; он, кажется, не особенно понимал, о чем идет речь, не придавал большого значения спору, как он считал, двух монашеских орденов²⁵ и заботился о своем вновь созданном университете, скорее, только ради доброй славы. Но у него были наследники,²⁶ которые, будучи не настолько мудры, как он, были охвачены той же самой заботой о своем блаженстве, что жила в их народах, и из-за этого равенства с ними слились с ними вплоть до общей жизни или смерти, победы или гибели.

Здесь Вы видите доказательство вышеназванных основных черт немцев как общности и их строя, основанного на природе. Большие национальные и мировые события становились до сих пор достоянием народа и осуществлялись у него посредством выступавших по собственной воле ораторов. Если его князя вначале, из «иностраничания» и желания быть благородными и блестящими, хотели обособить себя, как и князя тех народов, от нации, покинуть или предать ее, то позже они все же легко приходили в согласие с ней и стали милостивы к своим народам. Неизменность существования первого в прошлом мы докажем ниже с помощью других свидетельств; продолжения же существования последнего мы можем только горячо желать.

Несмотря на то, что приходится признать, что в беспокойстве о спасении души той эпохи оставались темнота и неясность, поскольку дело шло не о том, чтобы только изменить внешнего посредника между

Богом и человеком, но о том, чтобы вовсе не нуждаться ни в каком внешнем посреднике и узы взаимосвязи находить в себе самом; все же, возможно, было необходимо, чтобы религиозное формирование людей в целом прошло через это промежуточное состояние. Его честное усердие дало самому Лютеру больше, чем он искал, и вывело его гораздо дальше построений его учения. После того как он победил страхи своей совести, которые породил в нем его смелый разрыв со всеми прежними верованиями, все его высказывания полны ликования и триумфа из-за достигнутой свободы детей Божьих, которые теперь уже вовсе не искали блаженства вне себя и за гробом, но были извержением непосредственного ощущения его. В этом он стал образцом для всех последующих эпох и совершил для нас их все. — Здесь Вы также видите фундаментальную черту немецкого духа. Если он только ищет, он находит больше, чем искал; ведь он оказывается в потоке живой жизни, текущей из самой себя и уносящей его с собой.

С папством, если взять его и судить о нем в соответствии с его собственными убеждениями, Реформация, без сомнения, поступила несправедливо. Его высказывания были, пожалуй, большей частью слепо заимствованы из имеющегося языка, в ораторском плане страдали азиатскими преувеличениями и означали то, что могли, с расчетом на то, что более чем многое будет воспринято как не заслуживающее внимания, т. е. никогда не были всерьез рассчитаны, взвешены или продуманы. Реформация принимала их с немецкой серьезностью в их полном значении; и она была права

в том, что **все** нужно принимать так, не права же в том, что верила, что те так все и принимали, и обвиняла их еще и в других вещах, в их естественной плоскости и поверхностности. Это вообще никогда не изменяющееся явление в любом споре немецкой серьезности с зарубежьем, находящимся ли вне или внутри страны, состоит в том, что последнее совершенно не в состоянии понять, как можно поднимать столько шума из-за таких безразличных вещей, как слова и обороты речи; что они, слыша свое повторяемым устами немца, во все и не хотели сказать того, что они все же сказали, говорят и всегда будут говорить, и что они жалуются на последовательность выводов, которую они называют клеветой, когда их высказывания принимают в их буквальном смысле и как высказанное всерьез и рассматривают в качестве составных частей последовательного хода мысли, из которых устанавливают, восходя, их основоположения, а нисходя — их выводы. Они же между тем очень далеки, вероятно, от того, чтобы приписывать себе как личности последовательность и ясное сознание того, о чем говорят. Все еще глубоко сидящее «иностраничанье» всегда выдает себя в том взгляде, что все надо принимать так, как оно мнится, что, более того, не надо ставить под вопрос право иметь мнение и высказывать его вслух.

Серьезность, с которой принималось старое религиозное учение, подвигала его к большей, чем раньше, серьезности и к новой его проверке, перетолкованию, укреплению, а также к большей осмотрительности в учении и жизни в отношении последствий; и это, как и предыдущее, будет Вам свидетельством того, каким

образом Германия всегда оказывала обратное воздействие на остальную Европу. Посредством этого старое учение получило по меньшей мере именно ту безвредную действенность в отношении целого, которую оно могло иметь, после того как от него не отказались; но в особенности для своих защитников оно стало поводом и требованием обдумать все основательнее и последовательнее, чем это было до тех пор. Мы намерены здесь умолчать о том, что исправленное в Германии учение распространилось также и за рубежом и там с тем же успехом вызвало высшее воодушевление, поскольку это было временным явлением. Но все же важно отметить, что новое учение ни в одной собственно новолатинской стране не было признано государством; как представляется, для того, чтобы согласовать это учение с верховной властью, требовались немецкая основательность правящих и немецкое добродушие народа.

Но своим исправлением церкви Германия в другом отношении оказала всеобщее и долгосрочное влияние на зарубежье, не на народ, но на образованное сословие. Этим влиянием она снова сделала зарубежье своим предшественником и инициатором своих собственных новых творений. Свободное и самостоятельное мышление, или философия, уже в предыдущие столетия при господстве старого учения часто привлекало внимание и силы, но ни в коем случае не для того, чтобы из него самого произвести истину, а лишь чтобы показать истинность учения церкви. Тем же самым в отношении их учения была занята сначала философия и у немецких протестантов, она стала служанкой Евангелия, так же как у схоластиков была служанкой церкви. В зарубе-

жье, которое или вообще не имело Евангелия, или не восприняло его с чистым немецким благоговением и глубиной, свободное мышление, воспламененное одержанным блестящим триумфом, взлетело, не скованное верой в сверхчувственное, легче и выше; но оно осталось в чувственных оковах веры в естественный, созревающий без образования и нравственности рассудок; и поскольку оно было совершенно далеко от того, чтобы открыть в разуме источник покоящейся на самой себе истины, то для него суждения этого грубого рассудка стали тем, чем для схоластиков была церковь, а для первых протестантских теологов — Евангелие; верны ли они — об этом вопрос не вставал, вопросом было, как этой истине одержать верх над несогласными суждениями.

Поскольку это мышление вовсе не проникало в область разума, возражения которого были бы более значительными, то оно не нашло иного противника, кроме исторически наличествующей религии, и легко раздалось с ним, поскольку мерило его меркой предполагаемого здравого рассудка, и при этом становилось ясно, что она ему как раз противоречит; и так получилось, что, как только все это полностью выяснилось, за рубежом имя «философ» стало равнозначным атеисту и неверующему и приобрело и другой подобного рода почет.

Попытка, вслед за зарубежным авторитетом, совершенно подняться над всякой верой, что и было в устремлениях зарубежья правильным, стала для немцев, от которых она изначально и вышла посредством исправления церкви, новым стимулом. Хотя второстепен-

ные и несамостоятельные головы среди нас твердили учение зарубежья (потому что, как представляется, оно казалось им благороднее, чем учение их земляков), и эти головы пытались, насколько это возможно, доказать его себе самим. Но там, где приходил в движение самостоятельный немецкий дух, там не удовлетворялись чувственным, возникала задача отыскать в самом разуме сверхчувственное, основанное, конечно, уже не на вере в чужой авторитет, и так создать собственно философию, поскольку, как это и должно было быть, свободное мышление сделали источником независимой истины. К этому в борьбе с той иностранной философией стремился Лейбниц;²⁷ этого достиг настоящий основатель новой немецкой философии,²⁸ который признавался, что был побужден к тому зарубежным явлением, которое он все же воспринял глубже, чем подразумевалось последним.²⁹ С тех пор задача у нас была полностью решена, а философия завершена, — здесь, пока не наступила эпоха, которая это поймет, мы можем удовлетвориться просто констатацией этого.³⁰ Далее, вновь получив импульс от прошедшей через новороманское зарубежье античности, немецкая метрополия могла бы приступить к созданию никогда прежде не существовавшего нового.

На глазах современников зарубежье легко и с пламенной отвагой ухватило за другую задачу разума и философии в новом мире — создание совершенного государства — и вскоре после этого бросило ее, так что оно в силу своего нынешнего положения вынуждено одну даже мысль об этой задаче проклипать как преступление и изо всех сил стараться о том, чтобы, если

бы это только было для него возможно, вычеркнуть те устремления из анналов своей истории.³¹ Причина этих событий вовсе не тайна: соразмерное разуму государство не может быть построено искусственным образом из любого наличного материала, нация должна быть сначала образована и воспитана для него. Только та нация, которая сначала решит путем действительного осуществления задачу воспитания совершенного человека, сможет затем создать и совершенное государство.

Со времени исправления церкви зарубежье также многократно, остроумно, но в смысле своей философии, обращалось к упомянутой последней задаче воспитания, каковые импульсы нашли у нас сначала последователей и подражателей. Как далеко, наконец, продвинула к настоящему моменту это дело немецкая душа, об этом мы подробнее сообщим в свое время.

В сказанном Вы имеете ясный обзор всей истории образования нового времени и неизменного отношения составных частей последнего к первому. Истинная религия, в форме христианства, была зерном нового мира, а его общей задачей было влить эту религию в существовавшее образование античности и этим одухотворить и исцелить последнее. Первый шаг на этом пути заключался в том, чтобы отделить от нее лишаящий свободы внешний авторитет формы этой религии и ввести также и в нее свободное мышление античности. Импульс к этому шагу исходил от зарубежья — немцы же его сделали. Второй, который, собственно, есть продолжение и завершение первого, — в том, чтобы отыскать в нас самих эту религию и с ней всю мудрость; его также подготовило зарубежье и совершили

немцы. Следующий шаг вперед, отныне и на вечные времена являющийся задачей дня, — это совершенное национальное воспитание человека. Без этого добытая философия никогда не найдет широкого понимания, тем более — всеобщего применения в жизни; и, наоборот, без философии искусство воспитания никогда не достигнет полной ясности в себе самом. Они связаны друг с другом, и одна без другой неполны и неприменимы. Уже хотя бы потому, что немцы до сих пор доводили до завершения все шаги образования, для чего они, собственно, и сохраняются в новом мире, им подобает совершить то же самое и с воспитанием; а как только здесь будет наведен порядок, со всеми остальными обстоятельствами человечества все свершится легко.

Немецкая нация до сих пор действительно находилась в этом отношении к дальнейшему развитию человеческого рода в новое время. Осветим еще поподробнее уже дважды мимоходом упомянутый природосообразный ход, которым двигалась эта нация, — собственно, то, что в Германии все образование исходило от народа. Мы уже усмотрели, что дело исправления церкви сразу стало делом народа и удалось только потому, что стало его делом. Далее нужно показать, что этот отдельный случай не исключение, но правило.

Оставшиеся в метрополии немцы сохранили у себя все добродетели, бывшие прежде на их земле: верность, порядочность, честь, простоту; но от образования к более высокой и духовной жизни они получили то немного, что могло принести христианство тех времен и его учителя живущим разрозненно людям. Этого было мало: они по сравнению со своими переселившимися

соплеменниками были отсталыми и все же наполовину варварами, пусть и действительно бравыми и славными. Между тем у них возникли города, воздвигнутые людьми из народа. В них быстро расцвели пышным цветом все ветви образованной жизни. В них возникли, хотя и рассчитанные на узкий круг, настоящие гражданские конституции и учреждения, а уже потом из них по всей стране распространился образ порядка и любовь к нему.³² Их широчайшая торговля помогла открыть мир. Их объединения опасались короли. Памятники их строительного искусства все еще невредимы, вопреки разрушениям столетий, потомки пораженно взирают на них и признают свою собственную слабость.

Я не намерен сравнивать этих бюргеров немецких имперских городов средневековья с другими современными им сословиями и спрашивать, что тем временем делало дворянство, что князья; но в сравнении с другими германскими нациями, не считая некоторых областей Италии, от которых немцы все-таки не отстали в области изящных искусств, в области же полезных — обогнали и стали их учителями, не считая их, немецкие бюргеры были образованными, а те — варварами. История Германии, немецкой власти, немецких предприятий, изобретений, памятников, духа той эпохи — это исключительно история этих городов, а все остальное, такое как заклад земель под залог и выкуп их обратно и тому подобное, не стоит упоминания. Это время — единственное в немецкой истории, когда эта нация стояла в блеске и славе на том месте, которое ей подобает как изначальному народу; как только ее цветение было разрушено алчностью

и жаждой власти князей, а их свобода попорана, целое начало постепенно опускаться все ниже и двигаться к нынешнему состоянию. Но как только опускается Германия, также и вся остальная Европа опускается в отношении того, что касается сущности, а не голой внешней видимости.

Решающее влияние этого, на самом деле господствующего, сословия на развитие немецкой имперской конституции, на исправление церкви и на все, что когда-либо отличало немецкую нацию и изошло от нее в зарубежье, невозможно не заметить повсюду и можно доказать, что все, что по сию пору есть у немцев достопочтенного, произошло из него.

Но в каком духе произвело эти плоды и наслаждалось ими это немецкое сословие? В духе благочестия, честности, скромности, заботы о целом. Для себя самих они нуждались в немногом, ради общественных предприятий они шли на неизмеримые траты. Редко где выдается отдельное имя и отмечает себя, потому что все чувствовали так же и были готовы на жертвы общему. В Италии свободные города возникли совершенно в тех же внешних условиях. Сравните их историю: в первых — непрерывные волнения, внутренние раздоры, даже войны, постоянная смена конституций и властителей, в последних же, напротив, мирный покой и согласие. Как яснее могло бы выразиться внутреннее различие в душах двух наций? Немецкая нация — единственная среди новоевропейских наций, уже столетия назад делом доказавшая своим бюргерским сословием, что она в состоянии выдержать республиканское устройство.

Среди единичных и особенных средств поднятия немецкого духа есть одно очень сильное — иметь вдохновляющую историю немцев этого периода в виде национальной и народной книги, нечто вроде Библии или книги псалмов, пока мы сами не произведем чего-нибудь достойного быть отмеченным. Но только такая история не должна наподобие хроники перечислять деяния и события, она должна, чудесным образом охватывая нас, без всякого нашего собственного содействия и ясного осознания, переносить в жизнь того времени, так чтобы нам казалось — мы ходим, стоим, решаемся, действуем вместе с ними, и все это не с помощью детского и вздорного вымысла, как часто происходит в столь многих исторических романах, но с помощью истины; она должна дать расцвести деяниям и событиям этой их жизни как ее свидетельствам. Такое произведение, правда, может стать плодом только таких широких познаний и исследований, которые, вероятно, еще никогда не производились, но его автор освободил бы нас от исследований и от работы по добыче этих знаний и предложил бы нам лишь зрелый плод на современном языке понятным каждому без исключения немцу образом. Такое произведение, кроме этих исторических знаний, требовало бы и более высокой меры философского духа, который при этом не стремился бы себя демонстрировать, но в первую очередь — надежной и любящей души.

То время было юношеской мечтой нации, жившей в узкой сфере существования, о будущих деяниях, сражениях и победах, и пророчеством о том, что она однажды исполнится сил. Испорченное общество и приманчивое тщеславие завлекли подросшую нацию

в чуждые ей сферы, и, поскольку она хотела блистать и там, она стоит, покрытая позором, ей приходится даже бороться за свое существование. Но действительно ли она состарилась и обессилела? Разве с самого начала, не прекращая, вплоть до нынешнего дня не бил для нее источник изначальной жизни, как ни для какой иной нации? Разве могут пророчества ее юношеской жизни, подтверждаемые свойствами других народов и планом образования всего человечества, разве могут они не исполниться? Ни в коем случае! Верните лишь сначала эту нацию с ложного пути, которым она пошла, покажите ей в зеркале юношеских мечтаний ее истинную склонность и истинное назначение, и, увидев это, она разовьет силы, чтобы мощно приняться за осуществление своего назначения. Пусть этот призыв хоть чем-то послужит тому, чтобы как можно скорее немецкий человек, лучше подготовленный к этому, решил эту предварительную задачу!

СЕДЬМАЯ РЕЧЬ

БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОСТИ И НЕМЕЦКОСТИ НАРОДА

В предыдущих речах были указаны и продемонстрированы в истории основные черты немцев как пранарода, и именно такого, который обладает правом

называть себя просто народом, в противоположность другим, оторванным от него племенам, что и означает слово «немецкий» в своем собственном значении.³³ Будет целесообразно посвятить этому предмету еще одно занятие и рассмотреть возможное возражение, что если это — немецкая отличительная черта, то среди нас, немцев, ныне осталось не так уж много немцев. Поскольку мы никоим образом не можем отрицать этого явления, но, напротив, намерены его признать и рассмотреть его в деталях, то мы начнем с объяснения этого явления.

В общем отношение пранарода нового мира к развитию образования этого мира состояло в том, что несовершенными, остающимися на поверхности устремлениями зарубежья первый побуждается к более глубокому, должному быть развитому из его сердцевинны творчеству. Так как стимулирование к творчеству продолжается, без сомнения, некоторое время, ясно, что это отношение произведет такой период времени, в который пранарод почти полностью смешивается с зарубежьем и должен казаться не отличающимся от него, собственно, именно потому, что он находится в положении исключительно побуждаемого и имеющееся при этом в виду творчество еще не пробилось наружу. В таком периоде времени сейчас как раз и находится Германия в отношении подавляющего большинства ее образованных жителей, и потому по всему внутреннему существованию и жизни этого большинства проявляется «иностранина». В прошлой речи мы усмотрели, что зарубежье дает ныне импульс его метрополии посредством философии как свободного, освобожденного от

любых оков чужого авторитета мышления. Там, где эти импульсы еще не привели к новому творчеству, что случилось с очень немногими, поскольку последнее осталось не воспринятым большинством, — там, с одной стороны, сама эта выше уже обрисованная философия зарубежья образует себя во все новых и новых формах, с другой стороны, ее дух завладевает остальными, в первую очередь граничащими с философией науками и рассматривает их со своей точки зрения; наконец, поскольку немцы все же не в состоянии отказаться от своей серьезности и своего непосредственного вмешательства в жизнь, эта философия получает влияние на течение общественной жизни и ее основоположения и правила. Мы рассмотрим все это последовательно, одно за другим.

Сначала, и в первую очередь: человек образует свое научное воззрение не свободно и произвольно, так или иначе, но оно образуется у него посредством его жизни и есть, в сущности, ставший наглядным представлением внутренний и иным образом неизвестный ему корень самой его жизни. То, что ты, собственно, по-настоящему есть внутренне, и выступает перед твоим внешним зрением, и ты не можешь видеть ничего другого. Чтобы видеть иначе, ты должен сначала стать иным. Внутренняя сущность зарубежья состоит в неизначальности, вере в нечто последнее, устойчивое, пребывающее неизменным, в границу, по эту сторону которой, правда, развивается свободная жизнь, — границу, которую, однако, оно не в состоянии перейти, расплавить собой и раствориться в ней. Потому эта непроницаемая граница необходимым образом предстает перед

его глазами тут или там, и оно не может мыслить и верить иначе, не предполагая что-нибудь такое, если только не переменит всю свою сущность и не вырвет из груди свое сердце. Оно необходимым образом верит в смерть как изначальное и последнее, как основной источник всего, а значит, и жизни.

Здесь мы должны сначала указать, как теперь выражает себя у немцев эта фундаментальная вера.

Она выражает себя в первую очередь в собственно философии. Нынешняя немецкая философия, насколько она стоит упоминания, жаждет основательности и научной формы, несмотря на то, что не может ее добиться, она жаждет единства, также не без предваряющей работы зарубежья, она жаждет реальности и сущности — не голого явления, но являющегося в явлении основания явления. Во всем этом она права и намного превосходит господствующую философию нынешнего внешнего зарубежья, поскольку намного основательнее и упорнее в «иностранине», чем оно само. Это искомое основание голого явления для них, как они его все же ошибочно могут определить, непременно есть устойчивое бытие, которое есть именно то, что оно есть, и ничего более, скованное в себе и связанное к своей собственной сущности; и так, в том числе и для их взора, выступает смерть и отчуждение от изначальности, которая есть в них самих. Поскольку они сами, из себя самих, не могут решиться на взлет к жизни как таковой, но для свободного взлета постоянно нуждаются в носителе и подпорке, поэтому со своим мышлением, как отображением их жизни, не поднимаются выше этого носителя: то, что не есть нечто,

для них необходимым образом есть ничто,³⁴ поскольку между этим вросшим в себя бытием и ничто их глаз не видит больше ничего, ведь их жизнь ничего больше здесь не имеет. Их чувство, на одно которое они только и могут сослаться, кажется им непогрешимым; и если кто-нибудь не признает этого носителя, то они крайне далеки от мысли, что он ограничивается одной только жизнью, но полагают, что ему недостает остроты ума, чтобы заметить носителя, который, без сомнения, есть и его носитель, и что ему не хватает способностей, чтобы подняться до их высоких воззрений. Поэтому напрасно и бесполезно пытаться править эту философию; ее нужно создать по-новому и иначе, если на это способен. В этой части нынешняя немецкая философия не немецкая, но «иностранина».

Истинная философия, пришедшая в себе самой к завершению и поистине проникнувшая сквозь явление к его ядру, напротив, исходит из Единой, чистой, божественной жизни — жизни как таковой, которая всю вечность, и потому всегда, остается Одним, а не из той или иной жизни; и она видит, как эта жизнь только лишь в явлении бесконечно замыкает и снова размыкает себя, и только в силу этого закона приходит к некоторому бытию и нечто. Для нее возникает бытие, которое она позволяет себе дать. И таким образом эта философия подлинно только немецкая, т. е. изначальная; и, наоборот, тот, кто стал бы истинным немцем, мог бы философствовать именно так, и никак иначе.

Та, не собственно немецкая, хотя и царящая среди большинства философствующих по-немецки, система мышления влияет на остальные научные воззрения

времени — выставляется ли она сознательно в качестве собственно философского учения или неосознаваемым образом составляет основу остального нашего мышления, пусть даже главное стремление нашего, вызванного зарубежьем времени заключается в том, чтобы научный материал теперь не просто сохранять в памяти, как это, пожалуй, делали наши предки, но обрабатывать, самостоятельно мысля и философствуя. В отношении стремления вообще время право; но если оно, как и стоит ожидать, при осуществлении этого философствования станет исходить из верующей в смерть философии зарубежья, то оно не будет право. Мы здесь бросим взгляд лишь на науки, ближайшим образом связанные с нашими намерениями, и отыщем распространенные в них иностранные понятия и воззрения.

В том, чтобы рассматривать создание и управление государствами в качестве свободного искусства, обладающего своими твердыми правилами, нашим предшественником, без всякого сомнения, было зарубежье, в свою очередь руководствовавшееся античностью как образцом. В чем же это зарубежье, уже в стихии своего мышления и воления, в своем языке обладающее твердым, замкнутым и мертвым носителем, и все, следующие ему в этом, будут видеть это государственное искусство? Без сомнения, в искусстве находить такой же твердый и мертвый порядок вещей, откуда, из этой смерти, должно происходить живое движение общества, и происходить так, как оно это предусматривает; всякую жизнь в обществе составлять в гигантскую искусственную машину давлений и колес, в которой каждое единичное постоянно принуждается к тому, чтобы

служить целому; в математической задаче с конечными и известными условиями находить определенную сумму, из предположения, что каждый хочет собственного благополучия, с целью принудить каждого, вопреки его расположенности и воле, к службе всеобщему благу. Зарубежье разным образом высказывало это основоположение и преподносило шедевры этого «машинного» искусства; метрополия приняла учение и далее работала над его применением для создания таких общественных машин здесь, так же как и везде, обширнее, глубже, точнее, намного превосходя его образцы. Подобные знатоки государства, если прежний ход общества застопорится, не могут объяснить это иначе как износом одного из его колес и знают только одно средство излечения — заменить испорченные колеса на новые. Чем более у кого-нибудь укоренилось это механическое воззрение на общество, чем больше он упрощает этот механизм, поскольку все части машины делает как можно более одинаковыми и со всеми обращается как с одинаковым материалом, тем большим знатоком государства он по праву считается в этом искусстве нашего времени; ведь с нерешительно колеблющимися и неспособными ни на какое устойчивое воззрение дело здесь обстоит еще хуже.

Это воззрение на государственное искусство возбуждает уважение железной последовательностью и видимостью величия; оно также, до известного момента, способно приносить пользу, особенно там, где все стремится к монархическому и становящемуся все более чисто монархическим устройству. Но с наступлением этого момента его бессилие бросается в глаза.

Предположим, собственно, что вам полностью удалось достичь желаемого совершенства вашей машины и что в ней каждый подчиненный член неизбежно и неотвратно принуждается более высоким, принуждаемым к принуждению членом, и так вплоть до вершины; чем же теперь принуждается к принуждению ваш последний член, от которого исходит все наличествующее в машине принуждение? Вы должны преодолеть всякое сопротивление, которое оказывается этой последней пружине трением материалов, и придать ей такую силу, против которой все остальные ничтожны, что вы можете сделать только посредством механизма, и, следовательно, должны создать наистрожайше монархический строй; как же вы теперь приведете в движение саму эту пружину и принудите ее видеть и хотеть исключительно только правое? Как же вы намерены поместить в ваш, хотя и правильно рассчитанный и составленный, но неподвижный, шестереночный механизм вечно движущееся? Должен ли, как вы в вашем затруднительном положении выражались, весь механизм оказать обратное действие и привести в движение свою первую пружину? Это получается или посредством силы, которая сама происходит от импульса пружины, или посредством такой силы, которая происходит не от него, но имеет место в самом целом, независимо от пружины; третьего не дано. Если вы примете первое, то вы находитесь в круге, уничтожающем все ваше мышление и весь ваш механизм; машина в целом может принудить пружину, только если она ею принуждена к принуждению ее, постольку, следовательно, пружина, только опосредованно принуждает сама

себя; если же она не принуждает сама себя, каковой недостаток мы и хотели устранить, то не происходит вообще никакого движения. Если вы примете второе, то вы признаете, что первоисток всякого движения в вашей машине связан с силой, совершенно не вошедшей в ваши расчеты и предписания и совершенно не уловленной вашим механизмом, — силой, которая, вне всякого сомнения, действует как она может, без вашего участия, по своим собственным, неизвестным вам законам. В любом случае вы должны признать себя дилетантами и бессильными бахвалами.

И это чувствовали, и в этом учении, которое, чтобы не заботиться о других гражданах, рассчитывает на принуждение князя, от которого исходит всякое общественное движение, намеревались воспитывать его с помощью всякого доброго обучения и наставления. Но как можно быть уверенным в том, что попадется натура, которая вообще может быть воспитана как князь; а если бы даже в этом повезло, что тот, кого никто не может принудить, будет любезен и склонен подчиниться дисциплине?

Такое воззрение на государственное искусство остается «иностранщиной», не важно, встречается оно на иностранной или на немецкой почве. Но все же при этом, к чести немецкого рода и духа, стоит отметить, что, как бы мы хорошо не рассчитывали принуждение согласно этому искусству, нас, когда дело доходит до применения, удерживает смутное сомнение в том, что это так, и мы в этом деле отстаем от зарубежья. Если нам все же придется принять предназначенное нам благодеяние чужих форм и законов, то мы по крайней мере

не хотим позориться сверх всякой меры — как будто нашему остроумию не доступны эти высоты законодательства. Ведь, если только мы возьмем в руки перо, мы не уступим здесь никакой нации; но мы слишком хорошо чувствуем, что для жизни это не верно, и предпочитаем лучше сохранять старое до тех пор, пока у нас не будет совершенного, вместо того, чтобы старую моду менять на новую, такую же ненадежную.

Иначе с подлинно немецким государственным искусством. В своем желании устойчивости, надежности и независимости от слепой и изменчивой природы оно целиком соглашается с зарубежьем. Оно лишь не собирается как то, взять как первое устойчивую и достоверную вещь, только посредством которой становится достоверным дух как второй член, но с самого начала взять устойчивый и достоверный дух как наипервейший и единственный член. Он для него — живущий из самого себя и вечно подвижный движитель, который будет упорядочивать и двигать вперед жизнь общества. Оно понимает, что может произвести этот дух не обличительными речами к уже упущенным взрослым, но воспитанием еще неиспорченного юношества; и при этом оно не собирается, как зарубежье, направить это воспитание на самую вершину, на князя, оно намерено широко распространить его, направив на нацию, поскольку к ней, без сомнения, будет принадлежать и князь. Поскольку государство по отношению к личности своих взрослых граждан есть продолжающееся воспитание человеческого рода, то, полагает это государственное искусство, и в будущем гражданине сначала должна быть воспитана восприимчивость к

этому более высокому воспитанию. Тем самым это немецкое и новейшее государственное искусство оказывается древнейшим; ведь и у греков оно основывало гражданственность на воспитании и образовывало таких граждан, каких и не видывали последующие эпохи. Формально немцы станут делать то же, но не в духе эгоистичности и превосходства, но во всеобщем и всемирно гражданском духе.

Тот же самый дух зарубежья господствует у большинства наших людей в их воззрении и на совокупную жизнь человеческого рода, и историю как образ этой жизни. Нация, у которой основание ее языка замкнуто и мертво, во всех видах словесности, как мы показали в другом месте, может дойти лишь до определенной, возможной благодаря этому основанию ступени развития и переживает золотой век. Такая нация, если только она не будет в высшей степени скромна и самоотреченна, не может мыслить человеческий род в целом более высоким образом, чем так, как она знает саму себя; поэтому она должна предполагать, что также и для него имеется последняя, высшая и не могущая быть превзойденной цель развития.

Как звериный род бобров или пчел и по сию пору строит так же, как он строил тысячелетиями, и за это продолжительное время в данном искусстве не было совершено никакого прогресса, точно так же, согласно этому мнению, дело будет обстоять и со звериным родом, названным человеком, во всех отраслях его развития. Эти отрасли, стремления и способности будут рассмотрены исчерпывающим образом, даже, вероятно, представлены взору в виде нескольких членов, и можно

будет указать высшую ступень развития каждого из них. При этом человеческий род будет в данном отношении, вероятно, еще намного хуже, чем бобриный или пчелиный, поскольку последние, хотя и не научаются ничему новому, все же и не теряют ничего в своем искусстве; человек же, достигнув однажды вершины, вновь отбрасывается назад и должен столетиями или тысячелетиями вновь стремиться к тому пункту, в котором его бы охотнее оставили с самого начала. Согласно им, эти вершины его образования и золотые века уже были, без сомнения, достигнуты человеческим родом; и их самым ревностным стремлением будет отыскать их в истории, судить в соответствии с ними обо всех устремлениях человечества и устремлять последние назад к ним. Согласно им, история уже давно завершена, и была завершена многократно; под солнцем не происходит ничего нового, ведь они истребили и над и под солнцем источник вечного продолжения жизни и позволяют лишь вечно возвращающейся смерти повторять и множить себя.

Известно, что философия истории пришла к нам из зарубежья, пусть ныне она там заглохла и стала почти исключительно немецкой собственностью. Но из этого глубинного родства следует также и то, что эта наша философия истории в состоянии полностью постичь устремления зарубежья (которое, хотя ныне и не часто высказывает это воззрение на историю, когда действует в ней, продолжает все же делать еще больше для того, чтобы вновь подготовить золотой век), даже пророчески предсказывать их дальнейший путь и так искренне восхищаться ими, как мыслящий по-немецки не способен восторгаться собой. Да и как бы он мог? Золотые эпохи

в любом плане для него — ограниченность мертвенности. «Золото может быть самым благородным в недрах мертвой земли, — думает он, — но материя живого духа — по ту сторону солнца, по ту сторону всех солнц, она — их источник». Для него история, а с ней и человеческий род, развивается не по скрытым и причудливым законам хоровода; согласно ему человек, человек в собственном и точном смысле слова, сам делает ее, не просто повторяя уже существовавшее, но вносит, творя, в ход времени совершенно новое. Поэтому он не ожидает простого повторения и по крайней мере не удивляется, если оно все же происходит, слово в слово, как в старой книге.

Подобным образом распространяется мертвящий дух зарубежья, без ясного осознания нами, на остальные наши научные воззрения, в отношении чего достаточно приведенных примеров; и так происходит именно потому, что мы именно сейчас по-своему перерабатываем ранее полученные от зарубежья импульсы и находимся в таком переходном состоянии. Я привел эти примеры, поскольку это относилось к делу; кроме того, еще и для того, чтобы никто не считал, что он сможет опровергнуть высказанные здесь утверждения с помощью выводов из приведенных основоположений. Дело обстоит вовсе не так, что эти основоположения нам неизвестны или мы не в состоянии подняться на их высоту; мы, скорее, очень хорошо их знаем и очень легко, если бы у нас было лишнее время, могли бы развить их во всем ряде их выводов как вперед, так и назад; но мы с самого начала отбрасываем их и, таким образом, все, что из них следует, в то время как многому из этого

в нашем обычном мышлении в качестве поверхностного наблюдателя легко можно было бы поверить.

В нашей обычной жизни и ее правилах этот дух зарубежья распространяется точно так же, как и в нашем научном воззрении; но, чтобы это стало ясно, а предыдущее стало еще яснее, необходимо сначала глубоко проникнуть в сущность изначальной жизни или свободы.

Свобода, взятая в смысле нерешительного колебания между несколькими равно возможными вариантами, есть не жизнь, а преддверие и вход в действительную жизнь. В конце концов необходимо все-таки выйти из этого колебания к решению и действию, и только тогда начинается жизнь.

Непосредственно и на первый взгляд любое решение воли кажется первым, никоим образом не вторым и следствием из первого как его основы, — существующим посредством себя, и существующим так, как оно есть; мы хотим установить это значение слова «свобода» как единственно возможное осмысленное значение. Но в отношении внутреннего содержания такого решения воли возможны два случая: или в нем является, собственно, только явление, отдельно от сущности и без того, чтобы сущность каким-либо образом выступала в этом явлении, или сама сущность выступает, являясь в этом явлении решения воли. И при этом сразу надо отметить, что сущность может стать явлением только в решении воли и совершенно ни в чем другом; хотя и, наоборот, могут быть решения воли, в которых выступает голое явление, никоим образом не сущность. Мы обратимся сначала к последнему случаю.

Голое явление как таковое неизменно определено посредством отделения его от сущности и противоположности ей, а также посредством того, что оно способно самостоятельно являться и представлять себя, и оно есть поэтому именно так, как оно есть и получается. Поэтому если, как мы предполагаем, какое-либо данное решение воли по своему содержанию есть голое явление, то оно на деле не свободно, не первый и изначальный член, но необходимо есть второй, проистекающий из более высокого, первого, как такового закона явлений вообще. Поскольку, как здесь было уже многократно упомянуто, мышление человека представляет ему его самого так, как он действительно есть, и всегда остается верным слепком и зеркалом его внутреннего мира, то такое решение воли, хотя оно на первый взгляд кажется свободным, ведь оно — решение воли, повторному и более глубокому мышлению все же никоим образом не кажется таким, но должно мыслиться в нем как необходимое, каково оно и есть в действительности и на самом деле. Для тех, чья воля еще не поднялась в более высокую сферу, чем та, в которой воля им просто является, вера в свободу есть непременно заблуждение и иллюзия беглого и остающегося на поверхности наблюдения; лишь в мышлении, которое повсюду показывает им только оковы строгой необходимости, есть для них истина.

Первый основной закон явления как такового (мы не указываем здесь основания этого с тем большим правом, поскольку в другом месте в более чем достаточной мере проделали это)³⁵ заключается в том, что оно распадается на множественное, которое в некотором

плане есть бесконечное, в некотором другом — замкнутое целое, в каковом замкнутом целом множественного каждое единичное определено всеми остальными и, наоборот, все остальные определены этим единичным. Поэтому если в решении воли единичного в явление не прорывается ничего сверх являемости, представляемости и видимости вообще, которая на самом деле есть видимость ничто, то содержание такого решения воли определено замкнутым целым всех возможных решений воли этой и всякой другой возможной единичной воли и оно не содержит и не может содержать ничего, кроме того, что остается желать после вычета всех тех возможных решений воли. Поэтому в нем на деле нет ничего самостоятельного, изначального и собственного, оно есть голое следствие, как второе, из всеобщей взаимосвязи совокупного явления в его отдельных частях, чем оно всегда и признавалось всеми, находившимися на этой ступени образования и при этом мыслившими основательно, и это их знание выражалось в тех же самых словах, какими мы только что воспользовались; и все это потому, что в них в явление вступает не сущность, а лишь голое явление.

Тогда же, когда в явлении решения воли выступает, напротив, сама сущность, непосредственно и, так сказать, лично, а не в виде своего заместителя, хотя здесь также присутствует все вышеупомянутое, следующее из явления как замкнутого целого, ведь и здесь явление также является; такое явление не растворяется, однако, в этой составляющей и не исчерпывается ею, но в нем имеется еще многое, другая составляющая, не объяснимая из этой взаимосвязи, а остающаяся по вычету объ-

яснимой. Та первая составляющая имеет место также и здесь, сказал я; т. е. то «больше» становится зримым и посредством этой зримости, никоим образом не посредством своей внутренней сущности, подпадает под действие закона и условий узримости вообще; но оно есть еще нечто большее, чем проистекающее из какого-либо закона и потому необходимое и второе, и со стороны этого «больше» посредством себя самого есть то, что оно есть, — истинно первое, изначальное и свободное, и, так как оно есть это, оно является таковым также и глубочайшему и в себе самом пришедшему к концу мышлению. Как было сказано, высший закон узримости заключается в том, что являющееся раскалывается на бесконечно множественное. Это «больше» становится зримым, каждый раз как большее чем теперь и именно сейчас произошедшее из взаимосвязи явления, и так до бесконечности; и так само это «больше» является как бесконечное. Но совершенно ясно, что оно получает эту бесконечность только посредством того, что оно каждый раз зримо, мыслимо и его можно открыть лишь посредством его противоположности бесконечно следующему из взаимосвязи и его бытия-большим чем последнее. Но не считая потребности его мышления, оно есть это «больше», до бесконечности могущее представлять себя в качестве всего бесконечного, с самого начала в чистой простоте и неизменности, и за всю бесконечность оно не станет ни более, ни менее чем «больше»; и только его узримость как «большого» чем бесконечное — и в своей высшей чистоте оно не может стать зримым иным способом — создает бесконечное и все, что кажется в нем являющимся. Где действительно выступает это

«больше» как такое видимое «больше» — а оно может выступить только в волеии, — там сама сущность, которая одна только есть, и одна только и может быть, и которая существует из себя и посредством себя, божественная сущность, вступает в явление и непосредственно сама себя делает зримой; и именно поэтому здесь есть истинная изначальность и свобода, и в нее также верят как в таковую.

И таким образом, на поставленный в общем виде вопрос — свободен человек или нет — общего ответа нет. Ведь человек может быть свободным или несвободным в высшем смысле слова именно потому, что он свободен в низшем смысле, потому что он начинает с нерешительного колебания. В действительности способ, каким кто-либо отвечает на этот вопрос, есть ясное отражение его истинного внутреннего бытия. Тот, кто на самом деле есть не более чем звено в цепи явлений, может, пожалуй, минуту заблуждаться в отношении свободы, но это заблуждение не способно противостоять его строгому мышлению; но каким он находит самого себя, именно таким же он необходимым образом мыслит и весь человеческий род. Тот же, чья жизнь охвачена истиной и возникла непосредственно из Бога, тот свободен и верит в свободу в себе и других.

Тот, кто верит в устойчивое, постоянное и мертвое бытие, тот верит в него только лишь потому, что он в себе самом мертв, и, раз он в себе мертв, он не может верить иначе, как только он становится ясен в себе самом. Для него он сам и весь его род с самого начала и до конца — нечто вторичное и необходимое следствие из некоего должного быть предположенным первого

члена. Это предположение есть его действительное, никоим образом не только лишь мыслимое мышление, его истинный образ мыслей, точка, в которой его мышление непосредственно есть сама жизнь; и, таким образом, оно есть источник всего его остального мышления и суждений о человеческом роде — его прошлом, истории, его будущем, его ожиданиях и его настоящем — в действительной жизни его самого и других. Мы назвали эту веру в смерть, в противоположность изначально живому народу, «иностраниной». Эта «иностранина», когда она появляется среди немцев, показывается также и в действительной их жизни — как спокойная покорность неизменной необходимости их бытия, как отказ от всякого улучшения нас самих или других с помощью свободы, как склонность использовать себя самих и других так, как они есть, получая из их бытия как можно большие выгоды для нас самих; короче, как постоянно отражающееся во всех жизненных движениях исповедание веры во всеобщую и равную греховность всех, которую я в другом месте* описал в достаточной мере. Я предоставляю Вам самим прочесть это описание и судить о том, насколько оно соответствует современности. Этот способ мыслить и действовать возникает у внутренней мертвенности, как часто упоминалось, только вследствие того, что она приходит к ясности в отношении себя самой, но, пока ясность не наступила, она придерживается веры в свободу, которая сама по себе истинна и есть заблуждение только в применении к ее нынешнему бытию. Здесь

* См.: «Наставления к блаженной жизни», 11-я лекция.

становится очевидным минус ясности при внутренней низости. Пока эта низость остается не проясненной, ее беспокоят, жалят и гонят претензии на свободу и она доступна попыткам сделать ее лучше. Но ясность завершает ее и замыкает в себе самой; она придает ей радостную успокоенность, спокойствие чистой совести, довольство самой собой; и с ними происходит именно то, во что они верят, отныне они и на самом деле не-исправимы и способны, самое большее, лишь на то, чтобы сохранять у лучших немилосердное отвращение к дурному или покорность воле Божьей, и кроме этого — ни на какое дело на свете.

И таким образом, наступает наконец-то полная ясность в том, что же мы в нашем предшествующем описании понимали под немцами. Собственное основание различия заключается в следующем: верят ли в абсолютно первое и изначальное в самом человеке, в свободу, в бесконечное совершенствование, в вечный прогресс нашего рода, или во все это не верят и даже считают, пожалуй, что ясно усматривают и понимают, что место имеет как раз противоположность всего этого. Всякий, кто сам живет творчески и производит новое или по меньшей мере, если это не выпало на его долю, решительно отметаает ничтожное и внимая ищет, не охватит ли его где-нибудь поток изначальной жизни, и кто, если он не продвинулся так далеко, по меньшей мере предчувствует свободу и не ненавидит или боится, но любит ее; все они — изначальные люди, они, если их рассматривать как один народ, суть пра-народ, народ как таковой, немцы. Все те, кто покорно считает себя вторичным и производным и отчетливо

знает и постигает себя таковым, таковы на самом деле и становятся таковыми все больше и больше посредством этой своей веры, они суть приложение к жизни, которая проистекала из собственного побуждения до них или рядом с ними, и отражаемое скалами эхо умолкнувшего голоса; они, если их рассматривать как народ, вне пранарода, чужие ему и иностранцы. У нации, которая вплоть до нынешнего дня называет себя просто народом или немцами, в новое время, по меньшей мере до сих пор, прорывалось в жизнь изначальное и демонстрировала себя творческая сила нового; теперь, наконец, ставшая в себе самой ясной философия поднесла этой нации зеркало, в котором она с помощью ясного понятия познает то, чем она до сих пор была без отчетливого сознания посредством природы и к чему она ею определена. И ей предлагается с помощью этого ясного понятия и сознательного и свободного искусства, целиком и полностью, сделать себя тем, чем она должна быть, обновить союз и замкнуть круг. Ей представлено основоположение, на основании которого она должна его замкнуть; все, что верит в духовность и свободу этой духовности и хочет вечного развития этой духовности посредством свободы, — все это, где бы оно ни было рождено и на каком бы языке оно ни говорило, нашего рода, принадлежит к нам и превратит себя в нас. Все, что верит в застой, возврат и танцы по кругу или даже ставит у руля мироправления мертвую природу, — все это, где бы оно ни было рождено и на каком бы языке оно ни говорило, не немецкое и чуждо нам, и чем раньше оно отделится от нас, тем лучше.

И вот, наконец, здесь отчетливо высказывается, с опорой на сказанное выше о свободе, и имеющий уши да услышит, чего собственно хочет та самая философия, которая с полным правом называет себя немецкой, и в чем она совершенно всерьез и неумолимо строго противопоставляет себя любой иностранной и верующей в смерть философии; но высказывается, правда, вовсе не затем, чтобы и мертвое его постигло, что невозможно, а затем, чтобы ему стало сложнее извращать ее слова и делать вид, будто оно также хочет именно того же самого и в принципе мыслит так же. Эта немецкая философия поднимается действительно и посредством деяния своего мышления, а не просто бахвалясь вследствие смутного чувства, что это должно быть так, не будучи все же в силах это осуществить, — она поднимается к неизменному «более чем вся бесконечность» и только в этом одном находит истинное бытие. Время, вечность и бесконечность она видит в их возникновении из явления и становления-зримым того Одного, которое само по себе просто незримо и, только будучи постигнуто в этой своей незримости, постигнуто правильно. Согласно этой философии уже бесконечность есть в себе ничто и вовсе не обладает истинным бытием — она есть только средство, в котором то единственное, что существует и есть только в своей незримости, становится зримым и из чего ему в сфере образности создается образ, схема и тень его самого. Все, что еще далее может стать зримым внутри этой бесконечности мира образов, есть, таким образом, совершенно ничто ничего, тень тени и исключительно лишь средство, в котором то первое ни-

что бесконечности и времени само становится зримым и взлет к безобразному и незримому бытию открывает себя мысли.

Внутри этого единственно возможного образа бесконечного незримое выступает теперь непосредственно только как свободная и изначальная жизнь виденья или как решение воли разумного существа; и совершенно не может выступать и являться иначе. Всякое устойчивое существование, являющееся не как духовная жизнь, есть лишь отброшенная виденьем, многократно опосредованная ничто пустая тень, именно в противоположности с которой и в познании ее как многократно опосредованного ничто виденье и должно поднять самого себя к познанию своего собственного ничто и к признанию незримого как единственно истинного.

Этой тенью от тени тени остается покрыта та верующая в смерть философия бытия, которая становится даже натурфилософией, самая мертвая из всех философий, она страшится своего собственного создания и молится ему.³⁶

Эта устойчивость есть выражение ее истинной жизни и ее любви, и в этом той философии стоит верить. Но если она еще далее говорит, что это бытие, предполагаемое ею действительно сущим, и абсолютное есть Одно и то же самое, то в этом ей не стоит верить, сколько бы она не заверяла в этом и сколько бы клятва она не приносила; она не знает этого, но говорит это просто наобум, талдыча за другой философией, которой она не осмеливается в этом возражать. Если бы она знала это, она не должна была бы исходить как из несомненного факта из двойственности, которую

она снимает только с помощью приказания и все же оставляет в неприкосновенности, но она должна была бы исходить из единства и быть в состоянии понятно и доказательно вывести из него двойственность, а с ней — всю множественность. Но для этого ей нужно мышление, осуществленная и посредством себя самой пришедшая к концу рефлексия. Она отчасти не обучена искусству этого мышления и совсем неспособна к нему, а способна только грезить, отчасти она враждебна этому мышлению и не хочет даже и пытаться, так как это нарушило бы ее любимую иллюзию.

Вот в чем наша философия всерьез противопоставляет себя той философии, и, пользуясь этим поводом, мы намерены наконец высказать и засвидетельствовать это настолько внятно, насколько это только возможно.

ВОСЬМАЯ РЕЧЬ

ЧТО ТАКОЕ НАРОД В ВЫСШЕМ ЗНАЧЕНИИ СЛОВА И ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ

Четыре последние речи отвечали на вопрос: что такое немцы в противоположность другим народам германского происхождения? Доказательство, которое мы должны провести через все ради целого нашего исследования, будет закончено, если мы еще добавим

исследование вопроса: что есть народ? Отвечая на этот последний вопрос, мы ответим и на другой, равнозначный ему, который часто поднимают и на который отвечают очень различно: что такое любовь к Отечеству или, как было бы правильнее выразиться, что такое любовь единичного к своей нации?

Если мы до сих пор в ходе нашего исследования действовали правильно, то при этом должно сразу стать ясно, что только немец — изначальный и не омертвевший в произвольном укладе человек — поистине имеет народ и может по праву рассчитывать на него и что только он способен на подлинную и соразмерную разуму любовь к своей нации.

Путь к ответу на поставленный вопрос мы положим себе посредством следующего замечания, кажущегося на первый взгляд посторонним всему предшествующему.

Религия, как мы уже отметили в нашей третьей речи, способна поднять совершенно над всем временем и над всякой современной и чувственной жизнью, не принося при этом ни малейшего ущерба законности, нравственности и святости жизни, охваченной этой верой. Даже и при полной убежденности в том, что все наши действия на этой земле не оставляют после себя ни малейшего следа и не принесут никакого плода и что божественное может быть извращено и употреблено во зло и для еще более глубокой нравственной порчи, можно продолжать действовать, просто хотя бы для того, чтобы сохранить прорывающуюся в нас божественную жизнь, будучи связанным с более высоким порядком вещей в грядущем мире, в котором ничто произошедшее

в Боге не исчезает. Так, например, апостолы и вообще первые христиане посредством своей веры в небесное царство уже при жизни совершенно поднялись над землей и настолько отказались от ее дел, государства, земного Отечества и нации, что больше даже и не обращали внимания на них. Это также возможно и ныне, также легко для веры, и нужно будет с радостью покориться, если непременной волей Бога будет, чтобы мы больше не имели земного Отечества и в нем были бы изгоями и слугами; и все же это не естественное состояние и не правило движения мира, но редкое исключение. Это очень превратное применение религии, которое среди прочего очень часто имело место в христианстве, когда она сразу, не принимая во внимание существующие обстоятельства, направляется к тому, чтобы призывать к отрешенности от дел государства и нации как к истинно религиозному образу мысли. При таком положении, если он действительно и истинно таков, а не вызван лишь религиозным мечтательством, земная жизнь теряет всякую самоценность и превращается исключительно только в преддверие истинной жизни и трудное испытание, которое переносят только лишь из послушания и покорности Божьей воле. И тогда верным будет то, как это многие и представляли, что бессмертные духи только для их наказания погружены в земные тела, как в темницы. При правоммерном же порядке вещей, напротив, сама земная жизнь должна быть истинно жизнью, которой можно радоваться и которой, конечно в ожидании высшей, можно благодарно наслаждаться; и хотя верно, что религия есть также и утешение противоправно поправного раба, но

все же смысл религии состоит в первую очередь в том, чтобы сопротивляться рабству, не допускать его и не опускаться до голого утешения несвободных. Тирану, пожалуй, подобает проповедовать религиозную покорность и указывать на небеса тем, кому на Земле он не намерен дать местечка; нам же не должно торопиться усваивать рекомендуемое им воззрение на религию, мы должны, если только в силах, препятствовать тому, чтобы Землю превращали в ад, с целью возбудить большее стремление на небеса.

Естественное стремление человека, от которого он должен отказываться только в действительно бедственном положении, состоит в том, чтобы найти небеса уже на этой Земле, перелить вечно пребывающее в свое земное дело; взращивать и воспитывать непреходящее в самом временном — не просто непостижимым образом, будучи связанным с вечным не только лишь непроницаемой для взгляда смертного пропастью, но зримым самим взглядом смертного образом.

Воспользуюсь общепонятным примером: кто из мыслящих благородно не стремится к тому и не желает того, чтобы его собственная жизнь возобновилась лучшим образом в его детях и далее в детях его детей, чтобы уже и на этой Земле продолжать жить в их жизни облагороженным и усовершенствованным, даже и спустя долгое время после своей смерти; как лучшее завещание своим потомкам вложить в их души дух, смысл, нрав, которые в его жизни отвращали его от порока и пагубы, укрепляли честность, взбадривали леность, поднимали униженность, вырвать их из лап смертности, чтобы также и они однажды смогли пере-

дать потомкам их улучшенными и приумноженными? Кто из мыслящих благородно не стремится деянием или мышлением сеять посев бесконечно продолжающегося совершенствования человеческого рода, вложить во время нечто новое и прежде никогда не существовавшее, которое пребудет в нем и станет неиссякающим источником нового творчества; заплатить за свое место на Земле и за дарованное ему краткое время даже и здесь вечно непреходящим, так что он, как этот единственный, если его имя и не останется в истории (ведь жажда посмертной славы — это презренное честолюбие), все же оставит в своем собственном сознании и в своей вере явные памятники того, что и он тоже существовал? Кто из мыслящих благородно не стремится к этому, говорю я; но только в соответствии с потребностями так мыслящих, как правилом, которому должны соответствовать все, мир и должен рассматриваться и обустриваться, мир существует исключительно только ради них. Они суть его зерно, а мыслящие иначе как лишь часть преходящего мира, до тех пор пока они мыслят так, существуют также только ради них и должны подстраиваться под них до тех пор, пока не станут, как те.

На чем же основываются потребность и вера благородного в вечность и постоянство своего творения? Явным образом — только на порядке вещей, который он может признать самым по себе вечным и способным принять в себя вечное. Но такой порядок есть хотя и не постижимая никаким понятием, но все же истинно существующая, особенная духовная природа человеческого окружения, из которого он сам произо-

шел со всем своим мышлением и действием и своей верой в их вечность, народ, к которому он принадлежит и среди которого он сформировался и стал тем, что он есть теперь. Ведь насколько несомненно верно то, что его труд, если только он по праву претендует на его вечность, никоим образом не есть лишь голое произведение духовного закона природы его нации и не растворяется полностью в этом произведении, но есть еще и нечто большее, чем это, постольку он непосредственно проистекает из изначальной и божественной жизни; но все же так же верно и то, что это большее при первом же своем формировании в зримое явление сразу же подпадает тому особенному духовному закону природы и только в связи с ним и образует себе чувственное выражение. Пока сохраняется этот народ, всякое дальнейшее откровение божественного у него будет подпадать этому же закону природы и формироваться им. Но тем, что он существовал и действовал, сам этот закон определяется дальше, и его действие становится его устойчивой составной частью. И всему последующему придется после этого исходить из него и прилаживаться к нему. И так он уверен, что свершенное им останется в его народе, пока существует сам народ, и будет неисчезающим определяющим основанием всего дальнейшего его развития.

Вот что такое народ в высшем значении слова, с точки зрения духовного мира вообще: совокупность людей, живущих вместе в обществе и непрерывно воспроизводящих себя из себя природно и духовно, находящаяся в целом под действием определенного особенного закона развития божественного из нее. В вечном

мире, и именно поэтому же и во временном, эту массу связывает в естественное и пронизанное самим собой целое общность этого закона. Сам этот закон, в своем содержании, может быть, пожалуй, схвачен в целом, как мы схватили его в отношении немцев как пранарода; он, посредством обдумывания проявлений этого народа, может быть даже ближе понят в его дальнейших определениях; но он никогда не может быть целиком постигнут с помощью понятия тем, кто сам продолжает находиться под неосознаваемым им его влиянием, хотя в общем можно ясно усматривать, что такой закон есть. Этот закон есть «больше» образности, и в явлении он непосредственно сплавлен с «больше» безобразной изначальности; и в явлении, таким образом, они неразделимы. Этот закон полностью определяет и завершает то, что назвали национальным характером народа; закон развития изначального и божественного. Из последнего ясно, что люди, которые, как мы раньше говорили в описании «иностранщины», совершенно не верят в изначальное и его дальнейшее развитие, а только в вечный круговорот видимости жизни и которые посредством своей веры становятся тем, во что они верят, в высшем смысле вовсе не суть народ, и так как они на деле собственно и не существуют, то и не способны иметь национальный характер.

Вера благородного человека в вечное продолжение своего действия также и на этой Земле основывается поэтому на надежде на вечное продолжение народа, из которого он сам развился, и его особенности, связанной с тем сокровенным законом, без вмешательства и порчи посредством чего-либо чуждого и не относящего-

ся к целому этого законодательства. Эта особенность есть вечное, которому он вверяет вечность себя самого и своего действия, вечный порядок вещей, в который он влагает свое вечное; он должен желать его вечности, ведь он один есть освободительное средство, посредством которого краткий промежуток его жизни здесь расширяется до жизни, здесь не прекращающейся. Его вера и стремление взрастить непреходящее, его понятие, в котором он схватывает свою собственную жизнь как вечную жизнь, есть связь, связывающая глубочайшим образом его самого сначала с его нацией, а посредством нее — со всем человеческим родом и вводящая в его выросшее сердце все потребности людей вплоть до скончания дней. Это — его любовь к своему народу, в первую очередь уважительная, доверительная, радующая ему, гордящаяся происхождением из него. В нем явилось божественное, и изначальное почтило его, сделав его своим покровом и своим непосредственным средством истекания в мир; поэтому и далее из него будет пробиваться божественное. И более того — деятельно, действительно и жертвуя ему. Жизнь просто как жизнь, как продолжение изменяющегося существования и без того никогда не имела для него ценности, он хотел ее только как источника продолжения; но это продолжение ему обещает только самостоятельное сохранение его нации; для ее спасения он должен даже хотеть умереть, чтобы она жила, и он бы жил в ней единственно желанной ему жизнью.

Вот как это обстоит. Любовь, которая истинно любовь, а не лишь преходящая страсть, никогда не застревает в прошлом, но пробуждает и возжигает себя

и покоится только в вечном. Человек совершенно не способен любить самого себя, пусть он даже считает себя вечным; человек не способен даже уважать самого себя, даже одобрять. Еще менее он способен любить что-либо вне себя, если он только не примет это в вечность своей веры и своей души и не свяжет этого с ней. Кто в первую очередь не увидит себя вечным, у того нет вообще никакой любви и тот не может любить Отечество, да для него и не существует ничего такого. Тот же, кто хотя и видит свою незримую жизнь вечной, но свою зримую не видит таковой, тот, пожалуй, может обладать небесами, а на них — своим Отечеством; но здесь у него нет Отечества, потому что и его также усматривают только в образе вечности, и именно зримой и чувственной вечности, и поэтому он не может любить свое Отечество. Если кто-либо не унаследовал такового, то его стоит пожалеть; кто унаследовал, в чьей душе небо и Земля, незримое и зримое пронизывают друг друга и только так и создают истинное и настоящее небо, тот борется до последней капли крови за то, чтобы целиком передать драгоценное имущество грядущим временам.

И так это было с древних времен, несмотря на то, что с древних времен это не высказывалось с такой всеобщностью и ясностью. Что вдохновляло благородных людей среди римлян, умонастроение и способ мышления которых еще и по сию пору живут и дышат среди нас в их памятниках, на труды и жертвы, лишения и страдания ради Отечества? Они сами часто и ясно называют это. Они твердо верили в вечное существование своего Рима и сами надеялись продолжать жить

вечно в потоке времен вместе с этой вечностью. В той мере, в какой эта вера была обоснованной, что и они сами поняли бы, если бы стали совершенно ясны себе самим, в той мере она их и не обманула. Вплоть до нынешнего дня продолжает жить то, что было действительно вечным в их вечном Риме, а с ним — и они посреди нас, и в своих следствиях будет жить вплоть до окончания времен.

Народ и Отечество как носитель и залог земной вечности и как то самое, что здесь может быть вечным, находится намного выше государства, в обычном смысле слова — выше общественного порядка, каким его схватывает голое ясное понятие и по своему лекалу возводит и сохраняет. Понятие хочет некоторого права, внутреннего мира, того, чтобы каждый усердием находил себе пропитание и продолжение своего чувственного существования, до тех пор пока Бог ему дарует его. Все это только средство, условие и подмостки того, чего собственно хочет любовь к Отечеству — расцвета вечного и божественного в мире, все более чистого, совершенного и точного в бесконечном движении вперед. Именно поэтому любовь к Отечеству должна управлять государством, как самый высший, последний и независимый орган власти, в первую очередь потому, что она ограничит его в выборе средств для достижения его ближайшей цели, внутреннего мира. Для этой цели естественная свобода единичного должна, правда, быть различным образом ограничиваема, и если бы вовсе не имели других соображений и намерений кроме этого, то ее бы, пожалуй, ограничивали настолько плотно, насколько вообще только возможно, определяли бы все

ее движения единообразными правилами и держали бы ее под постоянным надзором. Предположим, что эта строгость не необходима, но если принимать во внимание исключительно только эту цель, то ей она не может навредить. Но более высокое воззрение на человеческий род и народы расширяет этот ограниченный расчет. Свобода, также и в волнениях внешней жизни, есть почва, в которой прорастает более высокое образование; законодательство, имеющее в виду последнее, предоставит первой как можно более широкую сферу, даже рискуя тем, что будет достигнута меньшая степень тишины и покоя, и тем, что управление станет немного сложнее и утомительнее.

Поясню это с помощью примера: пришлось стать свидетелями того, как одним нациям прямо в лицо сказали, что им не нужно столько свободы, сколько некоторой другой нации. Эта речь может быть даже мягкой и щадящей, поскольку хотели собственно сказать, что она вовсе и не в состоянии вынести так много свободы, и только большая строгость может воспрепятствовать тому, чтобы они уничтожили друг друга. Но если слова воспринимать так, как они были сказаны, то они верны при предположении, что такая нация совершенно не способна к изначальной жизни и к стремлению к ней. Такая нация, если только возможна нация, в которой даже малое число благородных не составляет редкого исключения из общего правила, и в самом деле не нуждается вовсе ни в какой свободе, ведь она существует для более высокой, лежащей выше государства цели; она нуждается только в укрощении и дрессировке, чтобы индивиды мирно сосуществовали и чтобы из целого

можно было делать годное средство для произвольно полагаемых, внешних ему целей. Мы можем оставить нерешенным, можно ли с полным правом сказать это какой-либо нации; во всяком случае ясно, что изначальному народу нужна свобода, что она — залог сохранности его как изначального и что в продолжение своего существования он в состоянии выносить все большую и большую ее степень. И это первое в отношении того, что любовь к Отечеству сама должна управлять государством.

Она должна управлять государством еще и в том отношении, что именно она ставит ему более высокую цель, чем сохранение внутреннего мира, имущества, личной свободы, жизни и благополучия всех. Только ради этой высокой цели, а не из других соображений государство должно иметь вооруженные силы. Когда речь заходит об их применении, когда речь идет о том, чтобы в полном сознании поставить на карту все цели государства: собственность, личную свободу, жизнь и благополучие, даже существование самого государства; и о том, чтобы решиться на это изначальноным образом, перед лицом одного лишь Бога, не имея ясного рассудочного понятия о надежной достижимости намерений, чего в вопросах такого рода быть и не должно; только тогда у кормила государства живет истинно изначальная и первая жизнь и только здесь выступают наивысшие права правительства — подобно Богу рискнуть низшей жизнью ради высшей. В сохранении устоявшейся конституции, законов, благосостояния граждан совершенно нет истинной настоящей жизни и изначального решения. Обстоятельства и положе-

ние — уже, вероятно, давно мертвые законодатели — создали их; последующие эпохи доверчиво продолжают идти проторенной дорогой и, таким образом, не живут на самом деле собственной общественной жизнью, а лишь повторяют прежнюю. В такие времена не требуется никакого подлинного правления. Но когда это размеренное течение оказывается под угрозой и нужно принимать решения в отношении новых, никогда не бывших ситуаций, тогда нуждаются в жизни, живущей из себя самой. Какой дух в таких ситуациях должен быть поставлен у кормила, чтобы он мог самостоятельно, твердо и уверенно, без нерешительных метаний, принимать решения, чтобы он имел несомненное право повелительно призвать каждого, кого только это касается, хочет он того или нет, и принудить сопротивляющихся к тому, чтобы они подверглись опасности все, вплоть до своей жизни? Не дух спокойной гражданской любви к конституции и законам, но пожирающее пламя высшей любви к Отечеству, которое охватывает нацию как покров вечного, ради которой благородный радостно жертвует собой, а неблагородный, существующий только ради первого, обязан жертвовать собой. Не эта гражданская любовь к конституции, ведь она совершенно не способна на подобное, если она остается при рассудке. Ей всегда отыскивается властитель, как это и должно быть, ведь не случайно же что-либо управляемо. Пусть новый властитель желает даже рабства (а где рабство, если не в неуважении и подавлении свойств изначального народа, которого для этого образа мыслей и не существует?) — пусть он желает даже рабства, — поскольку можно извлекать для себя пользу из жизни

рабов, их множества, даже их благополучия, при нем, если он только хотя бы в некоторой мере расчетлив, рабство будет переносимым. Они всегда найдут себе по меньшей мере жизнь и пропитание. За что же им в таком случае бороться? Согласно обеим позициям самое важное — это мир. А продолжение борьбы его только нарушает. Они станут поэтому применять все средства, чтобы она наконец-то прекратилась, они будут приспособливаться, уступать, и почему они должны поступать иначе? Они же всегда стремились только к одному и ждали от жизни только одного — продолжения привычного существования в сносных условиях. Обетование жизни даже и в этом мире после жизни в этом мире — одно только оно может вдохновить на жертвы вплоть до смерти за Отечество.

Так и было до сих пор. Где действительно правила, где существовала серьезная борьба, где победа приходила после преодоления мощного сопротивления, там существовало обетование вечной жизни, которое и правило, и боролось, и побеждало. Упоминавшиеся ранее в этих речах немецкие протестанты боролись, веруя в это обетование. Разве они не знали о том, что народы могут быть управляемы и удерживаемы в правовом порядке и при старой вере, что и при этой вере себе вполне можно найти неплохие условия жизни? Почему же тогда их князья решились на вооруженное сопротивление и почему их с воодушевлением поддержали их народы? Они готовы были проливать свою кровь за небеса и вечное блаженство. — Но какое земное насилие могло бы проникнуть во внутреннее святилище их души и искоренить из нее веру, которая однажды рас-

крылась им и на которой одной они и основывали свои надежды на блаженство? Следовательно, они боролись даже и не за свое собственное блаженство, в нем они были уже уверены, они боролись за блаженство своих детей, своих еще не рожденных внуков и всех еще не рожденных потомков. Все они должны были быть возвращены в том учении, которое первым казалось единственно спасительным, также и они должны были получить спасение, которое настало для первых, только этой надежде угрожал враг; они с радостью проливали свою кровь за него, за этот порядок вещей, который и после их смерти должен был цвести над их могилами. Они, признаем это, не были совершенно ясны себе самим, пытаясь обозначать то наиболее благороднейшее, что в них было, они ошибались в выборе слов и своими устами лгали о своей душе, сознаемся охотно в том, что их исповедание веры не было единым и исключительным средством обрести небеса по ту сторону гроба; и все же вечно истинно то, что во всей жизни последующих времен благодаря их жертвам стало больше неба по эту сторону гроба и на Землю стали взирать с большей отвагой и радостью, дух стал более свободен в своих движениях, а потомки их противников, так же как и мы, их потомки, вплоть до сегодняшнего дня наслаждаются плодами их усилий.

В этой вере наши самые древние общие предки, исходный народ новой формации, немцы, прозванные римлянами германцами, смело воспротивились навязчивому стремлению римлян к мировому господству. Разве их глазам не открывался флер римских провинций рядом с ними, более тонкие наслаждения в них

и, кроме того, в избытке — законы, суды, фасции и секиры? Разве римляне не в достаточной мере были готовы к тому, чтобы допустить их до всех этих даров? Разве на примере многих своих князей, которые лишь показали, что война против этих благодетелей человечества есть бунт, они не получили доказательства прославленной римской «милости», когда покорных награждали королевскими титулами, ставили военачальниками в римских войсках, украшали венками, а если их земляки изгоняли их, предоставляли им убежище и пропитание в своих колониях? Разве они не понимали превосходства римского образования, например лучшее устройство их войска, в котором даже Арминий³⁷ не постыдился изучать военную науку? Все это невежество и невнимание не продвигало их вперед. Их потомки усвоили себе это образование, как только для этого появилась возможность без ущерба для их свободы и для их своеобразия. Зачем же они в течение нескольких поколений вели кровавую, все время с новой силой разгоравшуюся войну? Один римский писатель вложил в уста их предводителей следующие слова: «Вам не остается ничего иного, как либо отстоять свободу, либо умереть до того, как вы станете рабами».³⁸ Для того чтобы оставаться немцами, им нужна была свобода, им необходимо было продолжать самим и изначально вершить свои дела согласно своему собственному духу, а также согласно ему двигаться вперед в своем развитии и передать эту самостоятельность своим потомкам. Для них все те плоды, которые им предлагали римляне, были рабством, потому что тогда они должны были бы стать чем-то иным, чем немцы, наполовину римлянами.

Само собой ясно, что они предполагали, что каждый скорее умрет, чем станет этим, и что истинный немец может хотеть жить только для того, чтобы быть и оставаться немцем, и своих земляков делать такими же.

Они погибли не все, они не видели рабства, они передали свободу своим детям. Благодаря их упорному сопротивлению весь мир таков, каков он есть. Если бы римлянам удалось надеть ярмо также и на них и, как это римляне делали повсюду, искоренить их как нацию, то все дальнейшее развитие человечества пошло бы в другом, по всей вероятности менее благоприятном направлении. Мы, ближайшие наследники их земли, их языка и их умонастроения, благодарны им за то, что мы — немцы, что нас еще несет поток изначальной и самостоятельной жизни, им благодарны мы за все то, чем с тех пор мы были как нация, и, если с нами теперь не покончено и в наших жилах не иссякла последняя происходящая от них капля крови, им мы будем благодарны за все то, чем мы еще станем. Благодаря им существуют даже остальные, ставшие теперь для нас зарубежьем племена, а в них — наши братья; когда они победили вечный Рим, не было еще ни одного из этих народов, возможность возникновения которых и была добыта в этой борьбе.

Они и все другие в мировой истории, кто имел подобный образ мыслей, победили, потому что их воодушевляло вечное, и это воодушевление всегда и необходимо побеждает того, кто не воодушевлен. Ни мощь рук, ни военное искусство, но сила духа, вот что приносит победу. Тот, кто своей готовности жертвовать ставит ограниченные цели и не может от-

важиться зайти дальше определенной черты, прекращает сопротивление, как только опасность доходит до этой непреодолимой и непременной черты. Тот же, кто не ставит себе цели, но ставит на карту все, в том числе и высшее, что здесь можно потерять, — жизнь, тот никогда не сдастся и без сомнения победит, так как его противник имеет ограниченную цель. Народ, который способен, пусть даже только в лице своих высших представителей и предводителей, держать точки зрения духовного мира, самостоятельности, и быть охваченным любовью к ней, как и наши древнейшие предки, непременно победит такой, который используют только как орудие чужой жажды власти и для порабощения самостоятельных народов, как это было с римским войском; ведь первые могут потерять все, последние же могут только кое-что приобрести. Даже каприз победит образ мыслей, согласно которому война — это азартная игра за земные блага, при котором еще до того, как игра начнется, заранее решают, какую сумму готовы поставить на карту. Вспомните, например, о Магомете, не действительном историческом лице, в отношении которого я признаюсь, что не могу о нем судить, а о Магомете известного французского поэта,³⁹ который сначала вбил себе в голову, что он принадлежит к возвышенным натурам, призванным к тому, чтобы руководить темным и подлым народом, и которому, вследствие этого первого предположения, все его соображения, какими бы скудными и ограниченными они ни были на самом деле, необходимо, так как они — его, должны были казаться великими, возвышенными и упоительными идеями, а все, что им

противится, — темным и подлым народом, врагами своего собственного блага и злопыхателями, достойными презрения. И он теперь, чтобы перед самим собой выставить это свое самомнение в виде божественного призвания, всю свою жизнь целиком растворив в этой мысли, вынужден все поставить на карту и не успокоится до тех пор, пока не растопчет все, что о нем не такого высокого мнения, как он сам, и пока все его современники не преисполнятся его собственной верой в его божественное предназначение. Я не буду говорить о том, что случилось бы, если бы с ним действительно вступило в борьбу духовное воззрение, истинное и ясное в себе самом, но уже существующих противников, ограниченных азартных игроков, он победит наверняка, ведь в этой борьбе для него на карту поставлено все, а для них — нет; их не понуждает дух, его же во всяком случае гонит мечтательный дух — дух его мощного и сильного самомнения.

Из всего вышесказанного выходит, что государство как лишь управление человеческой жизнью, пребывающей в обычном мирном прогрессе, есть не первое и сущее из себя самого, а только лишь средство вечно равномерно идущего развития чисто человеческого в этой нации; что также и в спокойные времена высший контроль над государственным управлением должны иметь виденье и любовь этого вечного развития, которая может стать единственным спасением находящейся под угрозой самостоятельности народа. У немцев, среди которых, как среди изначального народа, эта любовь к Отечеству возможна и, как мы твердо уверены, до сих пор действительно существовала, до сих пор мог-

ла с высокой степенью уверенности рассчитывать на свою защищенность в важных отношениях. У них, как еще и у греков в древности, государство и нация были разделены, и каждое представляло себя, первое — в особенных немецких королевствах и княжествах, последнее зримым образом — в имперском союзе, незримым — в множестве обычаев и уложений, в своих последствиях, бросающихся в глаза повсюду, действительных не в силу писанного, а в силу живущего во всех душах права. Там, куда добрался немецкий язык, каждый, кто увидел свет в его области, мог рассматривать себя гражданином вдвойне, отчасти — своего родного города, попечению которого он сначала был вверен, отчасти — всего общего Отечества немецкой нации. Каждый мог искать себе по всему простору этого Отечества то образование, которое больше всего было родственно его духу, или наиболее подходящую ему область деятельности, и талант не врал в уже имеющееся свое место, как дерево, но имел право его искать. Тот, кто из-за того направления, которое приняло его образование, разошелся со своим ближайшим окружением, легко находил в другом месте радушный прием, находил вместо потерянных друзей новых, находил время и покой, чтобы лучше объясниться, может быть, даже убедить разгневанных и примириться с ними, а таким образом — и с целым. Ни один из урожденных немецких князей никогда не был в состоянии ограничить для своих подданных Отечество горами и реками, в которых он правил, и рассматривать их в качестве привязанных к земле. Истину, которую нельзя было провозглашать в одном месте, дозволялось

провозглашать в другом, в котором, возможно, в противоположность первому были запрещены те, которые там были разрешены. И таким образом, в Германии, при односторонности и мелочности особенных государств, в целом все же имела место высшая степень свободы исследования и распространения, какой когда-либо обладали народы; и высшая степень образования была и оставалась повсюду результатом взаимного влияния граждан всех немецких государств, и это высшее образование постепенно спускалось таким же образом и до широких слоев народа, который тем самым никогда не переставал в общем и целом воспитывать себя самого посредством себя самого. Этого существенного залога сохранения немецкой нации не урезала, как было сказано, ни одна немецкая душа, стоявшая у кормила власти; и даже если в отношении других изначальных решений не всегда происходило то, что было желанием высшей немецкой любви к Отечеству, то по меньшей мере дела его велись не наперекор ей, эту любовь не пытались похоронить, искоренить и заменить противоположной любовью.

Но если бы теперь изначальное руководство как тем высшим образованием, так и национальной мощью, которую можно использовать только для первого и для его сохранения как цели, и использование немецкого имущества и немецкой крови перешло от немецкой души к другой, что тогда необходимым образом должно было бы последовать?

Здесь преимущественно и потребуется упомянутое в нашей первой речи нежелание обманываться в отношении собственных обстоятельств, мужество взглянуть

в лицо истине и признаться себе в ней; к тому же, насколько мне известно, пока еще не запрещено по-немецки говорить друг с другом об Отечестве, по меньшей мере вздыхать о нем. И мы, я полагаю, поступили бы не хорошо, если бы поторопились по собственной инициативе выдвинуть такой запрет и захотели бы возложить на мужество, которое, без сомнения, само сознает, чем рискует, оковы боязливости отдельных людей.⁴⁰

Вы рисуете себе предполагаемую новую власть настолько благосклонной и благонамеренной, насколько только можно желать, хорошей, как Господь Бог; сможете ли Вы ей также вложить божественный разум? Пусть она совершенно всерьез желает высшего счастья и благополучия всех, но будет ли то высшее благополучие, каким она его может постичь, также и немецким благополучием? В отношении изложенного мной сегодня основного пункта я надеюсь быть хорошо понятым Вами, я надеюсь, что многие при этом подумали и почувствовали: я лишь отчетливо излагаю, выражаю в словах то, что с давних пор было в Ваших душах. Я надеюсь, что с другими немцами, которые однажды прочтут это, дело будет обстоять так же. И до меня многие немцы говорили примерно то же самое и неосознанным образом полагали это умонастроение в основу постоянно свидетельствуемого сопротивления чисто механическому устроению государства и управлению им. А теперь я призываю всех, знакомых с новой литературой зарубежья, показать мне, какой из его новейших мудрецов, поэтов, законодателей когда-нибудь подавал признаки подобного восприятия, при

котором человеческий род рассматривают как находящийся в вечном движении вперед и все его движения во времени связывают с этим движением; требовали кто-нибудь из них, даже в тот момент, когда они самым смелым образом воспарили до политического творчества, от государства чего-нибудь сверх равенства, внутреннего мира, национальной славы вовне и, взмывая выше всего, семейственного счастья? Если, как приходится заключать на основе всех этих свидетельств, это самое высшее для них, то они и нам не припишут никаких более высоких потребностей и требований от жизни, и, если предположить, что они всегда будут иметь благонамеренное устроение в отношении нас и не будут стремиться к собственной выгоде и тому, чтобы превосходить нас, они станут считать, что хорошо заботятся о нас, когда мы будем иметь все, что они считают желанным. Но то, ради чего живут наши благородные люди, в таком случае будет искоренено из общественной жизни, а народ, который постоянно демонстрировал восприимчивость к инициативам благородных людей и который даже можно было надеяться поднять в его большинстве до их знати, если с ним станут обращаться так, как они намерены обращаться, будет унижен в своем достоинстве, обесчещен, искоренен из порядка вещей, поскольку он будет слит с другим, более низкого рода.

У кого все же остаются живыми и сильными те высшие потребности в жизни, а также чувство божественности их права, тот с глубоким неудовольствием чувствует себя отброшенным назад в то начальное время христианства, о котором сказано: «Не сопротивляйтесь

злу, но, если кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую, а, если кто хочет взять твое платье, тому отдай и накидку»; последнее совершенно справедливо, так как пока кто-то видит на тебе накидку, то будет пытаться отнять ее у тебя, и ты не избавишься от его внимания к тебе и не обретишь покоя до тех пор, пока не останешься совершенно голым. Именно облагораживающий такого человека более высокий образ мысли превращает для него Землю в ад и мерзость; он предпочел бы не рождаться, мечтает как можно скорее избавиться от вида этого мира, бесконечная печаль сопровождает его дни вплоть до могилы; тому, кто ему дорог, он желает как лучшего дара неяркого и скромного чувства, чтобы дожить до вечной жизни по ту сторону гроба, испытав поменьше боли.

Эти речи предлагают Вам предотвратить это унижение всякого прорывающегося в будущее благородного движения среди нас и это унижение всей нашей нации с помощью единственного средства, которое остается после того, как все остальные не помогли. Они предлагают Вам по настоящему глубоко и неискоренимо основать с помощью воспитания во всех душах истинную и всесильную любовь к Отечеству в постижении нашего народа как вечного и как гаранта нашей собственной вечности. Какое воспитание способно на это и каким образом, мы увидим в следующих речах.

*ДЕВЯТАЯ РЕЧЬ***С КАКОГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПУНКТА
НУЖНО НАЧИНАТЬ НОВОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕМЦЕВ**

С помощью нашей последней речи мы осуществили и завершили уже многие из обещанных в первой речи доказательств. Ныне речь идет о спасении немцев от исчезновения, сказали мы, и оно было первой задачей; все другие различия для высшего обзора были несущественными; и посредством этого другим обязанностям, которые кто-нибудь числит за собой, не нанесено никакого ущерба. Если мы припомним различие, сделанное между государством и нацией, станет ясно, что прежде их обстоятельства также никогда не могли прийти в противоречие. Высшая любовь к Отечеству ради всего народа немецкой нации и без того ведь обязана и должна была обладать высшей властью в каждом особенном немецком государстве; ни одно из них не могло потерять из виду эту высшую заботу, не рискуя отворотить от себя все благородное и дельное, и, таким образом, ускорить свой собственный закат. Поэтому чем больше кто-либо был охвачен и воодушевлен этой высшей заботой, тем лучшим гражданином был он того особенного немецкого государства, в котором непосредственно протекала его деятельность. Немецкие государства могли вступать в конфликты с немецкими государствами из-за особенных традиционных при-

вилегий. Тот, кто хотел сохранения традиционного положения, а каждый разумный человек, без сомнения, должен был хотеть этого ради дальнейших последствий, тот должен был хотеть, чтобы торжествовала справедливость, кто бы ее не отстаивал. Особенное немецкое государство могло, самое большее, стремиться к тому, чтобы объединить всю немецкую нацию под своим управлением и ввести единовластие вместо республики народов. Если верно, как я, например, и считаю, что именно это республиканское устройство было до сих пор преимущественным источником немецкого образования и первым средством сохранения его свойств, то если бы предполагаемое единство правления само имело бы не республиканскую, а монархическую форму, в которой носитель власти имел бы все же возможность топтать в течение своей жизни какой-нибудь побег изначального образования по всей немецкой земле, — если это верно, говорю я, то в таком случае было бы, разумеется, большим несчастьем для немецкой любви к Отечеству, если бы это намерение удалось, и все благородные люди по всему простору общей земли должны были бы сопротивляться этому. Все же и в этом худшем случае немцы по-прежнему правили бы немцами и руководили бы их изначальными делами, и если бы на какое-то время исчез бы собственный немецкий дух, то все же оставалась бы надежда на то, что он вновь пробудится, и более мощная душа из любого места страны могла бы рассчитывать на то, что она будет услышана и понята. Немецкая нация все еще продолжала бы существовать и управлять собой, а не пришла бы в упадок в существовании более низкого порядка. Существенное

для наших расчетов — чтобы немецкая любовь к нации или сама находилась у кормила немецкого государства, или, как минимум, могла влиять на него — по-прежнему здесь сохраняется. Если же, вследствие наших прежних предположений, это немецкое государство (является ли оно как одно или как несколько, это не важно, на самом деле оно все-таки Одно) перешло бы из-под немецкого руководства под чужое, то совершенно точно, и противоположное этому противоречит природе и полностью исключено, совершенно точно, говорю я, что с этого момента определяющими стали бы не немецкие, но чужие дела. Совместное национальное дело немцев было бы изгнано оттуда, где оно до сих пор пребывало и стояло у кормила государства. Если оно теперь не должно быть тем самым полностью стерто с лица Земли, то ему должно быть предоставлено убежище в другом месте, и именно в таком, которое одно только и остается, — у подвластных, среди граждан. Но если оно уже было бы у них и у большинства из них, то мы и не оказались бы в ситуации, в отношении которой мы ныне даем советы. Поэтому его у них нет и еще только должно быть привнесено в них; это означает, другими словами, что у большинства граждан должно быть воспитано патриотическое чувство, и это воспитание должно быть всеобщим, чтобы можно было быть уверенным в большинстве. Таким образом, прямо и ясно было проведено с самого начала обещанное доказательство того, что немецкую самостоятельность может спасти исключительно только воспитание, и никакое другое возможное средство. И без сомнения, не мы виноваты, если кто-нибудь только сейчас понял

собственное содержание и намерение этих наших речей и смысл всех наших высказываний.

Выскажемся еще более кратко: сохраняя нашу предпосылку, когда несовершеннолетних избавили от их отеческих и родственных по крови опекунов и их место заняли господа, то, если несовершеннолетние не должны стать рабами, несовершеннолетние должны быть избавлены от опеки и сначала, чтобы они были способны на это, воспитаны к совершеннолетию. Немецкая любовь к Отечеству потеряла свое место, она должна получить другое — более широкое и глубокое, на котором бы она обосновала и закалила себя в покойной сокрытости, чтобы в нужный час выступить с юной силой и возратить государству потерянную самостоятельность. В отношении последнего зарубежье, так же как и ограниченный и мелочный пессимизм среди нас самих, могут не беспокоиться, их совершенно можно утешить тем, что им не придется этого пережить, что эпоха, когда это случится, будет мыслить иначе, чем они.

Как бы ни были строго последовательны шаги этого доказательства, то, охватит ли оно других и побудит ли их к деятельности, зависит в первую очередь от того, существует ли вообще то, что мы описали как немецкое свойство и немецкую любовь к Отечеству, и достойно ли оно того, чтобы его сохранять и стараться ради него. Само собой понятно, что иностранец — как внешний, так и внутренний — на этот вопрос ответит «нет»; но он и не призван на совет. Здесь стоит, впрочем, заметить, что решение в отношении этого вопроса никоим образом не основывается на доказательстве с помощью

понятий, которые в этом случае хотя и могут пояснить, но никоим образом не сообщить о действительном существовании или ценности, последние могут быть доказаны кому-либо исключительно только с помощью соответствующего непосредственного опыта в нем самом. В подобном случае миллионы могут говорить: «Этого нет», но это означало бы только, что в них этого нет, и ни в коем случае, что этого вообще нет, и если против миллионов выступит один и заявит, что это есть, то будет прав он, а не они. Ничто не препятствует тому, чтобы я, так как я сейчас как раз говорю, был именно таким единственным, который заявляет, что он из непосредственного опыта в себе самом знает, что есть нечто такое — немецкая любовь к Отечеству, что ему известна бесконечная ценность предмета этой любви, что одна только эта любовь побуждала его к тому, чтобы, не страшась опасности, говорить то, что он сказал и еще скажет, поскольку нам ныне не осталось вовсе ничего, кроме этого говорения, и даже оно всеми путями затруднено и ограничено. Тот, кто чувствует в себе то же самое, будет убежден; кто нет, не может быть убежден, ведь мое доказательство опирается исключительно только на это предположение; в отношении него я впустую потратил слова, но кто не рискнет такой мелочью, как слова?

То самое воспитание, которое, согласно нашему обещанию, должно спасти немецкую нацию, в общем было описано во второй и третьей речах. Мы обозначили его в качестве полной перестройки человеческого рода, и с этого обозначения мы начнем повторный обзор целого.

Чувственный мир считался до сих пор, как правило, настоящим, истинным и действительно существующим, его первым демонстрировали воспитаннику и только от него приводили к мышлению, и в большинстве случаев — к мышлению о нем и для его целей. Новое воспитание полностью изменяет этот порядок. Для него истинный и действительно существующий мир — мир, постигаемый мышлением, оно с самого начала хочет ввести своего воспитанника в него. С этим миром хочет оно связать всю его любовь и симпатию, так чтобы его жизнь возникала и проистекала только из этого мира духа. До сих пор в большинстве случаев жила только плоть, материя, природа; благодаря новому воспитанию в основном, да даже и всегда, должен побуждая жить дух; в целом должен быть произведен твердый и сознательный дух, о котором раньше говорилось как о единственно возможной основе благоустроенного государства.

С помощью такого воспитания, без сомнения, будет достигнута цель, которую мы поставили себе с самого начала и из которой исходили наши речи. Этот, должный быть созданным, дух принесет высшую любовь к Отечеству как постижение своей земной жизни как вечной и жизни носителя этой вечности, Отечества, и, если он будет создан в немцах, принесет любовь к немецкому Отечеству как одну из его необходимых составных частей непосредственно в себе самом; и эта любовь сама собой создает мужественного защитника Отечества и убежденного и честного гражданина. С помощью такого воспитания достигается даже большее, чем эта ближайшая цель, как это и происходит всегда

там, где с помощью радикального средства пытаются осуществить великую цель. Весь человек целиком будет со всех сторон приведен к совершенству, завершен в себе самом, снабжен раз и навсегда всеми возможностями для достижения всех его внешних целей. Духовная природа неразрывно связывает наше полное очищение от всякого зла, подавляющего нас, с нашим выздоровлением в отношении нации и Отечества.

Нам здесь нет никакого дела до тупого изумления тому, что утверждается такой мир исключительно мысли, и даже утверждается в качестве единственно возможного, а чувственный мир целиком отбрасывается, нам также нет дела и до отрицания или первого целиком, или отрицания возможности введения в него большинства широких слоев народа, мы еще раньше указали таким представлениям на дверь. Тот, кто не знает, что мир мысли есть, тот может с помощью имеющихся средств узнать между тем об этом где-нибудь в другом месте, у нас здесь нет на это времени; то же, как до него может быть поднято большинство широких слоев народа, мы намерены сейчас показать.

Поскольку, согласно нашему собственному хорошо продуманному соображению, мысль о таком новом воспитании не должна рассматриваться в качестве образа, выдвинутого только для упражнений в остроумии и в искусстве спора, но, скорее, в урочный час должна быть осуществлена и претворена в жизнь; постольку мы должны указать, с какого уже имеющегося в действительном мире члена должно начаться это осуществление.

На этот вопрос мы даем следующий ответ: оно должно подключиться к системе обучения, изобретен-

ной и предложенной Иоганном Генрихом Песталоцци,⁴¹ под чьим надзором она счастливым образом осуществляется. Мы намерены глубже обосновать и подробнее определить наше решение.

В первую очередь мы прочитали и продумали сочинения⁴² этого человека и на их основе сформировали свое понятие о его образовательном и воспитательном искусстве, а не на основе того, что сообщают и мнят о нем научные новостные листки, все вновь и вновь создавая мнения о мнениях. Мы указываем на это затем, чтобы каждому, кто также стремится составить себе понятие об этом предмете, посоветовать следовать тем же самым путем и полностью избегать противоположного. Мы до сих пор так мало стремились увидеть его действительное осуществление не из-за пренебрежения, но потому, что сначала хотели получить твердое и верное понятие об истинном намерении изобретателя, которому осуществление зачастую уступает, а из этого понятия само собой, без всяких проб, получить понятие об осуществлении и степени успешности, и тогда, будучи вооруженными только им, можно уже правильно понять осуществление и вернее судить о нем. Если также и эту систему обучения слепое эмпирическое действие на ощупь, как считают некоторые, должно извратить до пустых игрищ и истолкования видимого, то по меньшей мере основное понятие изобретателя, по моему представлению, в этом совершенно неповинно.

За это основное понятие мне ручается в первую очередь самостоятельность самого этого человека, честнейшим и мужественнейшим образом продемонстрированная им самим в его сочинениях. На нем, с тем же правом,

что и на Лютере, а если бы были и другие, подобные им, то и на других, я мог бы показать основные черты немецкой души и произвести радостное доказательство того, что эта душа еще и по сей день царит во всей своей чудотворной силе в сфере немецкого языка. Он также прожил трудную жизнь, борясь со всевозможными препятствиями, с внутренними — собственным упорным непониманием и беспомощностью и даже с тем, что он был в высшей степени плохо снабжен обычными вспомогательными средствами ученого воспитания; с внешними — длительным непризнанием, стремясь к лишь предчувствуемой, ему самому неясной цели, не сдаваясь и продвигаясь вперед благодаря неиссякаемому, всемогущему немецкому стремлению, любви к бедному беззащитному народу. Эта всемогущая любовь сделала его так же, как и Лютера, только в другом и соответствующем его времени отношении, своим инструментом и стала жизнью его жизни. Она была неизвестной ему самому, надежной и неизменной путеводной нитью этой его жизни, которая вела ее через всю окружавшую его тьму и увенчала ее вечер — ведь было невозможно, чтобы такая любовь покинула Землю вознагражденной, — его истинно духовным изобретением, которое достигло гораздо большего, чем он сам когда-либо мог представить в своих самых смелых мечтах. Он хотел только помочь народу, но его изобретение, взятое во всем его объеме, удаляет народ, снимает всякое различие между ним и образованным сословием, вместо искомого народного воспитания дает национальное воспитание и, пожалуй, способно поднять народы и весь человеческий род из глубины его нынешних бедствий.

Это его основное понятие изложено в его сочинениях с полной ясностью и бесспорной определенностью. В первую очередь в отношении формы он желает не прежнего произвола и слепого действия на ощупь, он желает надежного и точно рассчитывающего искусства воспитания, чего желаем и мы, чего необходимым образом должна желать немецкая основательность; он рассказывает совершенно непринужденно, как одна французская фраза о том, что он хочет собственно механизировать воспитание, пробудив его ото сна, помогла ему в отношении этой его цели. В отношении содержания это — первый шаг описанного мной нового воспитания, когда возбуждается и формируется свободная духовная деятельность воспитанника, его мышление, в котором ему позже должен раскрыться мир его любви; сочинения Песталоцци посвящены преимущественно этому первому шагу, и к этому предмету в первую очередь обращается наша проверка его основного понятия. В этом плане его упрек прежнему обучению в том, что оно погружает учеников в туман и сумрак, никогда не давая ему достичь действительной истины и реальности, означает то же самое, что и наш, что обучение не способно ни влиять на жизнь, ни образовывать ее корень. И средство, предлагаемое Песталоцци против этого — вводить воспитанника в непосредственное созерцание, — имеет то же самое значение, что и наше, — возбуждать его духовную деятельность к созданию образов и только в этом образовывании давать ему изучать все, что он изучает; ведь созерцать можно только свободно созданное. То, что изобретатель действительно так полагает и никоим об-

разом не понимает под созерцанием шарящее вслепую и ощупывающее восприятие, доказывает описанная затем реализация. Также совершенно правильным образом этому возбуждению созерцания воспитанника посредством воспитания дается всеобщий и очень глубоко проникающий закон, с которым и должно точно соразмеряться развитие сил ребенка как вначале, так и в дальнейшем.

В противоположность вышесказанному, все промахи этого плана обучения Песталлоцци в выражениях и предложениях имеют Один общий источник. С одной стороны, скромная и ограниченная цель, которую ставят вначале, — дать необходимую помощь в высшей степени запущенным детям из народа, при предположении, что целое останется таким, каково оно есть. С другой стороны, средства, служащие гораздо более высокой цели, смешиваются между собой и впадают в противоречие друг с другом; оградить себя от всякого заблуждения и получить полностью согласное с собой понятие можно, если отбросить первое и все, что из него следует, и держаться исключительно последнего, развивая его последовательно. Без сомнения, переоценка чтения и письма, выставление их в качестве чуть ли не цели и вершины народного обучения, его непосредственное доверие мнению прошедших тысячелетий в том, что они — лучшие средства наставления, возникло в любящей душе Песталлоцци только лишь из желания как можно скорее отпустить этих детей крайней нищеты из школы зарабатывать себе на жизнь и все же снабдить их средством, с помощью которого они могли бы восполнить прерванное обучение; ведь здесь он мог бы, кроме

того, найти, что именно чтение и письмо были до сих пор основными средствами, с помощью которых людей закутывали в туман и сумрак, делали их заумными. К этому относятся также многие другие предложения, без сомнения противоречащие его основоположению непосредственного созерцания, и в особенности его совершенно ошибочное воззрение на язык как средство поднять наш род от смутного созерцания до отчетливых понятий. Мы, на своем месте, не говорили о воспитании народа в противоположность воспитанию высших сословий, потому что мы вовсе не хотим больше иметь народ в этом смысле, в смысле низкой и подлой черни, в связи с положением немецкой нации ее существование нельзя больше терпеть, мы же говорили о национальном воспитании. Если когда-нибудь дело дойдет до него, то скромное желание, чтобы воспитание доводилось до конца и ребенка опять можно было бы освободить от труда, больше никогда не возникнет, поскольку дискуссия об этом будет отвергнута с порога. Хотя это воспитание, по моему представлению, не будет дорогостоящим, учреждения будут в состоянии в немалой степени содержать себя сами, но труд не потерпит ущерба. Свои мысли об этом я изложу в свое время. Но даже если бы дело обстояло и не так, то воспитанник, непременно и несмотря ни на какие угрозы, не должен отрешаться от воспитания до тех пор, пока оно не может быть завершено и не завершится. Половинчатое воспитание ничуть не лучше, чем вовсе никакого; оно оставляет его при старом, и если хотеть этого, то лучше сэкономить себе и первую половину и объявить сразу, что не хочешь, чтобы человечности помогли. При этом

предположении в голом национальном воспитании, пока оно продолжается, нет никакой пользы от чтения и письма, они могут даже стать очень вредными, поскольку легко можно увести, как это и делали до сих пор, от непосредственного созерцания к голым знакам, от внимания, которое знает, что оно ничего не схватывает, если оно не схватывает сейчас и своевременно, к рассеянности, которая утешается своими записями и хочет когда-нибудь научиться у бумаги тому, чему она, вероятно, никогда не научится, и вообще — к мечтательству, так часто сопровождающему обращение с буквами. Лишь по полному завершению воспитания и в качестве последнего его подарка в дорогу могли бы быть сообщаемы эти искусства, и воспитанник мог бы быть проведен через разложение языка, которым он уже давно полностью владеет, к открытию и употреблению букв; что, при прочем образовании, которого он уже достиг, было бы для него легкой игрой.

Так в простом и общем национальном воспитании. Несколько иначе дело обстоит с будущим ученым. Ведь ему впоследствии придется не только показывать свое расположение в отношении общепринятого, но также в одиноком размышлении выводить на свет языка сокрытую и ему самому неизвестную глубину его души, и потому он должен раньше получить в руки в виде письма орудие одинокого и все же громкого мышления и научиться его образовывать; но все же и в отношении него не стоит так торопиться, как это происходило до сих пор. Мы в свое время яснее осветим этот вопрос при проведении различия между простым национальным воспитанием и воспитанием ученого.

Все, что первооткрыватель говорит о пустом звуке и слове как о средстве развития духовных сил, должно быть исправлено и ограничено, руководствуясь мерой вышесказанного. Войти в детали мне не дает возможности план этих речей. Я добавлю еще только одно, глубоко освещающее целое, замечание. Его книга для матерей излагает основоположение развития всякого познания, поскольку он, среди прочего, очень сильно рассчитывает на домашнее воспитание. Что касается в первую очередь самого домашнего воспитания, то мы ни в коем случае не намерены оспаривать те надежды, которые он возлагает на матерей; но что касается нашего более высокого понятия национального воспитания, то мы твердо убеждены в том, что оно, в особенности у сословий трудящихся, в родительском доме и вообще без полного отделения детей от них совершенно не может ни начаться, ни продолжаться или завершиться. Нужда, забота о насущном пропитании, мелочная скуповатость и корыстолюбие, связанные с этим, необходимым образом стали бы заражать детей, приземлять их и препятствовать их свободному взлету в мир мысли. Это — также одна из предпосылок, которую при осуществлении нашего плана непременно надо учитывать и ни в коем случае не опускать. Мы уже в достаточной мере видели, что получится, если человечество в целом во все последующие эпохи будет воспроизводить себя в том виде, в каком оно было до сих пор. Если же оно должно быть полностью преобразовано, то оно должно быть однажды полностью оторвано от себя самого и его традиционная жизнь должна быть прервана. Лишь после того, как одно по-

коление пройдет через новое воспитание, можно будет обсуждать, какую часть национального воспитания стоит доверить дому. — Не считая этого и рассматривая книгу Песталоцци для матерей только в качестве основоположения обучения, мы видим, что также и ее содержание, тело ребенка, есть совершенный промах. Он исходит из очень верного положения, что первым предметом познания ребенка должен быть сам ребенок, но есть ли тело ребенка сам ребенок? Если бы этим предметом все же должно было быть человеческое тело, то не было бы ли для него гораздо более близким и зримым тело матери? И как мог бы ребенок получить наглядное познание своего тела, не научившись сначала им пользоваться? Старое обучение не есть познание, но заучивание наизусть произвольных словесных знаков, вызванное переоценкой речи. Истинной основой обучения и познания, говоря языком Песталоцци, была бы азбука ощущений. Когда ребенок начнет воспринимать звуки речи и необходимым образом самостоятельно их образовывать, его нужно привести к тому, чтобы он совершенно ясно выражал себя — голоден ли он или хочет спать, имеет ли он сейчас зрительное ощущение, обозначаемое этим или другим выражением, или он, скорее, имеет слуховое ощущение и т. д., или он что-нибудь просто выдумал; как и в какой градации отличаются различные, обозначаемые разными словами восприятия одного и того же органа чувств, например краски, звуки различных тел и т. д.; и все это — в правильной и закономерно развивающей саму способность ощущения последовательности. Только посредством этого ребенок получает Я, которое он выделяет в

свободном и осознанном понятии и которое проникает с его помощью, и при его пробуждении к жизни ей сразу будет открыт его духовный взор, который отныне, пожалуй, никогда уже и не может больше потерять ее из виду. Посредством этого пустые в себе формы меры и числа также получают для последующего упражнения созерцания свое ясно познанное внутреннее содержание, которое при способе действий Песталотци может быть добавлено им только с помощью смутного влечения и принуждения. В сочинениях Песталотци встречается примечательное в этом отношении признание одного из его учителей, которого этим способом начали посвящать в усмотрение пустых геометрических тел. Этот способ действий должен был быть применен ко всем воспитанникам, если бы духовная природа незаметным образом не воспрепятствовала этому. Так же и здесь, при этом ясном постижении того, что собственно воспринимается, человека образует и поднимает его из смутности и спутанности к ясности и определенности не знак языка, но само говорение и потребность выразить себя для других. В ребенка, впервые пробуждающегося к сознанию, сразу врываются все воздействия окружающей его природы, они перемешиваются в притупленный хаос, в котором ничто отдельное не выступает из общего чувства. Как же ему выйти из этой притупленности? Ему нужна помощь других; он может получить эту помощь себе только тем, что определенно выскажет свою потребность с помощью уже закрепленных в языке различий подобных потребностей. Ему придется, руководствуясь этими различиями, посредством обращения на себя и собирания в себе

заметить, что же он действительно чувствует, сравнивая и отличая от того, что ему также, пожалуй, известно, но чего он в настоящий момент не чувствует. Только посредством этого в нем выделяет себя осознанное и свободное Я. И теперь воспитание должно продолжать с помощью осознанного и свободного искусства этот путь, начатый в нас нуждой и природой.

В поле объективного познания, направленного на внешние объекты, знакомство со словесными знаками совершенно ничего не добавляет к отчетливости и определенности внутреннего познания для самого познающего, но поднимает его лишь в совершенно другую сферу сообщаемости другим. Ясность этого познания покоится целиком на созерцании, и полностью познано то, что можно воспроизвести в способности воображения по собственному желанию во всех его частях так, как оно и есть в действительности, вне зависимости от того, имеют для этого слово или нет. Мы убеждены в том даже, что это завершение созерцания должно предшествовать знакомству со словесными знаками и что обратный порядок как раз и ведет в мир сумрака и тумана и к той преждевременной говорливости, которую Песталоцци совершенно справедливо ненавидит, и что тот, кто хочет как можно скорее знать слово и считает, что увеличил свои познания, как только его узнал, живет именно в этом мире тумана и заботится просто лишь о его расширении. Охватывая здание мысли изобретателя в целом, я считаю, что именно эта азбука ощущений была тем, к чему он стремился как к первому основанию духовного развития и к содержанию своей книги для матерей и что смутно пред-

носило ему при всех его высказываниях о языке, и что только недостаток философского образования воспрепятствовал тому, чтобы он совершенно понял самого себя в этом пункте.

Если теперь положить это развитие познающего субъекта с помощью ощущений как наипервейшее в основание предлагаемого нами национального воспитания, то азбука созерцаний Песталоцци, учение о соотношениях чисел и мер, будет совершенно целесообразным и превосходным продолжением. К этому созерцанию может быть привязана любая часть чувственного мира, оно может быть введено в область математики до тех пор, пока в этих предварительных упражнениях воспитанник не образуется в достаточной мере до того, чтобы быть приведенным к созданию набросков общественного порядка людей и к любви этого порядка как ко второму и существенному шагу его образования.

В первой части воспитания нельзя упускать и другого предмета, указываемого Песталоцци, — телесного развития воспитанника, которое необходимым образом должно идти рука об руку с развитием духовным. Он призывает к азбуке искусства, т. е. телесных способностей. Вот самое примечательное его высказывание об этом: «Бить, носить, бросать, толкать, тянуть, вращать, бороться, махать и т. д. — простейшее упражнение силы. Существует природосообразная последовательность ступеней от начала упражнений вплоть до совершенного искусства, т. е. вплоть до высшей степени такта нервов, который обеспечивает удар и толчок, взмах и бросок в тысячекратной смене

и делает верными руку и ногу». При этом все зависит от природосообразной последовательности ступеней, и здесь не годится слепо произвольно вмешиваться и вводить какое-нибудь новое упражнение только ради того, чтобы мы могли сказать, что так же, как и греки, обладаем телесным воспитанием. В этом отношении все еще впереди, поскольку Песталоцци не оставил никакой азбуки искусства. Ее еще только предстоит создать, и для этого нужен человек, который равным образом знал бы как свои пять пальцев анатомию человеческого тела и научную механику, у которого с этими знаниями была бы связана высокая степень философского духа и который был бы способен, таким образом, найти всестороннее совершенство той машины, которой может стать человеческое тело, и указать, как можно постепенно развить эту машину так, чтобы каждый шаг осуществлялся в единственно верной последовательности, подготавливая и облегчая последующие, чтобы при этом здоровье и красота тела и сила духа не только не подвергались опасности, но даже усиливались и повышались, — как, говорю я, таким путем развить эту машину из любого здорового человеческого тела. Обязательность этой составной части для воспитания, которое обещает образовать человека в целом и которое определяет себя в особенности для такой нации, которая должна восстановить и сохранить свою самостоятельность, сама бросается в глаза без дальнейших разъяснений.

То, что еще нужно сказать для дальнейшего определения нашего понятия немецкого национального воспитания, будет сказано нами в ближайшей речи.

*ДЕСЯТАЯ РЕЧЬ***ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ**

Приведение воспитанника — сначала его ощущений, затем его созерцаний — к ясности, с которым рука об руку должно идти последовательное образование искусства, есть первая основная часть нового немецкого национального воспитания. Что касается образования созерцания, то здесь мы имеем целесообразное руководство Песталоцци; пока еще отсутствующее руководство по образованию способности ощущений он или его сотрудники, перед которыми поставлена эта задача, могут дать без труда. Не хватает еще наставления для формирования телесной силы; уже указано, что требуется для решения этой задачи, и можно надеяться, что, если нация продемонстрирует жажду ее решить, оно найдется. Вся эта часть воспитания есть только средство и предварительное упражнение для его второй существенной части, гражданского и религиозного воспитания. Что об этом необходимо сказать ныне в целом, было приведено во второй и третьей речах, и в этом отношении нам нечего добавить. Дать определенное наставление по искусству этого воспитания — всегда, разумеется, советуясь с искусством воспитания собственно Песталоцци и возвращаясь к нему — это дело той философии, которая вообще и выдвигает немецкое национальное воспитание. И эта философия, если однажды наступит потребность в таком наставлении из-за

завершения осуществления первой части, не замедлит его дать. Как может быть, что каждый воспитанник, даже рожденный в низших сословиях, поскольку то, в каком сословии человек рожден, поистине не вносит никаких различий в способности, будет справляться, и даже с легкостью справляться, с обучением этим предметам, которое, если хотите, содержит наиглубочайшую метафизику и есть плод самой отвлеченной спекуляции, справиться с которыми ныне оказывается не под силу даже ученым и самым спекулятивным головам? Не надо заранее утомлять себя сомнениями в отношении этого; опыт научит ему, если только намерены последовательно пройти первые шаги. Именно потому, что наше время вообще приковано к миру пустых понятий и нигде не вошло в мир истинной реальности и созерцания, не стоит требовать от него того, чтобы оно находилось на пороге самого высшего и самого духовного созерцания и, далее, было бы сверх всякой меры умно и начало созерцать. Философия должна требовать от него, чтобы оно отказалось от своего прежнего мира и создало себе совершенно новый, и неудивительно, если такое требование остается безрезультатным. Но питомец нашего воспитания с самого начала живет в мире созерцания и никогда не видел другого; ему нужно не изменять свой мир, но развивать, и это происходит само собой. Это воспитание, как мы уже указывали выше, есть единственно возможное воспитание к философии и единственное средство сделать последнюю всеобщей.

Воспитание завершается этим гражданским и религиозным воспитанием — воспитанник должен быть

отпущен, и, таким образом, мы для начала разобрались с содержанием предлагаемого воспитания.

Способность познания воспитанника никогда не должна быть возбуждаема без того, чтобы одновременно возникала любовь к познанному предмету, поскольку без этого познание останется мертвым, и также любовь никогда не должна быть возбуждаема без того, чтобы становиться ясной познанию, поскольку без этого любовь останется слепой. Вот главное основоположение предлагаемого нами воспитания, с которым, в силу строения целого своей мысли, должен согласиться и Песталоцци. Возбуждение и развитие этой любви само собой связано нитью ощущения и созерцания с последовательным ходом учения и происходит без всякого нашего намерения и содействия. У ребенка есть естественное стремление к ясности и порядку; оно непрестанно удовлетворяется в ходе учения и, таким образом, наполняет ребенка радостью и удовольствием; посреди удовлетворенности он, однако, вновь возбуждается новыми, теперь обнаруживающимися неясностями и вновь удовлетворяется, и так жизнь входит в любовь и радость учения. Эта любовь есть то, посредством чего отдельный человек приходит в связь с миром мысли, связь чувственного и духовного мира вообще. Посредством этой любви, в этом воспитании — надежным и рассчитанным образом, а ранее — посредством случая среди немногих счастливых, легко и успешно происходит развитие способности познания и обработка полей науки.

Но есть еще и другая любовь, — любовь, которая связывает человека с человеком, а всех — в единую

разумную общину общего умонастроения. Как та образует познание, так эта — деятельную жизнь, побуждая претворить познанное в себе и других. Так как нашей собственной цели мало бы помогло улучшение только лишь воспитания ученых и задуманное нами национальное воспитание направлено в первую очередь не к тому, чтобы образовывать ученого, но к тому, чтобы образовывать именно человека, то ясно, что непременной обязанностью этого воспитания наряду с развитием первой является также и развитие второй любви.

Песталоцци говорит об этом предмете с окрыляющим сердце воодушевлением; но мы все-таки должны признаться в том, что все это не показалось нам хотя бы в малейшей степени ясным или, по крайней мере, настолько ясным, чтобы быть способным служить основанием искусного развития этой любви. Поэтому необходимо сообщить наши собственные мысли в отношении такого основания.

Обычное представление, состоящее в том, что человек от природы эгоистичен и что ребенок даже рождается с этим эгоизмом, что воспитание заключается только лишь в том, чтобы привить ему нравственные побуждения, основывается на очень поверхностном наблюдении и совершенно ложно. Так как из ничего нельзя сделать что-нибудь, а развитие основного стремления никогда не сможет сделать его противоположностью его самого, то как бы могло воспитание привнести в ребенка нравственность, если она изначально и до всякого воспитания уже не была бы в нем? И так это в действительности и есть во всех рожденных на свет детях человеческих; задача заключается лишь в том,

чтобы изучить самую изначальную и чистую форму, в которой она выступает.

Доведенная до конца спекуляция и совокупное наблюдение согласны в том, что самая изначальная и чистая форма — стремление к уважению и что только этому стремлению в познании раскрывается в качестве единственно возможного предмета уважения нравственное, правое и благое, истинность, сила самообладания. Это стремление проявляется у ребенка сначала как стремление обратить на себя внимание того, кто сильнее всего привлек его внимание. И это стремление намного сильнее и решительнее обращается на отца, более серьезного, чаще отсутствующего и не выступающего непосредственно в качестве благодетеля, чем на постоянно присутствующую со своими благодеяниями мать; это надежно доказывает то, что любовь происходит никоим образом не из эгоизма. Ребенок хочет быть замеченным им, он хочет получить его одобрение; он доволен собой настолько, насколько тот доволен им. Это естественная любовь ребенка к отцу; никоим образом не как к попечителю его чувственного благополучия, но как к зеркалу, в котором для него отражается его собственная ценность или неценность; на основе этой любви отец может требовать даже строгого послушания и самоотречения, ради его сердечного одобрения ребенок с радостью его послушается. Ребенок жаждет любви от отца, чтобы тот заметил его стремление быть хорошим и одобрил его; чтобы было видно, что он рад возможности похвалить его и что ему горько, когда ему приходится ругать его, что он лишь хочет быть всегда довольным им и все его требования к нему направлены

только на то, чтобы делать его все лучше и все более достойным уважения. Усмотрение этого вновь оживляет и усиливает любовь ребенка и дает ему силы для его дальнейших устремлений. Посредством неуважения или продолжительной несправедливой недооценки эта любовь, напротив, умертвляется, в отдельных случаях даже приводит к ненависти, если в обращении с ним заметно своекорыстие, например, если к ущербу, нанесенному им по неосторожности, относятся как к преступлению. Он в таком случае видит себя рассматриваемым в качестве только орудия, и это возмущает его, хотя и смутное, но имеющееся чувство того, что он должен иметь ценность сам по себе.

Покажем это на примере. Что сверх боли от телесного наказания причиняет ребенку еще и стыд и что такое этот стыд? К этому явно добавляется чувство неуважения к себе, так как ему демонстрируется неодобрение его родителей и воспитателей. Поэтому там, где наказание не сопровождается стыдом, воспитанию приходит конец и наказание выступает как насилие, на которое воспитанник высокомерно не обращает внимания и над которым насмехается.

Вот какова связь, соединяющая людей в единство чувства, развитие которой является основной составляющей воспитания человека, — никоим образом не чувственная любовь, но стремление к обоюдному уважению. Это стремление двояким образом формирует себя, исходя из безоговорочного уважения ребенка к миру взрослых вне себя, в стремление к уважению с их стороны и к тому, чтобы из их действительного уважения как мерила понять, насколько он сам себя

может уважать. Это доверие чужому и внешнему нам мерилу самоуважения есть также основное собственное свойство детства и незрелости, на одном только существовании которого и основана возможность всякого поучения и воспитания подрастающего юношества до состояния зрелого человека. Зрелый человек обладает мерилем своего самоуважения в себе самом и хочет быть уважаем другими людьми, только если они сами заслужили его уважение; у него это стремление принимает форму требования — иметь возможность уважать других и производить вне себя достойное уважения. Если бы в человеке не было такого основного стремления, откуда бы взялось то явление, когда довольно неплохой человек печалится оттого, что люди хуже, чем он о них думал, и что он глубоко страдает от презрения к ним; ведь эгоизму, наоборот, было бы приятно высокомерно ставить себя над другими? Эту последнюю основную черту зрелости должен представлять собой воспитатель, в то время как у воспитанника можно твердо рассчитывать на первую. Цель воспитания в этом отношении состоит именно в том, чтобы произвести зрелость в указанном нами смысле, и воспитание завершено и доведено до конца только после того, как эта цель достигнута. До сих пор многие люди всю свою жизнь оставались детьми: они для удовлетворенности собой нуждались в одобрении окружающих и полагали, что самое лучшее — добиться того, чтобы нравиться им. Таким людям противопоставляли, в качестве сильных и крепких характеров, тех немногих, которые были в состоянии подняться над чужим суждением и довольствовались самими собой; их, как

правило, ненавидели, в то время как первых хотя и не уважали, но находили все же любезными.

Основание всего нравственного воспитания состоит в знании о том, что в ребенке есть это стремление, на которое самым твердым образом рассчитывают и которое, далее, познают в его явлении и постепенно все больше и больше развивают посредством целесообразного возбуждения и преподнесения материала, которым оно удовлетворяется. Самое первое правило: направлять его на предмет, который ему только и подходит, на нравственное, никоим образом не удовлетворять его чуждым ему материалом. Например, учеба сама в себе несет интерес к себе и вознаграждение; повышенное прилежание, самое большее, может быть одобрено как упражнение в самопреодолении; но это свободное и превышающее требования прилежание не будет иметь места по меньшей мере в простом, общем национальном воспитании. Поэтому если воспитанник учит то, что он должен, это будет рассматриваться как нечто само собой разумеющееся и то, о чем не стоит и говорить. Даже более быстрое и лучшее обучение более способных будет рассматриваться именно как простое явление природы, которое не является поводом для похвалы или выделения их самих и совершенно не служит для прощения других их недостатков. Этому стремлению должна быть дана сфера действия только в нравственном; но самообладание, самопреодоление, подчинение своих эгоистических устремлений понятию целого есть корень всей нравственности. Только за это, и совершенно ни за что другое, воспитанник должен получать одобрение воспитателя, потребность в котором

он имеет в силу своей духовной природы и к которому приучен воспитанием. Как мы уже упоминали в нашей речи, существуют два сильно различающихся способа подчинения личной самости целому. Во-первых, такой, который просто должен быть и от которого никто ни в какой его части не может быть освобожден, покорность закону строя, созданному лишь ради порядка целого. Кто не провинился перед ним, лишь не заслуживает неодобрения и никоим образом не достоин оценок; кто провинился перед ним, должен получить действительное неодобрение и порицание; тот, кто публично ошибся, должен и отвечать публично, а там, где порицание останется бесплодным, наказание может стать и еще более суровым. Во-вторых, существует подчинение отдельного целому, которое может быть достигнуто не требованием, но только добровольно, когда его благополучие увеличивают и приумножают с помощью собственного самоотречения. Чтобы с самой юности как следует запечатлеть в воспитаннике отношение друг к другу голой законопослушности и этой более высокой добродетели, будет целесообразным позволять такое добровольное самоотречение только тому, кто был безупречен в отношении первого в течение определенного периода времени, как бы в награду законопослушности, тому же, кто не так хорошо владеет собой в следовании правилам и порядку, не давать на это разрешения. Предметы таких добровольных устремлений были уже в общем указаны выше, а ниже будут рассмотрены еще ближе. Этому роду самопожертвования должно находить активное одобрение, действительное признание его заслуг, однако ни в коем случае не в виде публичной

похвалы, — это портит душу, делает ее тщеславной и может увести ее от самостоятельности, — но тайком, наедине с воспитанником. Это признание должно быть не более чем внешним изображением его собственной чистой совести и подтверждением его удовлетворенности самим собой, его самоуважения, побуждением и далее доверять себе. Имеющиеся здесь в виду преимущества превосходным образом будут поддержаны следующим устройством. Там, где будет несколько воспитателей и воспитательниц, что, по нашему предположению, будет правилом, ребенок станет свободно выбирать, руководствуясь своим доверием и чувством, одного из них себе в качестве особого друга и как бы советника совести, который станет помогать ему во всех случаях, когда будет сложно принять правильное решение; будет помогать ему дружеским утешением; будет доверительным лицом, когда воспитанник добровольно решит взять на себя обязанности; наконец, будет тем, кто одобрением увенчает подобающее. Посредством личности этих советников совести воспитание будет последовательно способствовать, каждому отдельному подходящим ему образом, все большей силе самопреодоления и самообладания; и так постепенно возникнет твердость и самостоятельность, созданием которых воспитание завершит и сохранит себя для будущего. Охват нравственного мира открывается нам яснее всего посредством собственного действия и поступка, и кому он так раскрылся, тому он раскрылся поистине. Такой человек знает сам, что в нем содержится, и не нуждается больше ни в каком чужом свидетельстве в отношении себя, но в состоянии самостоятельно су-

дить себя справедливым судом, и с этого момента он зрелый человек.

Только что сказанным мы устранили пробел в нашем изложении и сделали теперь наше предложение поистине осуществимым. Склонность к правому и доброму ради себя самого должна быть поставлена посредством нового воспитания на место до сих пор употреблявшейся чувственной надежды или страха, и эта склонность, как единственный имеющийся мотив, должна привести в движение всю будущую жизнь — вот что главное в нашем предложении. Первый возникающий при этом вопрос: но как же должна быть произведена сама эта склонность? Произведена она, в собственном смысле слова, быть не может; ведь человек не способен сделать из ничего нечто. Эта склонность, если наше предложение должно быть как-либо осуществимо, должна иметься изначально, и иметься у всех людей без исключения и быть им врожденной. Так дело действительно и обстоит. Ребенок, без всякого исключения, хочет быть правым и хорошим, никоим образом он не хочет, как молодой зверь, лишь чувствовать себя хорошо. Любовь есть основная составляющая человека; как только есть человек, есть и она, целиком и полностью, и к ней не может быть ничего добавлено, ведь она лежит выше растущего явления чувственной жизни и независима от нее. С этой чувственной жизнью связано только познание, и оно возникает и растет вместе с ней. Оно развивается лишь медленно и постепенно, с течением времени. Как же та врожденная любовь, до тех пор пока не возникнет упорядоченное целое понятий о правильном и добром, с которым мо-

жет связывать себя побуждающая склонность, должна осуществлять и развивать себя, преодолевая период незнания? Разумная природа без какого-либо нашего содействия устранила эту трудность. Отсутствующее у ребенка в его внутреннем мире осознание выступает перед ним внешне и воплощается в суждении мира взрослых. До тех пор, пока в нем самом не разовьется разумный судья, естественное стремление будет отсылать его к последнему, и, таким образом, совесть ему дается до создания ею себя в нем самом. Новое воспитание должно признать эту, до сих пор малоизвестную, истину и должно начать правильно руководить любовью, существующей без всякого его содействия. До сих пор эта непредвзятость и эта детская вера несовершеннолетних в большее совершенство взрослых употреблялись им во вред; именно их невинность и их естественная вера в нас давали нам возможность, до того как они становились способны отличать добро и зло, вместо добра, которого они внутренне хотели, взращивать в них нашу порочность, к которой они должны были бы чувствовать отвращение, если бы могли в нем разобраться.

Это самое большое преступление нашей эпохи; и этим целиком объясняется такое постоянно встречающееся явление, когда человек, как правило, тем хуже, эгоистичнее, мертвее для всех добрых побуждений, бесполезнее для любого правого дела, чем больше ему лет и чем он поэтому более удален от своих первых невинных дней, которые вначале еще дают тихий отзвук в чувстве добра. Тем самым далее доказано то, что нынешнее поколение, если в его дальнейшей жизни не

будет произведен резкий перелом, необходимым образом оставит после себя еще более испорченное потомство, а то, в свою очередь, — еще более испорченное. О таких людях один достойный почтения наставник человеческого рода говорит, что было бы лучше, если бы им вовремя повесили на шею мельничный жернов и утопили в самом глубоком месте моря. То, что человек рожден греховным, — самая пошлая клевета на человеческую природу; если бы это было правдой, как мог бы он воспринять понятие греха, которое возможно только в противоположность к безгрешности? Жизнь делает его грешником, и вся прежняя человеческая жизнь понимается, как правило, в качестве все большего увеличения греховности.

Сказанное в новом свете показывает необходимость заняться действительным воспитанием не откладывая. Если подрастающее юношество могло бы взроснуть без всякого соприкосновения со взрослыми и совершенно без воспитания, то можно было бы сделать попытку и посмотреть, что бы из этого получилось. Но если мы только допустим их в наше общество, их воспитание станет происходить само собой, вне зависимости от нашего желания и воли; они сами воспитают себя на нашем примере. Они проникнутся нашим способом действий как образцом, станут подражать нам даже и без наших требований этого и не будут стремиться ни к чему иному, кроме как к тому, чтобы стать как мы. Но мы, как правило, в большинстве своем порочны; отчасти не зная об этом и потому так же спокойно, как и наши дети, считаем нашу испорченность чем-то правильным. Но, если бы мы даже знали об этом,

как бы нам удалось в обществе наших детей внезапно отказаться от того, что долгая жизнь сделала нашей второй натурой, и заменить весь наш старый образ мысли и дух новым? Они должны развращаться, соприкасаясь с нами, — это неизбежно; если в нас есть искра любви к ним, то мы должны удалить их из нашей зачумленной атмосферы и создать для них более чистое место жизни. Мы должны ввести их в общество мужей, которые, пусть даже все вокруг останется в прежнем виде, все же посредством продолжительного упражнения и привычки научатся, по крайней мере, осознавать, что на них смотрят дети, будут способны, хотя бы на это время, брать себя в руки и будут знать, что можно демонстрировать детям. Мы сможем отпустить их обратно из этого общества в наше не раньше чем они как следует научатся презирать всю нашу порочность и не получают тем самым полного иммунитета к ней.

Вот что нам представлялось необходимым добавить здесь в общем о воспитании нравственности.

О том, что дети вместе со своими учителями и руководителями должны жить в полном обособлении от взрослых, мы уже упоминали неоднократно. И без наших дальнейших замечаний ясно, что оба пола должны будут воспитываться одинаковым образом. Обособление полов в специальных заведениях для мальчиков и девочек было бы нецелесообразно и препятствовало бы многим важным частям воспитания совершенного человека. Обоим полам будут преподаваться одинаковые предметы; существующее при работе различие легко может соблюдаться также и при общности воспитания. Малое общество, в котором они будут образовываться

как люди, должно состоять из обоих полов, так же как и большое, в которое они однажды вступят в качестве завершеного человека. Оба должны научиться обоюдно признавать друг в друге общую человечность и любить друг друга, иметь друзей и подруг до того, как они обратят свое внимание на различие полов и начнут становиться супругами. Также и отношение обоих полов друг к другу, отважная защита с одной стороны и полная любви помощь с другой, должно существовать в воспитательном заведении и образовываться в воспитанниках.

Если дело дойдет до осуществления нашего предложения, самым первым делом будет создать закон, регулирующий внутреннее устройство воспитательных заведений. Если только выдвинутое нами основное понятие хорошо постигнуто, то это будет очень легко сделать, и мы не намерены здесь на этом останавливаться.

Главное требование этого национального воспитания состоит в том, чтобы учеба и работа были объединены, чтобы заведение по меньшей мере казалось воспитанникам существующим за свой собственный счет и чтобы каждый сознательно стремился из всех своих сил содействовать этой цели. Этого требует непосредственно сама задача воспитания, даже и вне отношения к цели внешней осуществимости и экономности, которая, без сомнения, также должна учитываться нашим предложением. Отчасти уже просто потому, что все, проходящие национальное воспитание, относятся к трудящимся сословиям, и образование хорошего работника, без сомнения, есть часть их воспитания; но в

особенности потому, что обоснованная уверенность в том, что можно прожить на свете своими собственными силами и что для жизни не требуется чужого благодеяния, есть часть личной самостоятельности человека и обуславливает нравственную самостоятельность гораздо в большей степени, чем, по всей видимости, полагают. Это образование составит другую часть воспитания, как правило отдававшуюся до сих пор на откуп слепому случаю, ее можно было бы назвать хозяйственным воспитанием, она ни в коем случае не должна быть рассматриваема исходя из скудного и ограниченно-го воззрения, над которым насмеются под именем экономики, но исходя из более высокой нравственной точки зрения. Наше время зачастую выставляет в качестве недоступного никакому возражению основоположения убеждение в том, что, если хочешь жить, нужно лстить, ползать, позволять делать с собой все что угодно, и иначе и быть не может. Оно не понимает того, что, если даже не указывать на противоположное, героическое и при этом совершенно верное убеждение в том, что лучше умереть, чем жить недостойно, все же остается замечание, что должно было бы научиться жить с честью. Достаточно только узнать поподробнее о персонах, отличавшихся бесчестным поведением; всегда окажется, что они не умели работать или испытывали отвращение к работе, и, кроме того, они были плохими хозяйственниками. Поэтому питомец нашего воспитания должен стать трудолюбивым, чтобы быть недоступным искушению бесчестностью из-за заботы о пропитании, и в его душе, в качестве самого первого основоположения чести, должно глубоко запечатлеться

убеждение в том, что позорно хотеть быть обязанным пропитанием чему-либо другому кроме своего труда.

Песталоцци считает, что во время учебы нужно заниматься ремесленными работами. Хотя мы и не хотим отрицать возможности их объединения при выдвинутом им условии — когда ребенок уже полностью способен к ремесленным работам, нам все же представляется, что это предложение происходит из скудности его первой цели. Учеба, по-моему, должна быть представлена настолько священной и почетной, что для нее будет требоваться все внимание и собранность и что ею нельзя будет заниматься одновременно с другим делом. Если в то время года, которое воспитанники и без того проводят в помещении, они в рабочие часы будут заниматься такими работами, как вязанье, пряденье и т. п., то будет вполне целесообразным, чтобы дух оставался деятельным, под наблюдением одновременно упражнять дух. Но все же здесь главное — работа, и эти упражнения нужно рассматривать не как учебу, а просто как веселую игру.

Все работы этого более низкого рода вообще должны быть представляемы только как второстепенное дело, ни в коем случае не как основная работа. Основная работа — это работа в поле и огороде, скотоводство и те ремесла, которые необходимы воспитанникам в их маленьком государстве. Понятно, что участие в ней каждого должно быть в равновесии с телесной силой его возраста, а недостающая сила должна заменяться вновь изобретаемыми машинами и орудиями. Главное здесь заключается в том, чтобы они, насколько это возможно, понимали основания того, чем занимаются, чтобы они

уже до того получали необходимые для их предприятий сведения о выращивании растений, свойствах и потребностях тела животного, законах механики. Таким образом, с одной стороны, их воспитание будет уже последовательным изучением ремесла, которым они займутся в будущем, и в непосредственном созерцании будет образовываться мыслящий и разумный крестьянин; с другой стороны, их механическая работа будет уже сейчас облагорожена и одухотворена, в этом виде она — свидетельство в области свободного созерцания понимания того, что она есть работа ради пропитания, и они также и в обществе комьев земли и зверей останутся все же в сфере духовного мира, никогда не опустятся до последних.

Основной закон этого малого хозяйственного государства будет заключаться в том, что одежда, еда, и, насколько это возможно, орудия труда должны производиться в нем самом. Если это хозяйство будет нуждаться в поддержке извне, то ему будут доставляться предметы в их естественном виде, но только такие, какими обладает оно само, и таким образом, чтобы воспитанники не знали о том, что их выработка увеличилась, или, если последнее целесообразно, полагали, что получили все это только в виде займа и должны в определенное время вернуть его. Ради этой самостоятельности и этого самообеспечения целого каждый отдельный будет работать изо всех своих сил, не получая никакой оплаты за это и не претендуя на какую-либо собственность. Каждый знает, что он всем обязан целому и наслаждается или терпит нужду только в зависимости от того, как обстоят дела целого.

Посредством этого честная самостоятельность государства и семьи, в которые воспитанник должен будет однажды вступить, и отношение их отдельных членов к ним будет представлена живому созерцанию и неизгладимо укоренится в его душе.

При таком введении в механическую работу от общего национального воспитания отделяется заключенное внутри него и опирающееся на него воспитание ученого, и здесь стоит сказать о нем. Заключенное в общем национальном воспитании воспитание ученого, сказал я. Я оставляю открытым вопрос о том, можно ли будет в будущем каждому, кто полагает, что он способен изучать науку, или по каким-то причинам причисляет себя к прежним высшим сословиям, по собственному желанию вступать на принятый в прошлом путь воспитания ученого. Опыт покажет, как большинство этих ученых с приобретенной ими ученостью, если дело когда-нибудь дойдет до национального воспитания, отнесется, я не хочу сказать — к ученым, образованным в новой школе, даже к обыкновенному, прошедшему ее человеку. Я намерен говорить сейчас не об этом, а о новом способе воспитания ученого.

В соответствии с его основоположениями также и будущий ученый должен пройти через общее национальное воспитание и полностью и ясно усвоить его первую часть, развитие познания в ощущении и созерцании, и то, что связано с последним. Новое национальное воспитание может позволить войти в это состояние только мальчику, который выкажет выдающийся талант к учению и бросающуюся в глаза склонность к миру понятий. Но зато оно должно будет разрешать

это каждому, кто выкажет эти свойства, без исключений, не принимая во внимание мнимую разницу происхождения; ведь ученый существует не для своего собственного удобства, и каждый талант в этой области есть драгоценная собственность нации и не может быть у нее отнята.

Не являющийся ученым предназначен к тому, чтобы сохранять посредством себя самого человеческий род на том уровне образования, который родом уже достигнут, ученый — к тому, чтобы двигать его дальше в соответствии с ясным понятием и с помощью сознательного искусства. Последний должен быть всегда впереди современности посредством своего понятия, должен уметь схватывать будущее и быть способным привить его к настоящему для последующего развития. Для этого необходимы ясное виденье предшествующего состояния мира, свободная способность к чистому и независимому от явления мышлению и, для возможности общения, владение языком вплоть до его живого и творческого корня. Все это требует духовной самостоятельности, без какого бы то ни было внешнего руководства, одинокого размышления, в котором будущий ученый должен будет упражняться с того момента, когда определится его призвание, ни в коем случае — мышления под надзором постоянно присутствующего учителя, как происходит у неученого. Это потребует множества вспомогательных знаний, которые совершенно не нужны не являющемуся ученым в его деле. Именно это одинокое размышление станет работой ученого и его ежедневной задачей; его нужно сразу начинать вводить в эту работу, от других же механических работ, напротив,

освободить. Поскольку воспитание человека вообще в будущем ученом до этого момента шло без отличий от общего национального воспитания и он приучен к осуществляемому в нем обучению вместе со всеми, то для изучения того, что, собственно, потребуется для его будущей профессии, ему должны быть выделены те же урочные часы, которые для других будут часами работы; и только в этом и состояло бы различие. Он, без сомнения, приобретет общие сведения о земледелии, других механических искусствах и навыки в них, которые могут потребоваться любому человеку, проходя обучение уже в первом классе, или, если дело будет обстоять иначе, получит эти знания позже. Само собой понятно, что он не больше других может быть освобожден от вводимых телесных упражнений. В план этих речей не входят указания, какие предметы должны изучаться будущим ученым и каким должно быть обучение.

ОДИННАДЦАТАЯ РЕЧЬ

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТОТ ПЛАН ВОСПИТАНИЯ

План нового немецкого национального воспитания изложен в достаточной для нашей цели мере. Следующий вопрос, на который мы должны ответить, таков: кто должен стоять во главе осуществления этого

плана, на кого при этом стоит рассчитывать и на кого мы рассчитывали?

Мы выдвинули это воспитание в качестве высшей и единственно неотложной задачи любви к Отечеству, и намерены с его помощью исправить и перестроить весь человеческий род. Эта любовь к Отечеству должна сначала вдохновить немецкое государство, повсюду, где живут немцы, встать во главе и быть побудительной силой для всех его решений. Это значит, что в первую очередь мы с ожиданием смотрим на государство.

Исполнятся ли наши надежды? Чего мы можем ожидать не от особенного государства, а от всей Германии, как всегда и подразумевается?

В новейшей Европе воспитание исходило собственно не от государства, но от той силы, от которой в основном происходила и сила государств, от небесно-духовного царства церкви. Церковь рассматривала себя не как составную часть земной общности, но скорее как совершенно чуждое ей насаждение небес, ниспосланное для того, чтобы везде, где только оно сможет укорениться, привлекать граждан в это иное государство. Ее воспитание было направлено ни на что иное, кроме как на то, чтобы люди в ином мире были ни в коем случае не прокляты, но блаженны. Посредством реформации эта церковная сила, которая, впрочем, продолжала рассматривать себя как и прежде, была только объединена со светской властью, с которой прежде она очень часто приходила в противоречие; вот в чем состоит все различие в этом отношении, произошедшее из того события. Поэтому не изменился и взгляд на воспитание. И в новейшие времена, вплоть до нынеш-

него дня, образование более состоятельных сословий рассматривалось в качестве частного дела родителей, которое они устраивали в соответствии с собственными склонностями, дети же, как правило, направлялись лишь к тому, чтобы однажды стать полезными самим себе. Единственное же общественное воспитание, воспитание народа, было исключительно воспитанием для блаженства на небесах; главным было немного научить христианству, чтению и, если это было возможно, письму, все это ради христианства. Развитие людей во всех остальных отношениях было предоставлено случайному и слепому воздействию общества, в котором они росли, и самой действительной жизни. Даже заведения для воспитания ученых были преимущественно рассчитаны на образование духовных лиц; это был основной факультет, остальные были только его приложением, и в большинстве случаев только закончившие его считались выпускниками.

До тех пор пока те, кто находились на вершине власти, оставались в неведении в отношении ее собственной цели и даже сами были охвачены совестливой заботой о блаженстве, собственном и других, твердо можно было рассчитывать на их усердие в этом роде общественного воспитания и их серьезные усилия ради него. Но как только они разобрались в отношении первой и поняли, что сфера действия государства лежит внутри зримого мира, им должно было стать ясно, что эта забота о вечном блаженстве их подданных не может быть их задачей и что тот, кто хочет стать блаженным, сам должен усмотреть, как ему этого добиться. Отныне они полагали, что делают достаточно, если позволяют

заниматься своим делом учреждениям и заведениям, сохранившимся с более благочестивых времен. Они не считали себя обязанными несколько облегчить им достижение их целей, как бы мало те не отвечали и не удовлетворяли требованиям совершенно изменившегося времени, и не считали себя вправе деятельно вмешиваться, ставить на место устаревшего и непригодного целесообразное новое, на все предложения подобного рода у них всегда наготове был ответ: у государства нет на это денег. Если же когда-нибудь делалось исключение из этого правила, то это происходило в пользу самых высших учебных заведений, блистающих далеко вокруг и приносящих славу поддерживающим их. Но образование того класса, который составляет собственную почву человеческого рода, которым высшее образование все время пополняется, и на который последнее постоянно должно оказывать обратное воздействие, образование народа, оставалось без внимания и с Реформации по нынешний день находится в состоянии все более усиливающегося упадка.

Чтобы мы могли надеяться на лучшее будущее, и начиная с этой встречи в том числе и в отношении государства, необходимо, чтобы оно заменило то основное понятие о цели воспитания, которое имело, по всей видимости, до сих пор, на совершенно новое; чтобы оно усмотрело, что совершенно право в том, что прежде сняло с себя заботу о вечном блаженстве своих граждан, ведь для этого блаженства вовсе не требуется специального образования; что вовсе не существует такой школы для небес, как церковь, чья сила наконец передана ему, и что она только стоит на пути у всякого дельного образо-

вания и должна быть уволена от этого; что образование для жизни на Земле, напротив, крайне необходимо и что из основательного воспитания для нее само собой, как легкое добавление, получится воспитание для небес. Как представляется, государство до сих пор верит, и чем более просвещенным оно считает себя, тем более твердо, в то, что оно может достичь своей цели безо всякой религии и нравственности своих граждан, с помощью исключительно инструментов принуждения, и что граждане могут вести себя в отношении первых так, как им вздумается. На новом опыте оно могло бы научиться по меньшей мере тому, что оно этого не может и что оно оказалось там, где оказалось ныне, как раз из-за недостатка религии и нравственности.

Если бы государство сомневалось в том, что оно в состоянии покрыть расходы на национальное воспитание, его надо было бы убедить в том, что оно с помощью одной этой траты самым рачительным образом избавится от остальных и что в этом случае она вскоре останется его единственной крупной затратой. До сих пор самая большая часть доходов государства употреблялась на содержание постоянного войска. Мы видели, насколько такое употребление успешно, и хватит об этом; ведь в наши планы не входит более глубокое рассмотрение особенных оснований такого результата создания этого войска. То же государство, которое сделало бы предлагаемое нами национальное воспитание всеобщим, с того момента, когда поколение юношества прошло бы через него, напротив, не имело бы совершенно никакой потребности в специальном войске, но имело бы в их лице такое войско, какого еще

не видела ни одна эпоха. Каждый отдельный упражнением добился бы совершенного обладания своей телесной силой и всегда был бы готов ее применить, так как привык выносить любое напряжение сил и трудности; его дух, возросший в непосредственном созерцании, всегда оставался бы в бодрствующем состоянии и в себе самом: в его душе жила бы любовь целого, частью которого он является, государства и Отечества, уничтожающая всякое иное, эгоистичное побуждение. Государство сможет призвать их и поставить под ружье, как только ему это понадобится, и оно может быть уверенным, что их не разобьет никакой враг. Другая часть забот и расходов мудро управляемых государств до сих пор направлялась на улучшение экономики государства, в самом широком смысле и во всех ее ветвях, и здесь заботы и затраты частично пропадали напрасно из-за непонятливости и неумелости низших сословий, и дела повсюду продвигались очень мало. Посредством нашего воспитания государство создаст сословия трудящихся, с юности привыкших к размышлению о своих делах, способных и склонных самостоятельно помогать себе самим, а также понимающих государство с полуслова и с благодарностью выслушивающих его наставления, если у него возникнет потребность использовать их целесообразным образом. Все ветви экономики в короткое время без особых усилий расцветут так, как еще никогда не цвели, и государству, если только оно захочет произвести расчеты и если оно к тому времени сможет между делом узнать истинную ценность вещей, его первая трата принесет тысячекратные проценты. До сих пор государство должно было уделять много

внимания судебным и полицейским учреждениям, но все же не могло привести их в надлежащее состояние; каторжные тюрьмы и исправительные заведения требовали затрат; приюты для бедных в конце концов стали требовать тем больше, чем больше на них расходовалось, и стали в прежнем положении собственно заведениями, плодящими нищих. В государстве, которое сделает новое воспитание всеобщим, первых станет намного меньше, последние же совершенно исчезнут. Воспитание дисциплины в раннем возрасте предупреждает необходимость поздних, очень сомнительных попыток привить ее человеку и исправить его; бедных же у народа, воспитанного таким образом, не будет вообще.

Пусть государство и все, призванные в нем к совету, осмелятся и взглянут на свое собственное нынешнее положение и признаются себе в нем; пусть оно живо усмотрит, что ему не остается совершенно никакой другой сферы деятельности, в которой оно могло бы приводить себя в движение и принимать о чем-нибудь решения, кроме воспитания подрастающих поколений, и оно, если только хочет что-нибудь делать, может делать только это; но также, что эта заслуга будет полностью и неоспоримо принадлежать ему. Мы уже раньше приняли как бросающееся в глаза и признанное всеми, что мы больше не в состоянии оказывать деятельное сопротивление. Как нам теперь защитить продолжение нашего, неоправданного вследствие этого, существования от упрека в трусости и недостойной любви к жизни? Только тем образом, что мы решимся жить не для нас самих и воплотим это в действии; если

мы сделаем себя посевом более достойного потомства и только ради него будем сохранять себя до тех пор, пока не создадим его. Что другое мы могли бы еще сделать, потеряв ту первую цель жизни? Нам создадут конституции, нам укажут, в какие союзы нам вступать и как применять наши вооруженные силы, дадут нам законодательство, даже суд и приговор, и его исполнение будут иногда у нас забирать; в ближайшее время мы будем избавлены от этих забот. Не подумали только о воспитании. Мы ищем, чем бы нам заняться, дайте нам его! Можно надеяться на то, что нам не будут в нем мешать. Я надеюсь — может быть, я обманываю при этом самого себя, но так как я могу еще жить только ради этой надежды, то не могу от нее отказаться, — я надеюсь, что убедил некоторых немцев и привел их к усмотрению того, что от всех подавляющих нас бед нас может спасти только воспитание. У зарубежья есть другое утешение и другие средства; не стоит полагать, что эта мысль, если она станет ему известна, привлечет его внимание или веру. Я полагаю, что это скорее станет неиссякаемым источником веселья для читателей их журналов, когда они узнают, что кто-то ожидает столь многого от воспитания.

Пусть государство и те, кто в нем призваны к совету, не станут более вяло делать свое дело из-за того, что ожидаемый результат придет не скоро. Если хотеть выделить среди многообразных и в высшей степени перепутанных причин, повлекших за собой нашу нынешнюю судьбу, ответственность за которую несут исключительно и только наши правительства, то окажется, что те, кто преимущественно среди прочих имеют сво-

ей задачей усматривать будущее и управлять им, при большом потоке великих событий все время старались, насколько это было в их силах, выйти лишь из непосредственно современных затруднений; в отношении же будущего они рассчитывали не на настоящее, а на какой-нибудь счастливый случай, который прервал бы постоянную нить причин и действий. Но надежды такого плана обманчивы. Движущая сила, однажды допущенная в эпоху, продолжает действовать и проходит свой путь до конца, и, после того как ее допустили, приходящее слишком поздно осознание не может ее удержать. Наша судьба на ближайшее будущее избавила нас от первого, размышлений только о современности, современность больше не наша. Не стоит нам оставаться и при втором — ожидании лучшего будущего не от нас самих, а от чего-нибудь другого. Правда, никто из нас, если только он ждет от жизни чего-то большего, чем пропитание, не может утешать современность указанием на то, что должно жить; мы можем дышать только в атмосфере надежды на лучшее будущее. Но только мечтатель может основывать эту надежду не на своих возможностях развивать будущее в настоящем. Если бы те, кто правит нами, позволили нам думать о них так же хорошо, как мы думаем о себе среди нас самих и как наилучший ощущает себя; если бы они встали во главе так же и нам совершенно ясного дела, чтобы мы могли увидеть, как с немецкого имени будет смыт причиненный ему на наших глазах позор!

Если государство возьмет на себя предлагаемую ему задачу, то оно сделает это воспитание всеобщим, по всем своим землям, для каждого своего новорожденного

гражданина без исключения; и мы нуждаемся в государстве только для этой всеобщности, так как для отдельных опытов и попыток там и сям было бы, пожалуй, достаточно и средств благонамеренных частных лиц. Но, впрочем, не стоит ожидать того, что все родители будут готовы расстаться со своими детьми и передать их в руки этого нового воспитания, дать понятие о котором им будет трудно. В соответствии с прежним опытом стоит ожидать того, что каждый, кто только будет считать, что у него достаточно средств, чтобы прокормить своих детей, выступит против общественного воспитания, и в особенности против так строго изолирующего и так долго продолжающегося. В таких случаях, когда ожидается сопротивление, от государственных мужей привыкли слышать отказ от такого предложения на том основании, что государство не имеет права использовать принуждение для этой цели. Поскольку они ныне хотят дожидаться того, чтобы все люди имели добрую волю, а без воспитания всеобщая добрая воля появиться не может, то они тем самым защищены от любого улучшения и могут надеяться на то, что все останется по-прежнему до скончания дней. Их добросовестность стоит похвалить, если они или вообще держат воспитание за ненужную роскошь, в отношении которой нужно быть как можно более экономным, или видят в нашем предложении лишь новый смелый опыт в отношении человечества, который может удалиться, а может и нет. Тех, кто поражен прежним состоянием общественного образования и восхищен тем, до какого совершенства оно поднялось под их руководством, совершенно невозможно побудить к тому, чтобы они пошли на то, что

им еще не известно. Все перечисленные бесполезны для нашей цели, и было бы печально, если бы на их долю выпало принимать решение в отношении этого дела. Но если бы нашлись и оказались привлечены к совету государственные мужи, которые в первую очередь дали себе воспитание посредством глубокого и основательного изучения философии и науки вообще, которые самым серьезным образом относятся к своему делу, которые обладают твердым понятием о человеке и его назначении, которые способны постичь современность и понять, в чем человечество сейчас крайне нуждается; тогда на основе этих предварительных знаний они усмотрели бы сами, что только воспитание может спасти нас от варварства и одичания, которое в противном случае неуклонно обрушится на нас. Если бы им предносился образ нового поколения людей, которое возникло бы посредством этого воспитания, они сами были бы внутренне убеждены в безошибочности и надежности предложенных средств. От них можно было бы ожидать, что они поймут: государство в качестве высшего управителя человеческих дел и опекуна незрелых, ответственного только перед Богом и своей совестью, имеет полное право принуждать последних ради их блага. Есть ли где-нибудь ныне государство, которое сомневается в том, что оно имеет право принуждать своих подданных к военной службе и забирать у родителей для этих целей детей, не обращая внимания на то, что некоторые из них или даже все они этого не хотят? И это при том, что такое принуждение, пресекающее против собственной воли привычный образ жизни, гораздо более сомнительно и

часто ведет к дурным последствиям в отношении нравственности, здоровья и жизни подвергающихся принуждению. В то же время то принуждение, о котором говорим мы, полностью возвращает личную свободу после завершения воспитания и не может иметь никаких других последствий, кроме как здравых. Раньше военная служба была, пожалуй, предметом свободного выбора; но после того, как выяснилось, что этого недостаточно для поставленных целей, тотчас решили помочь делу с помощью принуждения; потому что это было достаточно важным для нас делом, и нужда повелела прибегнуть к принуждению.⁴³ Если также и в этом отношении мы раскроем себе глаза на нашу нужду и этот предмет станет для нас таким же важным, то сомнения отпадут сами собой. То первое принуждение к военной службе будет снято посредством этого, поскольку так воспитанные в равной мере будут готовы взяться за оружие ради Отечества, к тому же принуждение потребуется только в первом поколении и станет ненужным в последующих, которые сами его пройдут. Если, чтобы вначале не поднималось слишком много крика, захотят ограничить это принуждение к общественному воспитанию таким же образом, каким до сих пор было ограничено принуждение к военной службе, и сословия, освобожденные от последней, освободить также и от того, то это не будет иметь значительных негативных последствий. Разумные родители из числа освобожденных передадут своих детей этому воспитанию добровольно. Другие, относительно целого немногочисленные дети неразумных родителей из этих сословий могут продолжать расти, как прежде, и дожить

до создаваемой лучшей эпохи, служа исключительно только в качестве примечательного воспоминания о старых временах и для того, чтобы возбуждать в новом живое знание о своем великом счастье.

Если это воспитание должно быть национальным воспитанием немцев вообще и если новым поколением должно стать большинство говорящих на немецком языке, а не только граждане того или иного особенного немецкого государства, то все немецкие государства, каждое само по себе и независимо от всех остальных, обязаны взять на себя эту задачу. Язык, на котором это дело впервые было начато, в котором были найдены и далее будут отыскиваться средства его осуществления, в котором будут упражняться учителя, пронизывающий все это Единый строй символики, — общий для всех немцев. Я не могу себе и представить, как и с помощью каких изменений эти образовательные средства в целом, в особенности в том объеме, какой мы придали плану, могли бы быть перенесены в какой-нибудь язык зарубежья так, чтобы это выступало не в качестве чужого и переведенного, но в качестве своего и происходящего из собственной жизни их языка. Все немцы равным образом свободны от этого затруднения; для них это ясное дело и им надо только приступить к нему.

И для нас очень хорошо, что еще существуют разные и отделенные друг от друга немецкие государства! То, что так часто наносило нам ущерб, в этих важных национальных делах может, пожалуй, сослужить нам хорошую службу. Может быть, соревнование многих и желание опередить друг друга сделают то, чего не произвела бы спокойная самоудовлетворенность одно-

го; ведь ясно, что то из немецких государств, которое положит этому начало, приобретет больше уважения, любви, благодарность целого, первенство, в его глазах оно будет самым настоящим благодетелем, собственным основателем нации. Оно будет ободрять остальных, подавать им поучительный пример и станет образцом для них. Оно устранил сомнения, в которых они запутались; из его лона выйдут и будут даны другим учебники и первые учителя; и тот, кто вторым сделает это за ним, тот будет почтен вторым. Радующим свидетельством того, что немцы еще не полностью умерли для высшего, является то, что до сих пор многие немецкие племена и государства оспаривали друг у друга славу наиболее образованных. Одни имели самую широкую свободу прессы, самое свободное отношение к высказываемым мнениям, другие — лучше устроенные школы и университеты, одни имели прежнюю славу и заслуги, другие ввели у себя что-то иное, и спор не мог прекратиться. Нынешний повод продолжит его. Только то образование, которое стремится к тому и отваживается на то, чтобы сделать себя всеобщим и охватить всех людей без различия, есть действительная составная часть жизни и уверено в себе самом. Всякое другое есть чужое украшение, которое надевают лишь ради блеска и которое носят на себе даже не с чистой совестью. В связи с этим должно будет выясниться, где образование, которым хвалятся, присутствует только у небольшого числа представителей среднего сословия, излагающих его в письменных произведениях, каковых может предъявить любое немецкое государство; а где оно, напротив, поднялось и до высших сословий, со-

ветников государства. Далее станет также ясно, как нужно оценивать там и сям демонстрируемое усердие в создании и возделывании учебных заведений, лежит ли в его основе чистая любовь к образованию человека, которая ведь с равным усердием должно охватить все его ветви и, в особенности, самое первое его основание, или в основе его — жажда блистать, а может быть, и убогие финансовые спекуляции.

То немецкое государство, которое первым начнет осуществлять это предложение, заслужит наибольшую славу, сказал я. Но далее, это государство не будет долго пребывать в одиночестве и вскоре, без сомнения, найдет себе последователей и подражателей. Главное начать. Пусть даже одно вслед за другим погонит, заставит следовать примеру всего лишь самолюбие, ревность, жажда тоже иметь то, что есть у другого, и, если возможно, иметь лучшее. Затем в живом созерцании будут подтверждены и станут внятнее приведенные нами выше соображения о собственной выгоде государства, которые многим, вероятно, ныне могут представляться сомнительными.

Если бы можно было ожидать, что прямо сейчас и с этой минуты все немецкие государства серьезнейшим образом примутся за осуществление этого плана, то уже через двадцать пять лет могло бы существовать то лучшее поколение, которое нам необходимо, и тот, кто мог бы надеяться дожить до этих времен, увидел бы его своими глазами.

Но если, такой случай мы также, разумеется, должны принимать в расчет, среди всех ныне существующих немецких государств не найдется ни одного, в числе выс-

ших лиц которого был бы человек, способный усмотреть все предыдущее и быть охваченным этим, и в котором большинство советников по меньшей мере не стали бы мешать ему; то это дело, конечно, выпало бы на долю благонамеренных частных лиц и пришлось бы ждать того, что они начнут осуществлять предложенное новое воспитание. Наш взгляд в первую очередь обратится тогда на крупных землевладельцев, которые могли бы в своих имениях создать такие воспитательные заведения для детей своих подданных. Германия славится и самым почетным образом выделяется среди прочих наций новой Европы тем, что среди представителей названного сословия по-прежнему то тут, то там встречаются многие, сделавшие своим серьезным занятием заботу об обучении и образовании детей в своих владениях и стремящиеся дать им лучшее из того, что им известно.⁴⁴ Можно надеяться, что они и сейчас будут склонны учиться более совершенному, предлагаемому им, и также охотно возьмутся за более великое и радикальное, как они до сих брались за менее значительное и совершенное. Этому, пожалуй, отчасти могло бы содействовать также и то соображение, что для них самих выгоднее иметь образованных подданных, чем необразованных. Там же, где государство посредством отмены личной зависимости⁴⁵ устранило эту последнюю движущую силу, там оно тем более серьезно должно осмыслить свой неизбежный долг и не уничтожать сразу то хорошее, что у благорасположенных людей было связано с этими отношениями, не упуская делать то, что и без того является его обязанностью после отстранения им тех, кто добровольно делал это за него. Далее обратим свой взор

на города, на добровольные объединения благонамеренных граждан, созданные для этой цели. Склонность к благотворительности, насколько я могу видеть, все еще не угасла в немецких душах под грузом бед. Из-за больших недостатков в наших учреждениях, которые в совокупности можно назвать пребывающим в небрежении воспитанием, эта благотворительность все-таки редко идет на пользу, как представляется, даже часто умножает беды. Эту прекрасную склонность необходимо направить преимущественно на то благое дело, которое положит конец всем бедам и всякой дальнейшей благотворительности, на благое дело воспитания. Но мы нуждаемся еще и в благодеянии и рассчитываем на жертвы другого рода, состоящие не в дарении, но в деятельности и свершении. Пусть начинающие ученые посвятят время от окончания университета до поступления на службу изучению способа обучения в этих заведениях и преподаванию в них! Не считая того, что они посредством этого сослужат большую службу для целого, они сверх того могут быть совершенно уверены в том, что сами получают наибольший выигрыш от этого. Все их знания, которые они часто выносили из университетского обучения совершенно мертвыми, получают в стихии всеобщего созерцания, в которой они окажутся при этом, ясность и живость. Они научатся умело передавать и употреблять их. Они добудут, так как в ребенке открыто и невинно лежит вся полнота человечности, сокровище истинного познания человека, которое одно только и заслуживает этого имени. Они научатся великому искусству жизни и действия, в котором высшая школа, как правило, не наставляет.⁴⁶

Если государство не возьмется за решение предлагаемой ему задачи, то тем бóльшая слава ожидает частных лиц, которые возьмут его на себя. Давайте не будем гадать о будущем или высказывать сомнение и недоверие, мы ясно высказали, на что в первую очередь направлены наши устремления. Да будет нам позволено еще только одно замечание: если действительно случится так, что государство и князья оставят дело на попечение частных лиц, то это будет соответствовать прежнему, уже выше отмеченному и доказанному с помощью примеров ходу немецкого развития и образования, и до конца он пребудет неизменным. Также и в этом случае государство в свое время последует этому примеру, как сделал бы это отдельный человек, который хочет взять на себя свою долю участия, пока не поймет, что оно не часть, но целое и что оно как имеет право, так и обязано заботиться о целом. С этой минуты все самостоятельные старания частных лиц станут ненужными и подчинятся всеобщему плану государства.

Если дело примет такой оборот, то желанное улучшение нашего рода станет, хотя и медленно, и без точного и надежного понимания целого и расчета, продвигаться вперед. Но это не должно удерживать от того, чтобы начать! В самой природе этого дела заключено то свойство, что оно не может исчезнуть, но, будучи однажды начато, продолжает жить посредством самого себя и распространяется все шире. Каждый, прошедший через это образование, станет его свидетелем и усердным распространителем; каждый оплатит за учебу тем, что сам станет учителем и возьмет столько

учеников, сколько сможет, и они также однажды станут учителями; и так будет продолжаться до тех пор, пока целое не будет охвачено без всякого исключения.

В случае, если государство не захочет заниматься этим делом, то частным заведениям стоило бы опасаться того, что никто из более-менее состоятельных родителей не доверит своих детей этому воспитанию. Обратитесь тогда с именем Божиим и в полной уверенности на бедных сирот, валяющихся в полной нищете по улицам, на всех, кого взрослый мир оттолкнул и выбросил! Так до сих пор, в особенности в тех немецких государствах, в которых набожность предков сильно приумножила и богато снабдила общественные воспитательные заведения, немало родителей отдавали в них своих детей для обучения, потому что там дети, как ни при каком другом ремесле, могли найти себе наряду с обучением и пропитание; и вот мы вынуждены оборачиваться и подавать хлеб тем, кому в противном случае никто его не дал бы, чтобы вместе с хлебом они получили и духовное образование. Не надо бояться того, что убожество и дикость их прежнего состояния воспрепятствует нашему намерению! Надо только быстро и полностью вырвать их из него и поместить в совершенно иной мир; не надо оставлять у них ничего, что могло бы напомнить о старом, и таким образом они забудут себя самих и появятся в качестве новых, только что созданных существ. Устройство нашего обучения и распорядок жизни должны гарантировать нам то, что на этой новой и чистой доске будет выгравировано только благое. То, что именно те, кого наша эпоха оттолкнула, посредством одного только этого

отталкивания получают преимущественное право стать началом лучшего поколения, должно стать для всех потомков предостерегающим свидетельством в отношении нашей эпохи тогда, когда они принесут отрадное образование детям тех, кто не хотел находиться с ними вместе, и когда от них произойдут наши будущие герои, мудрецы, законодатели и спасители человечества.

Вначале в первую очередь потребуются подходящие учителя и воспитатели. Школа Песталоцци выпускает таких и всегда готова выпускать еще больше. Важнее всего обращать вначале внимание на то, чтобы каждое заведение этого рода рассматривало себя одновременно и в качестве питомника учителей и чтобы вокруг уже зрелых учителей собирались молодые люди, которые учились бы преподавать и одновременно упражнялись бы в преподавании, приобретая посредством этих упражнений необходимый опыт. Это очень облегчит поиск кадров, в случае если этим заведениям придется сначала бороться с нуждой. Большинство людей само хочет учиться; и они могли бы в качестве платы за обучение некоторое время применять изученное с пользой для заведения, в котором учились.

Такому заведению потребуются, далее, крыша над головой, элементарное оборудование и какие-то угодья. Ясно, что воспитанники в дальнейшем, достигнув того возраста, когда после предшествующей подготовки будут уже в состоянии не только зарабатывать в качестве прислуги на собственное пропитание, но и получать годовую заработную плату, оставят заведение на попечение более слабых, и эти заведения, при необходимом трудолюбии и мудром ведении хозяйства, смогут

содержать себя в основном сами. Вначале, пока таких воспитанников еще не будет, содержание этих заведений потребует больших затрат. Можно надеяться, что на траты, которым вскоре предвидится конец, пойдут охотнее. Не стоит экономить во вред цели; и, если мы пойдем на них, будет лучше, чем если бы мы вообще ничего не сделали.

И таким образом, я полагаю, что, если будет добрая воля, осуществление этого плана не встретит никаких трудностей, которые не могли бы быть с легкостью преодолены посредством объединения многих и направления всех их сил на эту единую цель.

ДВЕНАДЦАТАЯ РЕЧЬ

О СРЕДСТВАХ, КОТОРЫМИ МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ

То воспитание, которое мы предлагаем немцам в качестве их будущего национального воспитания, описано в достаточной мере. Когда появится поколение, которое получит его, поколение, побуждаемое только собственным вкусом к правому и хорошему, и больше ничем иным, снабженное рассудком, который в достаточной для своего положения мере уверенно познает во всем верное, вооруженное всеми духовными и телесными си-

лами, чтобы всегда добиваться желаемого; тогда все то, чего мы могли пожелать в наших самых смелых мечтах, произойдет само собой вследствие его существования и произрастет из него естественным образом. Это время так мало нуждается в наших предписаниях, что, скорее, мы должны были бы у него поучиться.

Так как этого поколения пока еще нет, но оно еще только должно быть воспитано, и, даже если все будет идти согласно нашим ожиданиям, для достижения нашей цели понадобится все же достаточно продолжительный промежуток времени, то сам собой напрашивается вопрос: как нам пережить это время? Как нам, поскольку мы не можем лучшего, сохранить себя по меньшей мере как почву, на которой может произойти исправление, и как исходную точку, с которой оно может начаться? Как нам воспрепятствовать тому, чтобы, когда так образованное поколение выйдет из своего обособления и покажется среди нас, оно восприняло нас как действительность, которая не имеет ничего родственного с тем порядком вещей, который оно постигает как правый, и в которой его никто не понимает и не имеет ни малейшего желания или потребности в таком порядке вещей, а имеющееся рассматривается в качестве совершенно естественного и единственно возможного? Не впадут ли очень скоро носящие в своей груди совершенно иной мир в заблуждение и не заглохнет ли новое образование таким же бесполезным для улучшения действительной жизни образом, как заглохло прежнее образование?

Если большинство продолжит существовать в своей прежней небрежности, бездумности и рассеянности,

то как неизбежного результата стоит ожидать именно этого. Тот, кто позволяет себе жить, не обращая внимания на себя самого, а обстоятельствам — формировать себя, как им угодно, тот быстро привыкает к любому возможному порядку вещей. Как бы сильно не оскорбляло его взгляда что-нибудь, что он видит впервые, если оно ежедневно появляется вновь, то он привыкает к нему, а позже находит его естественным и именно так и должным быть и в конце концов охотнее видит его, и восстановление первого, лучшего состояния мало бы принесло ему, так как оно вырвало бы его из уже привычного ему состояния. Таким образом привыкают даже к рабству, если только наше чувственное существование не претерпевает от него вреда, и со временем даже начинают его хотеть; и в порабощенности самое опасное состоит как раз в том, что она тупеет в отношении всякой истинной чести и обладает даже отрадной для обремененного стороной, поскольку избавляет его до некоторой степени от забот и от самостоятельного мышления.

Не будем же поддаваться сладостному восторгу прислуживания, ведь он лишит даже наших потомков надежды на будущее освобождение! Если наша внешняя деятельность будет закована в кандалы, то мы смело должны возвысить наш дух до мысли о свободе, до жизни в этой мысли, до желания и жажды только ее одной. Пусть свобода на некоторое время исчезнет из видимого мира, мы дадим ей прибежище в самом сердце наших мыслей, до тех пор пока вокруг нас не вырастет новый мир, который будет иметь силы воплотить ее также и вовне. Из того, что, без сомнения,

останется послушно нашему свободному усмотрению, из нашей души сделаем прообраз, пророчество, залог того, что станет действительностью после нас. Давайте не позволим склонить, подчинить, заключить в темницу вместе с нашим телом и наш дух!

Если меня спросят, как этого достичь, то единственно возможным, все в себе заключающим ответом будет следующий: мы должны стать именно тем, чем должны были быть и без того, немцами. Мы не должны склониться духом. Так мы в первую очередь приобретем дух, твердый и сознательный дух. Мы должны ко всему относиться серьезно, а не просто продолжать существовать легкомысленно и лишь ради шуток. Мы должны создать себе состоятельные и непоколебимые основоположения, которые будут служить всему нашему остальному мышлению и нашему действию надежной путеводной нитью, жизнь и мышление у нас должны быть отлиты из одного куска, быть пронизывающим себя и беспримесным целым. В обоих мы должны будем соответствовать природе и истине и отбросить чуждую премудрость. Мы должны, одним словом, приобрести характер, ведь иметь характер и быть немцем означает, без сомнения, одно и то же, и это не имеет в нашем языке никакого специального названия, потому что оно, без всякого нашего знания и осмысления, должно именно непосредственно происходить из нашего бытия.

Мы должны в первую очередь с помощью самостоятельного движения нашей мысли обдумать великие события наших дней, их связь с нами и то, чего мы можем от них ожидать, создать себе ясный и твердый

взгляд на все эти предметы, решительное и неизменное «да» или «нет» в отношении связанных с ними вопросов; это обязан сделать каждый, кто имеет хотя бы малейшую претензию на образование. Животная жизнь человека во все времена протекает по одним и тем же законам, и в этом все времена одинаковы. Разные времена существуют только для рассудка, и только тот, кто проникает их понятием, проживает их и существует для этого своего времени; всякая другая жизнь — это только животная и растительная жизнь. Пропускать, не воспринимая того, что здесь происходит, может быть даже намеренно закрыть глаза и уши для потока событий, может быть даже похвалиться этой бездумностью как великой мудростью, уподобиться скале, которая не ощущает разбивающихся о нее волн, или стволу дерева, не замечающему треплющей его бури, ни в коем случае не достойно мыслящего существа. Даже парение в высших сферах мышления не освобождает от этой всеобщей обязанности понимать свое время. Все высшее должно хотеть повлиять по-своему на непосредственную современность, и тот, кто поистине живет в нем, живет также и в последней, и если бы он не жил в ней, то это было бы доказательством того, что он также не живет и в том, но только мечтает о нем. Такого невнимания к тому, что происходит на наших глазах, и искусственного отведения все-таки появляющегося внимания на другие предметы, — вот чего больше всего хотел бы встретить враг нашей самостоятельности. Если он будет уверен, что мы ни о чем не думаем, то он сможет сделать с нами все, что захочет, как с безжизненным орудием; именно бездумность привыкает

ко всему, но там, где продолжает бодрствовать ясная и охватная мысль, а в ней — образ того, что должно быть, там не появляется привычка.

Эти речи сначала предложили Вам, а Вы предложите всей немецкой нации, насколько ныне возможно собрать ее вокруг себя посредством книгопечатания, в себе самих принять твердое решение и прийти в согласие с самими собой в отношении следующих вопросов: 1) Правда или нет, что существует немецкая нация и что продолжение ее существования в ее собственной и самостоятельной сущности находится ныне под угрозой? 2) Стоит ли стараться ее сохранить или не стоит? 3) Есть ли надежное и радикальное средство ее сохранения и что это за средство?

Прежде у нас было в обычае, что, если раздавалось, устно или в печати, какое-нибудь серьезное слово, светская болтовня набрасывалась на него и от гнетущей скуки делала его материей развлекательных бесед. Сейчас я сразу заметил, что мои нынешние доклады не получили такого употребления, как прежде; в современном тоне общественного мнения в области печати, я имею в виду литературные газеты и журналы, я не услышал никакого отзвука и не знаю, ждать ли мне от него шуток или серьезного отношения. Как бы там ни было, в мои намерения не входило шутить и снова приводить в движение известное остроумие нашей эпохи.

Среди немцев еще глубже укоренился, стал почти что второй природой, так что о противоположном и не слышно, обычай рассматривать все совершаемое в качестве призыва к каждому, у кого только есть рот, мгно-

венно и сразу добавлять свое слово об этом и сообщать нам, придерживается ли он также этого мнения или нет; и после такого голосования считают, что с делом уже покончено и общественная дискуссия может поспешать к новому предмету. Таким образом, все литературное сообщение превратилось у немцев, как эхо в старом мифе,⁴⁷ в голый чистый звук, бесплотный и бессодержательный. Как в известном дурном обществе, так и здесь важно, чтобы голос человека звучал повсюду, и каждый, без промедления, мог бы его услышать и передать соседу, а о чем идет речь — это не важно. Что же тогда бесхарактерность и не немецкость, если не это? В мои намерения не входило следовать этому обычаю и только лишь возбуждать общественную дискуссию. Я уже давно, и именно потому, что я хотел кое-чего другого, в достаточной мере отдал дань публичным обсуждениям, и меня, наконец, можно было бы освободить от них. Я вовсе не хочу сию минуту знать, что тот или этот думает о поднятых вопросах, т. е. как он до сих пор об этом думал, а может, и не думал. Он должен размышлять и обдумывать это в одиночестве до тех пор, пока не создаст совершенно ясного суждения, что займет у него некоторое время. Если кто-нибудь создал себе таким образом ясное суждение, то не стоит от него сразу требовать, чтобы он высказал его публично. Если оно согласуется со сказанным, то это уже сказано и нет необходимости его повторять, только того, кто может сказать что-то другое и лучшее, стоит призывать высказаться; в противном случае каждый должен действительно жить и действовать в соответствии со своим соображением и положением.

Я, наконец, меньше всего стремился к тому, чтобы представить нашим мастерам учения и сочинения в виде этих речей письменное упражнение, которое они исправили бы, и я узнал бы отсюда, на что могу надеяться в отношении себя. В этом плане я уже досыта наслушался добрых наставлений и советов, и если можно было бы ожидать, что я исправлюсь, то это как-то уже стало бы заметно.

Нет, моим намерением было вывести из роя вопросов и исследований, из толпы противоречивых мнений о них, в которой до сих пор метались наши образованные люди, столько, сколько бы я смог, к пункту, в котором они смогли бы обрести опору, самому близкому нам пункту наших собственных общих дел; привести их в этом едином пункте к твердому мнению, которое бы они отныне не изменили, и к ясности, в которой они действительно бы разобрались; и, как бы ни спорили они об остальном, в отношении этого Одного по меньшей мере создать у них единодушие; таким образом выразить, наконец, основную устойчивую черту немцев — считать важным иметь мнение о своих делах; и тот, кто не хочет слышать и думать об этом предмете, мог бы отныне с полным правом рассматриваться как не принадлежащий к немцам.

Создание такого устойчивого мнения, объединение и взаимопонимание многих в отношении этого предмета, так же как и непосредственно спасение нашего характера от нашей недостойной расплывчатости, станет одновременно и мощным средством достижения нашей главной цели — введения нового национального воспитания. Наши правительства, которые, впрочем,

слишком часто искали совета и слушали нас, были вводимы в заблуждение и колебались туда-сюда именно потому, что мы сами, как каждый наедине с собой, так и все между собой, никогда не были в согласии, сегодня хотели одного, завтра — другого, и каждый в глухом шуме вопил о своем. Если общие дела должны однажды пойти, наконец, неизменным и сознательным ходом, то что мешает тому, чтобы мы начали с себя и дали пример решительности и неизменности? Пусть лишь однажды единодушно прозвучит единое мнение, пусть будет ощущена потребность, решительная и заявляющая себя в качестве всеобщей, потребность, как мы полагаем, в национальном воспитании. Я считаю, что наши правительства услышат нас, станут нам помогать, если мы покажем, что готовы принять помощь. В противоположном случае мы будем иметь по меньшей мере право жаловаться; ныне же, поскольку наши правительства примерно таковы, каковы мы сами, жалобы нам мало подобают.

Есть ли надежное и радикальное средство для сохранения немецкой нации и что это за средство? — вот самый важный вопрос среди тех, которые я предложил этой нации решить. Я ответил на него и изложил основания такого ответа ни в коем случае не для того, чтобы предписать истину в последней инстанции, что ничем бы не помогло, поскольку каждый из тех, кто должен приложить руку к этому делу, должен был убедиться в этом в своей собственной душе посредством собственной деятельности, но только лишь для того, чтобы побудить к собственному размышлению и суждению. Отныне я должен предоставить каждого ему

самому. Я могу только еще предостеречь Вас, чтобы Вы не давали плоским и поверхностным мыслям об этом предмете, также находящимся в обороте, обмануть Вас, удержать Вас от более глубокого размышления и успокоить Вас ничтожными утешениями.

Нам, например, приходилось слышать еще задолго до последних событий, как бы про запас, и нам с тех пор это часто повторяли, что, даже если мы потеряем нашу политическую самостоятельность, мы сохраним наш язык и нашу литературу и в них сможем остаться нацией и легко утешиться этим в отношении всего остального.

На чем, во-первых, основывается надежда на то, что мы и без политической самостоятельности все же сохраним наш язык? Ведь не приписывают же те, кто так говорят, эту чудотворную силу своим увещаниям и обращениям к детям, детям детей и ко всем будущим столетиям? Ныне живущие и сформировавшиеся люди привыкли говорить, писать и читать на немецком языке и, без сомнения, продолжают это делать; но что будет делать следующее поколение, а третье? Какой противовес собираемся мы вложить в эти поколения, чтобы он перевесил стремление и в языке, и в письменности подражать тому, кому принадлежит весь блеск и кто распоряжается всем привлекательным? Не приходилось нам разве слышать об одном языке, что он — первый в мире, хотя и с признаниями, что на нем еще только предстоит создать первые произведения, и разве уже сейчас на наших глазах на нем не появляются произведения, посредством содержания которых надеются понравиться? Ссылаются на пример двух других языков,

одного — древнего мира,⁴⁸ другого — нового, которые сохранились в качестве живых языков, несмотря на политическое исчезновение народов, говоривших на них. Я не намерен даже вдаваться в то, каким образом они продолжают существовать; но даже с первого взгляда ясно, что они имели в себе нечто, чего нет в нашем, посредством чего они были помилованы одержавшими верх, чего никогда не может случиться с нашим. Если бы эти утешители внимательнее осмотрелись вокруг, они бы нашли, по нашему соображению, более подходящий пример — венедский язык.⁴⁹ И он продолжает существовать уже целый ряд столетий после того, как его народ потерял свободу, собственно — в бедных хижинах привязанных к куску земли крепостных, чтобы они, не понимаемые своими угнетателями, могли оплакивать свою судьбу.

Или, предположим, что наш язык останется живым и языком писателей и так сохранит свою литературу; но что это будет за литература, литература народа без политической самостоятельности? Чего хочет разумный писатель и чего он может хотеть? Ничего иного, кроме как влиять на всеобщую и общественную жизнь, формировать и преобразовывать ее по своему образу; и если он не хочет этого, то все его речи — пустой звук, щекочущий праздные уши. Он хочет мыслить изначально и из корня духовной жизни для тех, кто так же изначально действует, т. е. правит. Он может поэтому писать только на том языке, на котором мыслят правящие, на том языке, на котором правят, на языке народа, который составляет самостоятельное государство. К чему, в конце концов, направлены даже все наши

старания в отношении самых отвлеченных наук? Пусть ближайшая цель этих стараний — передача науки от поколения к поколению; но зачем же она должна сохраняться? Явным образом только затем, чтобы в свое время сформировать всеобщую жизнь и весь человеческий порядок. В этом ее конечная цель; соответственно этому любое научное устремление опосредованным образом, пусть даже и в отдаленном будущем, служит государству. Если она откажется от этой цели, то потеряет свое достоинство и самостоятельность. Но тот, перед кем стоит эта цель, должен писать на языке господствующего народа.

Как, без сомнения, верно, что повсюду, где встречается особый язык, есть и особая нация, которая имеет право самостоятельно заботиться о своих обстоятельствах и управлять собой; также верным будет и обратное: когда народ перестает управлять собой, он обязан также отказаться от своего языка и слиться с одержавшими верх, чтобы возникло единство, а внутренний мир и отношения, которых больше нет, должны быть полностью преданы забвению. К этому будет вести дело даже не самый умный зачинатель этого смешения, и мы можем быть уверены, что в нашем случае к этому будут стремиться. До тех пор пока это слияние не произойдет, будут осуществляться переводы предоставляемых учебников на язык варваров, т. е. тех, кто слишком глуп для того, чтобы выучить язык господствующего народа, и именно из-за этого не имеет никакого влияния на общественную жизнь и обрекает себя на пожизненную покорность. Также и тем, кто сам себя приговорил к молчанию о действительных событиях,

будет дозволено упражняться в ораторском искусстве на фиктивных всемирных форумах и подражать прежним и устаревшим формам, свидетельства которых они смогут найти, сначала — во взятом в качестве примера древнем языке, а потом — и в новом. Таковую литературу мы могли бы, пожалуй, сохранять еще некоторое время, и ею мог бы утешаться тот, у кого нет лучшего утешения. Но чтобы те, кто способен перебороть себя, усмотреть пугающую своим видом истину и решиться действовать, в ленивой дремоте утешались таким ничтожным образом, что сослужило бы хорошую службу врагу нашей самостоятельности, — этому я хочу препятствовать изо всех своих сил.

Итак, нам обещают сохранение немецкой литературы и у будущих поколений. Чтобы ближе судить о надеждах, которые мы здесь можем иметь, было бы очень полезно посмотреть, имеем ли мы в настоящий момент немецкую литературу в истинном смысле слова. Собрать свою нацию и совещаться с ней о самых важных ее делах — вот самая благородная привилегия и самая святая служба писателя. В особенности в Германии с давних пор это было исключительной службой писателя, поскольку она была разделена на много особенных государств и в качестве общего целого удерживалась почти исключительно с помощью орудия писателя, языка и письменности. Его служба становится особенно существенной и важной в это время, после того как порваны последние внешние узы, объединявшие Германию, имперская конституция.⁵⁰ Если окажется, — мы сейчас говорим не о том, что мы знаем или чего опасаемся, но лишь о возможном случае, который

мы все же должны принять в соображение, — если окажется, говорю я, что служители особенных государств охвачены страхом, боязнью и ужасом, если они в первую очередь запретят поднимать голос тем, кто предполагает нацию еще существующей и обращается к ней, и распространять такие мысли; то это было бы доказательством того, что мы уже сейчас не имеем немецкого писательства и было бы ясно какие у нас здесь виды на будущее.

Чего они могли бы бояться? Того, что этому или тому подобные высказывания могли бы не понравиться? Их нежная заботливость в таком случае по меньшей мере ошиблась бы в выборе цели. Раз они не могут воспрепятствовать насмехательству над отечественным и унижению его, пошлому прославлению иностранного, пусть тогда они не будут так строги к раздающемуся в то же время отечественному слову! Вполне может быть, что не все одинаково охотно выслушают его; но в настоящее время мы не можем беспокоиться об этом, нас гонит нужда, и мы говорим именно то, что она велит нам сказать об этом. Мы боремся за жизнь, надо ли нам соизмерять свои движения с тем, чтобы поднятая при этом пыль не запылила чей-нибудь мундир? Мы гибнем в волнах и не должны звать на помощь, чтобы только не напугать какого-нибудь слабонервного соседа?

Кто те люди, которые не хотели бы этого слышать, и при каких условиях они не хотели бы этого слышать? Пугает всегда лишь неясность и сумрак. Любой ужас исчезает, стоит его только как следует рассмотреть. Давайте же взглянем на этот ужас с той же непредвзя-

тостью и прямотой, с какой мы разбирали до сих пор каждый встречавшийся нам в этих лекциях предмет.

Считают, что существо, которому ныне выпало на долю вершить большей частью дел мира,⁵¹ или истинно великая душа, или наоборот, третьего не дано. В первом случае: на чем же основывается все человеческое величие, как не на самостоятельности и изначальности личности, том, что она — не искусственная подделка своей эпохи, но побег, целиком проросший из вечного и изначального духовного мира, что ей раскрылось новое и собственное виденье мирового целого и что она обладает твердой волей и железной силой, чтобы сделать это виденье действительностью? Но просто невозможно, чтобы такая душа не почитала и вне себя, в народах и в индивидах, то, что в ее собственном сердце составляет ее собственное величие, самостоятельность, твердость, своеобразие существования. Если она уверенно чувствует себя в своем величии и верит в него, она постыдится господствовать над несчастным раболепием и быть великой среди карликов. Она устыдится мысли, что для того, чтобы повелевать людьми, их сначала нужно унижить; она угнетена видом окружающей ее порчи и страдает от того, что не может уважать людей; но все, что возвышает, облагораживает, представляет в более достойном свете ее собратьев, радует ее благородный дух и приносит ей высшее удовольствие. И такая душа не обрадуется тому, что потрясения, принесенные временем, были использованы для того, чтобы пробудить от глубокого сна одну из достойных наций, прародительницу большинства народов Европы, подвинуть ее к тому, чтобы она

воспользовалась надежным средством для сохранения себя, избавления себя от порчи, которое одновременно гарантирует ей то, что она никогда больше не впадет в нее и одновременно с собой возвысит все остальные народы? Здесь не призывают к нарушению порядка; от него, скорее, предостерегают как от наверняка ведущего к порче. Указывается твердое, неизменное основание, на котором у одного народа мира будет, наконец, построена, навсегда гарантирована и распространена на другие народы самая высокая, самая чистая, никогда еще не существовавшая у людей нравственность. Указывается на преобразование человеческого рода из земных, чувственных созданий в чистых и благородных духовных существ. И при этом полагают, что дух, который сам чист, благороден и велик, или кто-то, кто образует себя, следуя ему, будет оскорблен таким предложением?

Что же тогда считают те, в ком таится этот страх и кто признается в нем посредством своих действий, и в чем они признаются перед всем светом? В том, что они верили, что над нами господствует человеко-ненавистнический, ничтожный и низменный принцип, который боится всякого пробуждения самостоятельной силы, который не может без страха слышать о нравственности, религии, облагораживании душ, поскольку он благоденствует и надеется сохранить себя только при унижении людей, их тупости и порочности. И мы должны без всяких сомнений и приводимого сначала и объясняющего доказательства согласиться с этой их верой, которая ко всем нашим бедам хочет добавить еще и угнетающий позор — быть под властью такого принципа, и действовать в соответствии с этой верой?

Предположим худшее, то, что правы они, никоим образом не мы, подтверждающие уверенность в первом посредством действия. Спрашивается тогда, должно ли что-либо неизбежно нравиться тому, кому оно выгодно, и нравится ли тем, кто имеет вышеприведенное опасение, когда человеческий род унижен и опустился, и не имеет ли права каждый, кому приказывает его сердце, предупреждать их об упадке? Предположим, что они не просто правы, но что их правоту решатся признать и повторят вслух только что произнесенное суждение о себе самих перед лицом современников и потомков, что случилось бы тогда в самом крайнем случае с тем, кто выскажет нежелательное предупреждение? Известно ли Вам что-либо большее, чем смерть? Но она и без того ожидает нас всех, и с момента появления человечества ее угроза не удерживала благородных людей даже в маловажных делах — а когда еще было такое важное, как нынешнее? Кто имеет право бросить начатое из-за угрозы смерти?

Если, хотя я надеюсь, что это не так, среди нас немцев есть такие, то они подставят свою шею духовному рабству без того, чтобы их об этом просили, не получая в ответ благодарности и, как я надеюсь, получая отказ. Они считают, что умеют подольститься в государственных делах, поскольку не знают, что по сердцу истинному величию, и его мысли меряют своими собственными мыслишками; они, страшно ругая литературу и не зная, что с ней делать, воспользуются ею, как жертвенным животным, чтобы, зарезав ее, выказать свою преданность. Мы же, напротив, гораздо больше, чем это доступно словам, прославляем делом — на-

шим доверием и смелостью — величие души того, в чьих руках власть. По всей области немецкого языка, где только свободно и беспрепятственно звучит наш голос, он сообщает немцам одним только своим существованием: никто не хочет вашего угнетения, вашего раболепства, вашей рабской покорности, хотят вашей самостоятельности, вашей истинной свободы, вашего возвышения и улучшения, поскольку не препятствуют тому, чтобы вам публично давали совет в этом и указывали вам надежное средство для этого. Если этот голос будет услышан и добьется желаемого успеха, то в потоке веков он установит памятник этому величию и нашей вере в него, который не будет разрушен временем, но будет расти и увеличиваться с каждым новым поколением. Кому позволено препятствовать попытке возвести такой памятник?

Итак, вместо того, чтобы утешать себя при потере нашей самостоятельности будущим расцветом нашей литературы и удерживать себя с помощью подобного рода утешения от поисков средства ее восстановления, мы хотели бы лучше знать: разрешают ли еще сегодня те немцы, которым досталось что-то вроде опеки над литературой, остальным немцам, пишущим или читающим, литературу в истинном смысле слова и как они считают, разрешена ли еще такая литература в Германии или нет? А как они в действительности об этом думают, об этом придется решать вскоре.

В соответствии со всем этим ближайшее, что мы должны сделать, чтобы сохранить себя вплоть до полного и основательного исправления нашего племени, состоит в том, чтобы мы приобрели характер и дока-

зали его в первую очередь тем, что посредством собственного размышления создали себе твердое мнение о нашем истинном положении и надежном средстве его исправить. Ничтожность утешения сохранением нашего языка и литературы показана. Но существуют еще и другие, не упоминавшиеся пока в этих речах иллюзии, препятствующие образованию такого твердого мнения. Будет целесообразно принять в расчет и их, но к этому делу мы обратимся в следующий раз.

*СОДЕРЖАНИЕ ТРИНАДЦАТОЙ РЕЧИ**

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТОГО РАССМОТРЕНИЯ

В конце нашей прошлой речи мы сказали, что у нас имеет хождение еще больше ничтожных мыслей и обманчивых учений об обстоятельствах народов, которые мешают немцам найти соразмерный их свойствам твердый взгляд на их нынешнее положение. Так как эти химеры именно сейчас повсюду с большим усердием предлагают публично почитать, и, после того как столь многое другое поколебалось, они могли бы быть восприняты многими просто для того, чтобы заполнить

* О том, почему напечатана не сама речь, а лишь пересказ ее содержания, сообщается в примечании, помещенном в конце этого пересказа.

возникшие пустые места, поэтому представляется нужным подвергнуть их проверке более серьезным образом, чем того заслуживает их важность.

В первую очередь и прежде всего: первые, изначальные и поистине естественные границы государств — это, без сомнения, их внутренние границы. Все то, что говорит на одном и том же языке, уже до всякого человеческого искусства связано друг с другом множеством невидимых связей посредством исключительно природы; оно находит взаимопонимание внутри себя и способно понимать себя все яснее, оно принадлежит друг к другу и есть естественно Одно и неразрывное целое. Народ другого происхождения и языка не может принять в себя такое и смешать с собой, не придя вначале по меньшей мере в замешательство и порядком не расстроив равномерного хода развития своего образования. Только из этой внутренней, проведенной самой духовной природой человека границы происходит внешнее ограничение места жительства, как ее следствие, и для естественного взгляда на вещи люди являются Одним народом никоим образом не потому, что они живут в пределах определенных гор или рек, но как раз, наоборот, живут вместе, и если уж им так повезло — то под защитой рек и гор, потому что они уже раньше были Одним народом вследствие намного более высокого закона природы.

Так немецкая нация пребывала посреди Европы, в достаточной мере объединенная в себе общим языком и способом мышления и достаточно четко отделенная от других народов, как вал, разделяющий чуждые друг другу племена; достаточно многочисленная и муже-

ственная, чтобы защитить свои границы от всякого вражеского нападения; предоставленная себе и в силу всего своего способа мышления мало склонная к тому, чтобы интересоваться соседними народами, вмешиваться в их дела и беспокойством возбуждать их враждебность. В ходе времен ее счастливая судьба уберегла ее от непосредственного участия в грабеже других миров; от того события, которое в большей мере, чем какое бы то ни было другое, повлияло на способ развития новейшей истории мира, судьбы народов и большую часть их понятий и мнений. Только начиная с этого момента христианская Европа, которая до тех пор, не сознавая этого собственно отчетливо, была одним и демонстрировала это в совместных предприятиях, разделилась на множество обособленных частей. Только начиная с этого момента перед всеми появился трофей, к которому равно стремились все, потому что в равной степени нуждались в нем, и к которому каждый ревновал остальных, только тогда появилось основание для скрытой враждебности и склонности к войне всех против всех. Также только тогда для народов стало выгодно присоединять к себе народы другого происхождения и языка, подчиняя их или, если это было невозможно, заключая союзы, и присваивать себе их силы. Оставшийся верным природе народ, если территория его проживания стала ему тесна, может стремиться к расширению ее посредством покорения соседних земель, чтобы получить больше пространства, и изгнать затем прежних жителей; он может стремиться к тому, чтобы поменять суровый и неплодородный край на более мягкий и благословенный, и в этом случае

прежние его обитатели также изгоняются. Он может, если происходит вырождение, просто предпринимать грабительские набеги, в которых, не стремясь к овладению землей и жителями, пытается просто захватить все полезное и, когда земли опустеют, покидает их; в конце концов, он может разделить между собой прежних жителей земель, словно полезные вещи, в качестве рабов. Но присоединение к государству чуждой народности в том виде, в каком она существует, не приносит никакой выгоды, и он никогда не попытается этого сделать. Если же за обоюдно привлекательный трофей предстоит бороться с равным по силам или даже более сильным соперником, то все выглядит иначе. Но как и в тех случаях, когда побежденный народ присоединяется к нам, можно использовать по меньшей мере его кулаки для борьбы с противником, которого мы желаем ограбить, и каждому мы будем рады как увеличению наших военных сил. Но от чего же мог бы ожидать успокоения тот мудрец, глазам которого открылось бы это положение дел и который желал бы мира и успокоения? Явным образом не от естественного ограничения человеческой жадности, потому что преизбыточное никому не приносит пользы; ведь искушающая всех добыча есть налицо. Также мало мог бы он ожидать, что воля сама положит себе пределы, ведь среди тех, кто пытается захватить все, что только может, ограничивающий сам себя обречен на гибель. Никто не желает делиться с другим тем, что он ныне имеет в своей собственности, каждый желает, если только можно, отнять у другого его собственность. Если кто-нибудь пребывает в мире, то только потому, что он считает себя недостаточно

сильным, чтобы начать войну; и он наверняка начнет ее, как только почувствует в себе необходимую силу. Таким образом, единственное средство сохранить покой заключается в том, чтобы никто не становился настолько сильным, чтобы его нарушить, и каждый знал, что на другой стороне именно столько сил для сопротивления, сколько на его стороне — для нападения; чтобы, таким образом, возникло равновесие и противовесы всей совокупной силы, посредством которых, после того как исчезли все другие средства, только и будут удерживаться, каждый — в своем нынешнем состоянии и все — в покое. Знаменитая система равновесия сил в Европе соответственно этому предполагает оба момента: добычу, на которую не имеет исключительного права никто в отдельности, но которой в равной степени жаждут все, и далее — всеобщую, никогда не утихающую действительную жажду грабежа. Но правда, при этих предпосылках равновесие было бы средством сохранить покой только в том случае, если бы было найдено второе средство — средство создать это равновесие и превратить его из пустой мысли в действительно существующую вещь.

Но были ли эти предпосылки всеобщими, не было ли в них исключений? Разве в центре Европы могущественная немецкая нация не осталась незатронутой этим грабежом, незараженной желанием его и почти что без возможностей претендовать на это? Если бы она осталась объединенной в Одну общую волю и Одну общую силу, пусть даже все остальные европейцы продолжали бы убивать друг друга на всех морях, островах и побережьях, посреди Европы их бы отделял друг от

друга вал немцев — здесь сохранялся бы мир, и немцы обеспечили бы у себя, а заодно и у части остальных европейских народов покой и благополучие.

Сохранение этого положения могло показаться бесполезным для него лишь близорукому взгляду зарубежья. Они посчитали немецкую отважность пригодной для того, чтобы с ее помощью вести свои войны, а ее руки — для того, чтобы вырывать добычу из рук своих соперников; нужно было найти средство добиться этой цели, и иностранная хитрость легко победила немецкую непосредственность и простодушие. Зарубежье воспользовалось расколом душ в Германии, возникшим сначала вследствие религиозных раздоров, чтобы также искусственно разделить эту малую модель совокупной христианской Европы, внутренне сращенное единство, на обособленные и существующие сами по себе части, как она сама сначала была естественным образом разделена общим грабежом. Зарубежье сумело эти возникшие в лоне Одной нации особенные государства, которые не имели никакого иного врага, кроме самого зарубежья, и никаких других дел, кроме как общего дела защиты объединенной силой от его совращения и коварства, — оно сумело представить их друг другу в качестве естественных врагов, с которыми всегда надо быть начеку, себя же самого, напротив, сумело представить в качестве естественного союзника против опасности, исходящей от собственных земляков; как союзника, вместе с которым они сами должны сохраниться или погибнуть, а потому — поддерживать его во всех его предприятиях всей своей силой. Лишь посредством этого искусственного связывающего сред-

ства все раздоры, которые только могли быть вызваны в старом или новом мире каким бы то ни было предметом, превращались в собственный раздор немецких племен между собой. Каждая, возникшая по той или иной причине, война должна была заканчиваться на немецкой почве и с помощью немецкой крови, каждый сдвиг в равновесии должен был быть выровнен в той нации, которой первоисточник всех этих отношений был полностью чужд, а немецкие государства, самое обособленное существование которых было полностью противно природе и разуму, должны были, чтобы только оставаться чем-то, лечь довеском к основным гирям на весы европейского равновесия, слепо и безвольно следуя их движениям. Как будто в каком-нибудь иностранном государстве граждан у нас называют по их принадлежности к той или иной иностранной партии и по их выступлениям за тот или иной внешний союз; принадлежащие же к отечественной партии не имеют даже имени. Немцы уже так давно являются приверженцами той или иной иностранной партии, что редко можно было встретить тех, кто держался партии немцев и считал бы, что эта страна должна быть в союзе с самой собой.

Вот истинное происхождение и значение, вот в чем результат для Германии и мира этого пресловутого учения об искусственно поддерживаемом равновесии сил европейских государств. Если бы христианская Европа осталась Одним, как это и должно быть и как это и было изначально, то повода для такой мысли не было бы. Одно покоится на себе самом, несет само себя и не разделяется на борющиеся силы, которые

должны быть приведены в равновесие между собой; эта мысль получает свое необходимое значение только для ставшей несправедливой и разделенной Европы. К такой Европе Германия не принадлежала. Если бы по меньшей мере она осталась Одним, то она бы покоилась на самой себе в центре образованной Земли, как Солнце в центре мира; она сохраняла бы себя в покое, а посредством себя — и свое ближайшее окружение, и без всяких искусственных мер, посредством одного только своего естественного существования, придавала бы всему равновесие. Лишь обман зарубежья замешивал ее в его несправедливости и ссоры и прививал ей это коварное понятие как самое действенное средство обманываться в отношении своей истинной пользы и оставаться в заблуждении. Эта цель в достаточной мере теперь достигнута, и желанный результат находится перед нашими глазами. Если мы и не можем его устранить, то почему бы нам по меньшей мере не удалить его источник в нашем рассудке, который чуть ли не один остался в нашей власти? Почему старая фантазия должна по-прежнему маячить у нас перед глазами, хотя несчастье уже пробудило нас ото сна? Почему мы не можем, по крайней мере, сейчас взглянуть в глаза истине и увидеть единственное средство, которое может нас спасти, пусть хотя бы только наши потомки сделали то, что мы усмотрели; так сейчас мы страдаем оттого, что наши отцы пребывали во сне. Давайте поймем, что хотя мысль об искусственно поддерживаемом равновесии могла быть для зарубежья утешительной фантазией при тех несправедливости и зле, которые его угнетали; но что она при этом, как полностью иностранное про-

изведение, не должна пустить корень в душе немца, и немцы никогда не должны были оказаться в таком состоянии, чтобы она могла пустить в них корень; что мы сейчас по меньшей мере проникли его в его ничтожности и что мы должны усмотреть, что всеобщее благо надо искать не в нем, но только лишь в единстве немцев с собой.

Также чужда немцам так часто пропагандируемая в наши дни свобода мореплавания;⁵² стремятся ли при этом действительно к этой свободе, или просто ищут возможность исключить из нее всех остальных. В течение столетий, пока все остальные нации соперничали друг с другом, немцы демонстрировали мало желания в большом объеме участвовать в этом, и никогда не будут его иметь. Они и не нуждаются в этом. Их богатая страна и их трудолюбие предоставляют им все, что нужно для жизни образованному человеку; у них также нет недостатка в искусстве обработки; а чтобы получить единственный истинный выигрыш, который приносит с собой всемирная торговля, увеличение человеческих познаний о Земле и ее жителях, ее собственный научный дух найдет средства, на которые их можно будет обменивать. — Пусть только благосклонная судьба предохранит немцев от опосредованного участия в грабеже других миров, как она предохранила их от непосредственного! Легковерие и желание жить изысканно и аристократически не должны у нас, как у других народов, создать потребность в товарах, изготавливаемых в чуждых мирах; лучше ради меньшего числа необходимых товаров предоставить сносные условия нашему свободному согражданину, чем получать выгоду от пота

и крови бедного раба за океаном, так мы, по крайней мере, сами не дали бы повода к нашему нынешнему положению; с нами не воевали бы как со скупщиками и не уничтожали бы как место торговли. Почти десятилетие назад, когда еще никто не мог предвидеть, что потом произойдет, немцам был дан совет — сделать себя независимыми от мировой торговли и замкнуться в качестве торгового государства.⁵³ Это предложение наткнулось на наши привычки, в особенности на наше идолопоклонническое почитание отчеканенного металла, встретило озлобленное сопротивление и было отброшено. С тех пор принуждаемые чужим насилием, мы были вынуждены с бесчестьем отказаться от этого и много еще от чего, от чего мы не смогли отказаться свободно и с честью для нас. Если бы мы, когда бы по меньшей мере вкус не изменил нам, воспользовались этой возможностью следовать своим понятиям! Пусть мы, наконец, усмотрим, что хотя все эти завиральные учения о мировой торговле и производстве для мира годятся для иностранцев и принадлежат как раз к их оружию, с помощью которого они с давних пор воюют с нами, но что у немцев они не имеют никакого применения и что наряду с национальным единением их внутренняя самостоятельность и торговая независимость составляют второе средство для их блага, а посредством них — и для блага Европы.

Надо отважиться, наконец, усмотреть также отвратительность и неразумность фантазии об универсальной монархии, которая начинает предлагаться публичному почитанию вместо равновесия, становящегося с некоторых пор все более невероятным! Духовная природа

способна представлять сущность человечности только в многообразнейших ступенях единичных существ и частных общего и целого, народов. Явление божества выступает в своем собственном зеркале так, как должно, только в том, как развивается и формирует себя каждый из этих последних, предоставленный самому себе соответственно своему своеобразию, а в каждом из них — каждый единичный этих общих также соответственно своему особенному своеобразию. И отважиться на вмешательство в этот высший закон мира духовных существ мог бы только тот, кто или не имел бы ни малейшего представления о закономерности и божественном порядке, или был бы его закоренелым врагом. Залог современных и будущих достоинств, добродетелей и заслуг наций заключается в незримых и скрытых от глаз собственных свойствах наций, как в том, посредством чего они взаимосвязаны с источником изначальной жизни. Если они притупляются вследствие смешения и стирания, то эта плоскость ведет к отторжению от духовной природы, а она — к слиянию всего в равномерную и взаимосвязанную порчу. Должны ли мы верить писателям, которые утешают нас во всех наших бедах тем соображением, что мы взамен станем подданными грядущей универсальной монархии, верить тому, что некто решил предпринять такое перемалывание всех зерен человеческого в человечестве, чтобы поместить растекающееся тесто в какую-нибудь форму, что в нашу эпоху возможна такая чудовищная грубость или враждебность по отношению к человеческому роду? И если бы мы однажды решились поверить для начала в это совершенно невероятное, то с помощью какого орудия

нужно было бы исполнять этот план дальше, какого рода должен быть тот народ, который подчинил бы какой-то новой универсальной монархии мир при новом состоянии образования в Европе? Народы Европы уже несколько столетий не являются дикими и не радуются разрушениям ради разрушений. Все стремятся завершить войну миром, усилия — покоем, смуту — порядком; и все хотели бы видеть свое поприще увенчанным миром домашней и тихой жизни. Некоторое время даже представление о национальной пользе может воодушевлять их на войну; но если этот призыв все время возобновляется, то фантазия и лихорадочное воодушевление, вызванные им, исчезают; возвращается стремление к спокойному порядку, и встает вопрос: ради чего же я делаю и выношу все это? Современный завоеватель мира должен сначала изгладить эти чувства и создать в эту эпоху, в которой в силу ее природы не существует народов дикарей, одно чувство. Но даже больше. Взгляд, с юности привычный к образованному возделыванию стран, к благополучию и порядку, радуется вид того, что человеку предоставляют хотя бы немного покоя, где бы он это не встретил, поскольку фоном для этого служит его собственное, никогда не устранимое стремление, и он страдает, если сам вынужден его разрушать. Должен быть найден противовес также и этому, глубоко впечатавшемуся у общественного человека, желанию благополучия и печали из-за того зла, которое воин приносит покоренным землям. Не существует никакого иного, кроме жажды грабежа. Если господствующим побуждением воина станет желание приобрести богатство и если он привыкнет при

опустошении цветущих земель не думать ни о чем другом, кроме как о том, что он может выгадать себе от общей беды, то стоит ожидать, что в нем умолкнут чувства сострадания и милосердия. Завоеватель мира нашего времени кроме той грубости должен образовывать у своих сторонников также хладнокровную и сознательную жажду грабежа; он не должен наказывать вымогательство, но скорее потакать ему. Также и стыд, естественным образом сопутствующий этому делу, должен умолкнуть, и грабеж должен считаться почетным признаком изысканного рассудка, быть причислен к великим делам и открывать путь ко всякого рода почестям и отличиям. Какая из наций Европы настолько бесчестна, чтобы позволить дрессировать себя таким образом? Но даже если предположить, что это преобразование ему удастся, то именно само это средство не даст ему достичь цели. Такой народ видит отныне в покоренных людях, странах и произведениях искусств только лишь средство для того, чтобы как можно быстрее добыть деньги, отправиться дальше и снова добывать деньги. Он быстро выжимает их и отбрасывает, предоставляя использование его собственной судьбе, он срубает дерево, до плодов которого хочет добраться. Тому, кто хочет действовать такими методами, не поможет все искусство обольщения, убеждения и обмана; они могут вводить в заблуждение издали, но как только их увидят вблизи, то звериная грубость и бесстыдная и наглая жажда грабежа бросятся в глаза даже самому глупому и отвращение всего человеческого рода громко заявит о себе. С ними хотя и можно ограбить и опустошить

Землю и стереть ее в глухой хаос, но никогда не получится устроить из нее универсальную монархию.

Упомянутые мысли и мысли подобного рода суть произведения просто играющего с самим собой и иногда запутывающегося в своей паутине мышления, они не достойны немецкой основательности и серьезности. Некоторые из этих образов, как например образ политического равновесия, могут служить, самое большее, вспомогательными линиями, чтобы разобраться в обширном и запутанном многообразии явлений и упорядочить его. Но верить в естественное наличие таких вещей или стремиться к их осуществлению — это то же самое, как если бы кто-нибудь искал полюсы, экватор и тропики, с помощью которых он ориентируется в своем рассмотрении Земли, проведенными и обозначенными на действительном земном шаре. Если у нашей нации станет обычаем мыслить не просто ради шутки и так, чтобы посмотреть, что же из этого получится, но так, как если бы то, что мы думаем, было бы истинным и действительно значимым в жизни; тогда будет излишним предостерегать от таких обманчивых образов изначально иностранной, немцев же только обольстившей государственной мудрости.

Эта основательность, серьезность и весомость нашего способа мышления, если мы только обладаем ею, проявится и в нашей жизни. Мы побеждены, но хотим ли мы быть презираемыми, и по праву презираемыми, хотим ли мы сверх всех остальных потерь потерять еще и честь, — это все еще зависит от нас. Борьба с оружием в руках закончена — наступает, если мы этого хотим, борьба основоположений, нравов, характера.

Давайте преподнесем нашим гостям⁵⁴ образец привязанности к Отечеству и друзьям, неподкупной честности и любви к долгу, всех гражданских и семейных добродетелей в качестве дружеского подарка на дорогу домой, куда они когда-нибудь должны будут возвратиться. Поостережемся давать им повод для презрения к нам; но вернее всего это произойдет, если мы или будем их чрезмерно бояться, или откажемся от нашего способа существовать и станем стремиться уподобиться им в их способе. Будем далеки от той несообразности, когда индивид конкурирует с индивидами и возбуждает их. Но и вообще лучшим правилом будет повсюду продолжать идти нашим путем, как если бы мы были одни, и завязывать только те отношения, которые являются необходимыми. И надежнейшим средством для этого будет то, что каждый станет удовлетворяться тем, что могут дать ему старые отечественные отношения, будет помогать нести общее бремя соответственно своим силам, а любое покровительство со стороны зарубежья будет считать бесчестным позором. К сожалению, почти повсюду в Европе, и Германия не стала исключением, вошло в обычай, в случае выбора, скорее отказываться от себя, чем давать себе проявиться, что называют импонирующим, и, вероятно, можно было бы все учение о мнимом хорошем светском тоне свести к единству этого основоположения. Пусть мы, немцы, в данной ситуации погрешим лучше против этого светского тона, чем против чего-то более высокого! Пусть, даже если это и будет таким прегрешением, мы останемся, как мы есть, и даже, если сможем, станем еще сильнее и решительнее, т. е. такими, какими мы должны быть.

Пусть указания на то, что нам крайне недостает скорости и сноровки и что мы в отношении всего слишком серьезны, слишком тяжелы и значительны, пристыдят нас так мало, что мы станем настойчивее стремиться к тому, чтобы с еще бóльшим правом и еще в большем объеме заслужить их! Укрепит нас в этом решении легко достижимое убеждение в том, что мы при всех наших усилиях до тех пор не сможем угодить им, пока совершенно не перестанем быть самими собой, что совершенно равнозначно тому, чтобы полностью прекратить существовать. Существуют, собственно, народы, которые, поскольку они хотят сохранить свои собственные свойства и видеть их почитаемыми, признают и за другими их собственные, почитают и поддерживают их. К ним, без сомнения, относятся немцы, и эта черта так глубоко основана в их прежнем и нынешнем существовании в мире, что они очень часто, чтобы быть справедливыми по отношению как к современному зарубежью, так и к древности, были несправедливы по отношению к самим себе. Есть также и другие народы, которым их тесно сросшаяся с самой собой самость никогда не позволяет отвлечься от себя для холодного и спокойного рассмотрения чужого и которые вынуждены поэтому верить в то, что есть только один-единственный способ существовать в качестве образованного человека, и, во всяком случае, это тот, каким случай наградил в настоящий момент именно их; все остальные люди на свете не имеют никакого другого назначения, кроме того, чтобы стать как они, и должны приносить им свою благодарность, если те потрудятся образовать их таким образом. Между народами первого типа имеет

место в высшей степени полезное для формирования человека вообще взаимное воздействие обоюдного образования и воспитания и взаимное проникновение, посредством которого каждый, с доброго согласия другого, все-таки остается самим собой. Народы второго типа не могут образовать ничего из того, что они не способны охватить в своем имеющемся бытии; они хотят лишь уничтожить все существующее и создать повсюду вокруг себя пустое место, в котором они могли бы постоянно повторять свой собственный образ. Даже само их первоначальное кажущееся вхождение в чужие нравы есть только добродушное снисхождение воспитателя к пока еще слабому, но подающему надежды ученику; даже фигуры из прошлого нравятся им только тогда, когда они наряжают их в свои одежды, и, если бы могли, они бы выкопали их из могил, чтобы перевоспитать на свой лад. Но я не хочу впасть в преувеличение, утверждая, что какая-нибудь из существующих наций вообще и без исключений может быть обвинена в такой ограниченности. Скорее стоит принять, что и здесь те, кто не высказываются, лучше других. Но если судить о тех, кто появлялся среди нас и высказывался в соответствии с их высказываниями, то приходится сделать вывод, что они должны быть отнесены к описанному классу. Представляется, что это положение должно быть проиллюстрировано, и я приведу, не затрагивая остальных последствий этого духа, находящихся перед глазами всей Европы, только следующее обстоятельство. Мы вели войну друг с другом; мы, со своей стороны, побежденные, они — победители; это верно и признается. Этим они могли

бы, без сомнения, удовлетвориться. Если кто-нибудь среди нас продолжал бы считать, что мы боролись за справедливое дело и заслуживали победы и что стоит печалиться о том, что она не выпала нам на долю, так ли уж плохо было бы это, и могли бы они, со своей стороны также имеющие право думать, что им угодно, так уж сильно упрекать нас в этом? Но нет, на это мы не должны осмеливаться. Мы должны сразу узнать, что несправедливо хотеть чего-нибудь другого, чем хотят они, и противостоять им; мы должны благославлять наше поражение как наиспасительнейшее для нас событие, а их — как наших величайших благодетелей. Иначе и быть не может, и на это надеются ради нашего же здравого рассудка! — Но зачем я продолжаю говорить о том, что почти две тысячи лет назад очень близким образом было высказано в учебниках истории Тацита? Это воззрение римлян на отношение побежденных варваров к ним, которое у них все-таки основывалось на видимости, до некоторой степени извинительной, того, что сопротивление им — это преступный мятеж и восстание против божественных и человеческих законов и что их оружие не может принести народам ничего, кроме благословения, а их цепи — нечто почетное, — это воззрение в наши дни имеют в отношении нас, с очень большим добродушием призывают нас к нему и предполагают его у нас. Я не держу подобного рода высказывания за заносчивую издевку; я могу понять, что при высоком самомнении и ограниченности можно всерьез верить в это и полагать, что и противная сторона считает так. Я, например, полагаю, что римляне действительно верили в это, но я предоставляю обду-

мать, не стоит ли тем из нас, кто считает невозможным для себя когда-нибудь разделить эту веру, рассчитывать на какую-нибудь компенсацию.

Мы сделаем себя глубоко презренными в глазах зарубежья, если станем во всеуслышание обвинять немецкие племена, сословия, личности в нашей общей судьбе и озлобленно и пристрастно упрекать друг друга. В первую очередь все обвинения такого рода несправедливы, неверны, безосновательны. Мы указали выше, какие причины привели Германию к последним событиям; уже в течение столетий они были как у себя дома равным образом у всех немецких племен без исключения. Последние события суть результат не какого-нибудь особого ошибочного шага отдельного племени или его правительства, они довольно давно назревали и, если бы дело только дошло до заключенных в нас самих оснований, с тем же успехом могли бы произойти уже давно. Вина в этом или невиновность у всех одинакова, и расчет, пожалуй, больше уже не возможен. По наступлению конечного результата выяснилось, что отдельные немецкие государства не знали даже себя самих, своих сил и своего истинного положения. Каким образом одно из них могло бы приписать себе способность подняться над собой и высказать опирающуюся на основательные знания последнюю истину в отношении чужой вины?

Может быть, более основательный упрек касается определенного сословия у всех племен немецкого Отечества не потому, что оно не усмотрело или не совершило, как все остальные, то, что является общей обязанностью, но потому, что оно сделало вид, как

будто усматривает больше и способно на большее, и от-
теснило все остальные от управления государствами. Если бы такой упрек был обоснованным: кто должен бы был его высказать и к чему было бы именно сейчас высказывать и обсуждать его громче и ожесточеннее, чем когда-либо? Мы видим, что писатели делают это. Разве прежде, когда вся власть и уважение с молчаливого согласия решающего большинства остальной части человеческого рода находились у этого сословия, они говорили так же, как сейчас? Кто поставит им в вину, если они напомним о своих, подтвердившихся на опыте речах? Мы также слышим, что они подвергают народному суду отдельных лиц, прежде стоявших во главе дел, раскрывают их негодность, лень, их злую волю и ясно показывают, что из этих причин необходимым образом должны были произойти эти следствия. Если они уже раньше, когда обвиняемые еще обладали властью и зло, необходимо проистекающее из их управления, еще можно было предотвратить, усматривали именно то же самое, что они усматривают сейчас, и высказывали это так же громко; если они уже тогда обвиняли виновных с такой же силой и не упустили ни одного средства, чтобы вырвать Отечество из их рук, но их просто не слушали, то в таком случае они по праву напомним о своих не услышанных тогда предупреждениях. Но если они вывели свою нынешнюю мудрость из того результата, из которого с тех пор весь народ вывел те же следствия, тогда зачем они сейчас говорят то, что так же хорошо известно и остальным? Тогда они, может быть, или даже подольщались из корыстолюбия, или молчали из страха перед тем сословием или теми

лицами, на которых теперь, после того как те потеряли свою власть, безудержно обрушиваются их обвинительные речи. О пусть в будущем они не забудут среди источников наших бед, наряду с дворянским сословием и неспособными министрами и полководцами, указать также и политических писателей, которые, так же как и чернь, только по достигнутому результату узнали, что должно было произойти и лъстили властителям, над падшими же злорадно насмехались!

Или они порицают заблуждения прошлого, которые, правда, все их порицания не могут уничтожить, только для того, чтобы их не совершали в будущем; и лишь стремление содействовать основательному улучшению человеческих отношений отважно поднимает их над всеми соображениями благоразумия и приличия? Мы охотно верим в их добрую волю, если только основательность усмотрения и рассудка дает им возможность иметь в этой области добрую волю. Не отдельные лица, которые случайным образом оказались на высших постах, но взаимосвязь и перепутанность целого, весь дух времени, ошибки, невежество, поверхностность, уныние и неотделимые от них неверные шаги, нравы времени в целом, — вот что привело к нашим бедам; таким образом, действовавшие лица гораздо в меньшей степени, чем сами посты, повинны в этом, и любой, даже самый страстный обличитель, с высокой степенью вероятности будет вынужден признать, что, находясь на этих же постах, был бы приведен окружением примерно к тем же результатам. Надо поменьше фантазировать о злонамеренности и предательстве! Безрассудства и лени почти всегда достаточно для объяснения произо-

шедшего; и это то, в чем каждый может обвинить себя даже и без глубокой самопроверки; к тому же там, где в широких массах лень распространена очень сильно, от отдельного человека, стремящегося пробиться, требуется очень высокая степень силы деятельности. Поэтому если ошибки отдельных лиц так резко подчеркиваются, то тем самым еще никоим образом не вскрывается основание бед, тем же, что этих ошибок в будущем будут избегать, оно также и не устраняется. Если людям свойственно ошибаться, то они не могут не делать ошибок; и даже если они избегут ошибок своих предшественников, то в бесконечном пространстве ошибочности очень легко найдутся новые. Нам может помочь только полная переделка, только наступление совершенно нового духа. Если эти люди будут содействовать его развитию, то мы охотно прославим их не только за добрую волю, но также и за верный и целительный рассудок.

Эти взаимные упрёки, такие же несправедливые, как и бесполезные, в то же время в высшей степени неблагоприятны и должны низко уронить нас в глазах зарубежья, которому мы в избытке навязываем их и облегчаем ему его собственный их поиск. Если мы не устанем рассказывать им о том, как запутанно и пошло обстояли у нас все дела и насколько плохо мы были управляемы, то разве им не придется поверить в то, что, как ни много они нас обманывали, они все же слишком хороши для нас и никогда не станут слишком плохи? Разве им не придется поверить в то, что мы, при нашей великой неумелости и беспомощности, должны принимать со смиреннейшей благодарностью все, что они уже

передали или еще собираются передать нам в будущем из своей богатой сокровищницы искусства правления, администрирования и законодательства? Должны ли мы поддерживать со своей стороны их и без того выгодное мнение о самих себе и незначительное о нас? Не становятся ли таким образом некоторые высказывания, которые в ином случае нужно было бы считать злобной насмешкой, — то, что они немецким землям, не имевшим до сих пор Отечества, дали таковое или что они уничтожили рабскую зависимость лиц как таковых от других лиц, которая у нас существовала на законной основе, — повторением наших собственных выражений и эхом нашей собственной лести? Это позор, который мы, немцы, не разделяем ни с одним другим европейским народом, в остальных своих судьбах подобным нам, что мы сразу после того, как нами стало командовать чуждое оружие, как будто мы долго ждали этого момента, и так быстро, практически моментально, как будто мы хотели доставить себе удовольствие, излились руганью на наши правительства, наших властителей, которым прежде мы льстили безвкусным образом, и на все отечественное.

Как нам, невиновным, отвратить от себя этот позор и оставить виноватых в одиночестве? Для этого есть одно средство. Пасквили перестанут печатать с того момента, когда убедятся в том, что их больше не покупают, и как только авторы и издатели не смогут больше рассчитывать на читателей, привлекаемых бездельем, пустым любопытством, страстью к болтовне или злорадством и желанием видеть униженным то, что раньше внушало им болезненное чувство уважения.

Пусть каждый, в ком есть чувство стыда, с подобающим презрением возвращает предлагаемый ему для чтения пасквиль; пусть он так поступает, даже полагая, что он единственный будет так поступать, до тех пор, пока у нас не станет обычаем, чтобы каждый честный человек поступал так; и мы вскоре, без насильственного запрета книг, будем избавлены от этой постыдной части нашей литературы.

Наконец, глубже всего нас унижает перед зарубежьем, если мы начинаем ему льстить. Некоторые из нас уже раньше делали себя презренными, смешными и отвратительными тем, что при каждой возможности грубо курили фимиами отечественным властителям, и, когда полагали, что могут подольститься, не щадили ни разума, ни приличий, ни добрых нравов, ни вкуса. Этот обычай вышел из моды совсем недавно, а эти превозношения частично превратились в брань. Мы же тем временем направили облака нашего фимиама, как будто для того, чтобы не потерять сноровки, в другом направлении, в ту сторону, где ныне находится власть. Уже первое, как сама лесть, так и то, что против нее не возражали, должно было причинять боль каждому серьезно мыслящему немцу; и все же это продолжалось. Намерены мы теперь и зарубежье сделать свидетелем этой нашей низкой страсти, а также большой неловкости, с которой мы ей предаемся, и так к презрению к нашей низости добавить еще и смехотворный вид нашей неуклюжести? В этом деле нам собственно, недостает, присущей иностранцам тонкости; добиваясь того, чтобы нас услышали, мы становимся бестактны и чрезмерны и сразу вздымаем до небес обожествления

и восторг. К этому добавляется еще и то, что дело имеет у нас такой вид, как будто эти превозношения из нас выжимают преимущественно ужас и боязнь; но нет ничего смешнее, чем боязливый человек, восхваляющий красоту и изящество того, что он на деле держит за чудовище, к которому он хочет подольститься, чтобы оно его не проглотило.

Но может быть, эти восхваления не лесть, а истинное выражение почитания и восхищения, которые должны быть приносимы великому гению, вершащему, согласно им, дела людей? Как мало им и в этом отношении известны черты истинного величия! Оно во все эпохи и среди всех народов оставалось верным себе в том, что не было тщеславным, и, наоборот, все мелкое и низкое с давних времен непременно выказывало тщеславие. Истинному, покоящемуся на себе самом величию не нравятся воздвигнутые современниками статуи или прозвище «Великий», крикливые овации и восхваления толпы; оно, скорее, отклоняет от себя эти вещи с подобающим им презрением и ожидает себе приговора, сначала от собственного суда в своей душе и затем публичного — от суда потомков. Также ему всегда сопутствовала та черта, что оно почитает и страшится темного и загадочного рока, не забывает о всегда вертящемся колесе фортуны и не позволяет прославлять себя как великого или блаженного до своего конца. Таким образом, эти восхвалители, находясь в противоречии с самими собой, превращают содержание своих слов в ложь. Если бы они считали предмет своего притворного преклонения великим, то они постыдились бы думать, что он возвышается посредством их оваций

и хвалы, и почитали бы его уважительным молчанием. Поскольку же они из его прославлений делают себе предприятие, то тем самым они показывают, что на деле держат его за мелкий, низкий и настолько тщеславный, что их восхваления могут ему понравиться и что они посредством этого в состоянии предохранить себя от какой-нибудь беды или получить какой-нибудь выигрыш.

Этот восхищенный возглас: «Что за возвышенный гений! Что за глубокая мудрость! Что за гигантский план!» — что же он, в конце концов, высказывает, если его внимательно разглядеть? Он говорит, что гений настолько велик, что даже мы совершенно его понимаем, мудрость так глубока, что даже мы в состоянии ее проникнуть, план столь обширен, что даже мы можем полностью его обозреть; поэтому высказывает, что восхваляемый в той же мере велик, что и восхваляющий, но поскольку последний полностью понимает и обозревает первого, то стало быть, стоит выше первого и, если бы только приложил достаточные усилия, мог бы, пожалуй, достичь чего-нибудь еще более великого. Нужно иметь довольно высокое самомнение, чтобы верить в то, что своими ухаживаниями можно доставить удовольствие; а восхваляемый, наоборот, должен быть невысокого мнения о себе, чтобы принимать эти поклонения с удовольствием.

Нет, славные, серьезные, степенные немецкие мужи и соотечественники, пусть наш дух будет далек от этого безрассудства, а наш язык, созданный для выражения истинного, — от этой скверны! Предоставим зарубежью вскрикивать от изумления при каждом новом

явлении, в каждое десятилетие создавать себе новый масштаб величия и новых богов и богохульствовать, чтобы прославить человека. Пусть наш масштаб величия останется прежним: велико только то, что способно на идеи, всегда приносящие народам исключительно благо, и воодушевлено ими; ну а суждение о живых предоставим суду потомков!

ПРИМЕЧАНИЕ

После нескольких недель ожидания возвращения рукописи этой тринадцатой речи, поданной в мой отдел цензуры, я получил наконец вместо нее следующее письмо:

«Манускрипт тринадцатой речи господина профессора Фихте был потерян вследствие какой-то случайности после того, как уже было получено разрешение на печать, и, несмотря на все усилия, не был найден.

Чтобы не задерживать издателю etc. Раймеру печать, я предлагаю его высокоблагородию господину профессору Фихте восполнить эту речь из своих тетрадей и прислать мне для разрешения на печать.

Берлин, 13 апреля 1808 г.

фон Шеве»

Того, что в этом письме может подразумеваться под «тетрадями», у меня нет, то же, что при работе над текстом было записано и подготовлено на от-

дельных листках, было предано огню во время произошедшей за это время перемены места жительства. Поэтому я был вынужден настаивать на том, чтобы рукопись, которая не могла быть потеряна, была возвращена. Этому, как уверяли, не смогли помочь даже самые тщательные поиски; во всяком случае, этого не произошло, и мне пришлось заполнять брешь так, как я мог.

Поскольку я ради самооправдания вынужден известить широкую публику об этом происшествии, я прошу ее все же верить мне в том, что явления, как связанные с самим происшествием, так и описанные в приведенном выше письме, не являются у нас повсюду общераспространенными, но что это происшествие представляет собой лишь в высшей степени редкое, возможно даже никогда и не случавшееся исключение и что можно надеяться на принятие мер, которые смогут предотвратить такие случаи в будущем.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ РЕЧЬ

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦЕЛОГО

Речи, которые я завершаю сегодня, хотя и обращались в первую очередь к Вам, но имели в виду всю немецкую нацию и рассчитывали на то, чтобы собрать вокруг себя в этом помещении, в котором зримо присутствует Вы, все, на что только распространился

немецкий язык и что только способно их понять. Если мне в грудь кого-нибудь из вас, в которой здесь на моих глазах бьется сердце, удалось заронить искру, что продолжала бы гореть в ней и охватила бы всю Вашу жизнь, то моим намерением было не то, чтобы Вы в этом оставались одинокими, но я хотел собрать вокруг Вас со всей общей земли сходные умонастроения и решимость и соединить их с Вашими, так чтобы по всей родной земле, вплоть до самых далеких ее границ, распространилось и разгорелось из этого центра единое, связующее пламя отечественного образа мысли. Они были посвящены этой эпохе не ради того, чтобы занять праздные уши и глаза, но чтобы, наконец, узнать, и каждый, настроенный так же, как я, должен узнать, есть ли вне нас что-нибудь, мыслящее родственным нам образом. Каждый немец, еще видящий себя частью нации, считающий ее великой и благородной, надеющийся на нее, отважный, терпеливый и готовый на испытания ради нее, должен быть наконец вырван из ненадежности своей веры; он должен ясно увидеть, прав ли он или он всего лишь глупец и мечтатель, он должен отныне или сознательно, уверенно и радостно продолжать свой путь, или с твердой решимостью отказаться от Отечества здесь и утешать себя лишь небесным. Итак, эти речи обращаются к Вам, не как к таким-то и таким-то лицам в нашей повседневной и ограниченной жизни, а как к представителям нации и как к слуху всей нации.

С тех пор как Вас в последний раз собирал такой призыв, как сегодня, минули столетия; в таком количестве; для такого великого, настоящего, настоль-

ко общего дела; настолько исключительно как нацию и немцев. И никогда больше Вас не попросят о подобном. Если Вы не обратите внимания, уйдете в себя, позвольте и этим речам пройти мимо вас, приняв их за звон в ушах или за странное чудовище, то никто не станет больше рассчитывать на Вас. Послушайте же, наконец, опомнитесь, наконец! Хотя бы в этот раз не сдвигайтесь с места, не приняв твердого решения! И каждый, внимающий этому голосу, пусть примет это решение в себе самом и для себя самого, как если бы он был один и один должен был сделать все. Если так станет думать много одиночек, то вскоре появится большое целое, которое сольется в единую, тесно связанную силу. Если же, напротив, каждый, исключая себя, надеется на остальных и предоставляет дело другим, то нет вовсе никаких других, и все вместе остаются, как были до сих пор. — Примите его, это решение, не сходя с места! Не говорите: оставьте нас ненадолго в покое, дайте нам еще немного поспать и помечтать, пока, может быть, само собой не наступит улучшение. Упустивший однажды бывшее вчера более удобным для осознания и даже еще и сегодня не способный собраться для этого, завтра окажется еще меньше способен на это. Любая отсрочка только делает нас еще инертнее и только глубже убаюкивает нас в милой привычке к нашему бедственному положению. Также и внешние поводы для осознания не могут стать сильнее и настойчивее. Тот, кого не волнует такая современность, точно потерял всякое чувство. — Вы собраны, чтобы прийти к последнему и твердому решению и заключению, ни в коем случае не для приказанья другим,

призыва, побуждения их, но для побуждения Вас самих. Вы должны принять решение, которое каждый может осуществить только посредством себя самого и в своей собственной личности. Здесь недостаточно иметь намерение и бездействовать, недостаточно желания когда-нибудь возжелать, этого ленивого самоограничения, когда предаются надежде на то, чтобы как-нибудь стать лучше без собственного действия. От Вас требуется такое решение, которое одновременно есть и жизнь, и внутренний поступок и которое продолжает действовать и царить без колебаний и охлаждения, пока не достигнет своей цели.

Или, может быть, в Вас совершенно истреблен и исчез корень, из которого только и может произрасти такое, вмешивающееся в жизнь, решение? Или все Ваше существо действительно и на самом деле рассыпалось и растеклось в бескровную тень без собственной движущей силы или погрузилось в сон, в котором хотя и возникают и хлопотливо сменяют друг друга пестрые картины, но тело остается неподвижно лежать, подобно мертвому? Что об эпохе думают примерно это, уже давно было сказано ей в глаза и повторялось во всех видах.⁵⁵ Ее поборники полагали, что при этом хотят лишь обругать ее, и считали себя обязанными также браниться в ответ, посредством чего все должно было вернуться в естественное русло. В остальном нельзя было заметить ни малейшего изменения или улучшения. Если бы Вы об этом услышали, это могло бы вас возмутить; уличите же ныне своим действием, показав себя перед глазами всего мира иначе, во лжи тех, кто думал и говорил о Вас это. Может быть, они

так жестко высказывались о Вас, поскольку желали быть опровергнутыми Вами и уже отчаялись взволновать Вас с помощью какого-нибудь другого средства. Насколько лучше, в таком случае, думали о Вас они, чем те, кто льстил Вам, чтобы Вы продолжали пребывать в ленивом покое и в бездумности, не обращая ни на что внимания!

Как бы ни были Вы слабы и бессильны, ясное и спокойное осознание в настоящее время сделано таким легким, как никогда прежде. В заблуждение относительно нашего положения, в нашу бездумность и слепую распущенность нас повергла, собственно, сладкая удовлетворенность самими собой и нашим способом существования. Так шло до сих пор, так и продолжалось: тому, кто призывал нас к размышлению, мы вместо других опровержений, ликуя, демонстрировали наше существование и сохранность, имеющиеся и без нашего размышления. Но дело обстояло так только потому, что мы не подвергались проверке. С тех пор мы были ей подвергнуты. Должны же были в этот момент обрушиться заблуждения, иллюзии, ложное утешение, которыми мы взаимно запутывали друг друга? — Должны же были развеяться теперь врожденные предрассудки, распространявшиеся на все вокруг себя из ниоткуда, как природный туман, и закутывавшие все в монотонные сумерки? Эти сумерки больше не препятствуют нашему взгляду; но они больше не могут и служить нам извинением. Теперь мы стоим здесь, чистые, пустые, вынутые из всех чуждых пелен и накидок, просто как то, что мы суть. Сейчас надо показать, что есть эта самость, а что не есть.

Кто-нибудь из Вас мог бы выйти и спросить меня: что заставляет тебя и дает право именно тебе, единственному среди всех немецких мужей и писателей, собирать нас и заседать на нас? Разве любой из множества писателей Германии не обладает точно таким же правом на это, как и ты, но никто из них этого не делает, один ты рвешься вперед? Я отвечу, что, конечно, каждый имеет такое же право на это, как и я, и что я делаю это именно потому, что никто из них не сделал этого до меня; и я бы промолчал, если бы кто-нибудь другой сделал это раньше меня. Кто-то должен был сделать первый шаг на пути к радикальному исправлению. Я был тем, кто первым живо это усмотрел, поэтому первым и сделал этот шаг. За первым шагом последует какой-то другой; все имеют равное право совершить его; но действительно совершит его вновь кто-то один. Один всегда должен быть первым, и тот, кто это может, пусть им и будет!

Не беспокоясь об этом обстоятельстве, задержите на некоторое время свой взгляд на том рассмотрении, к которому мы уже приводили Вас раньше, того, в каком завидном состоянии оказалась бы Германия и мир, если бы первая воспользовалась своим счастливым положением и смогла бы понять свою выгоду. Задержите свой взгляд на том, что оба суть теперь, и позвольте проникнуть в себя боли и негодованию, которые при этом должны охватить каждого благородного человека. Обратитесь затем к себе самим и увидите, что именно Вы — те, кого эпоха хочет освободить от заблуждений предшественников, с чьих глаз она хочет снять пелену, если Вы это позволите; что Вы награждены

возможностью, которой не было ни у одного поколения до Вас, — бывшее сделать небывшим и вырвать бесчестные страницы из истории немцев.

Упустите разнообразные возможности, среди которых Вы должны выбрать одну. Продолжайте и дальше быть глухи и невнимательны, и Вас под конец настигнет все зло рабства: лишения, унижения, насмешки и заносчивость победителя; Вы будете выталкиваемы изо всех углов, потому что Вы нигде не на месте и всюду мимоходом, до тех пор пока Вы не купите себе ценой своей нации и языка какого-нибудь подчиненного местечка и пока Ваш народ таким образом постепенно не растворится. Если же Вы, напротив, укрепите себя и прислушаетесь, то Вы найдете в первую очередь переносимое и почтенное продолжение существования и увидите за собой и вокруг себя расцветающее поколение, которое принесет Вам и немцам самую славную память. Вы увидите, как в духе имя немцев посредством этого поколения станет самым славным среди всех народов, Вы увидите эту нацию в качестве возродительницы и восстановительницы мира.

От Вас зависит, хотите ли Вы быть концом и последними в поколении, не уважаемом и даже, наверное, слишком презренном в глазах потомков, услышав об истории которого, если только в том варварстве, которое тогда наступит, дело, собственно, сможет дойти до истории, следующие поколения возрадуются, что на них все кончается, и будут благодарить судьбу за то, что она справедлива; или Вы хотите быть началом и точкой развития нового, превосходящего все Ваши ожидания времени, и теми, начиная с которых потомство

будет вести счет лет своего благополучия. Подумайте о том, что Вы — последние, в чьей власти находится это великое изменение. Вы еще слышали, как немцев называли Одним, Вы видели зримый знак их единства, империю и имперский союз,⁵⁶ или слышали о том, что среди Вас время от времени еще раздавались голоса, вдохновляемые этой высокой любовью к Отечеству. То, что придет после Вас, привыкнет к другим представлениям, примет чуждые формы и другой способ ведения дел и жизни. И много ли потребуется времени, чтобы не осталось никого из тех, кто видел немцев или слышал о них?

От Вас требуется немного. Вы должны подняться над собой, собраться на короткое время и подумать о том, что непосредственно и открыто находится у Вас перед глазами. Вы должны составить себе об этом твердое мнение, оставаться верными ему, выражать и высказывать его в вашем ближайшем окружении. Это предпосылка, наше твердое убеждение, что результат этого мышления у Вас будет таким же, как и у всех, и что, если только Вы действительно будете мыслить и не вернетесь к прежней небрежности, Вы будете мыслить согласно; что, если Вы только вообще обретете дух и не останетесь в чисто растительной жизни, сами собой возникнут единодушие и согласие. Но если только дело дойдет до этого, то все остальное, что нам необходимо, появится само собой. Но ведь это мышление на деле поддерживает в своей собственной личности и каждый из Вас, кто только еще в состоянии мыслить о чем-то, что находится у него перед глазами. У Вас есть для этого время, момент не оглушит и не поразит Вас;

акты проведенных с Вами переговоров останутся лежать у Вас перед глазами. Не выпускайте себя из рук до тех пор, пока не станете едины сами с собой. Но пусть, о пусть не сделает Вас вялыми надежда на других, или на что-нибудь вне Вас, или также на непонятную мудрость времени, на то, что эпохи создают себя сами, без всякого человеческого содействия, посредством какой-то неизвестной силы! Эти речи не уставали настойчиво внушать Вам то, что Вам ничто не может помочь, кроме Вас самих, и они считают необходимым повторять это до последнего момента. Возможно, что посредством неизвестной нам и находящейся не в нашей власти силы могут быть созданы дождь и оттепель, плодородные или неплодородные годы; но совершенно особенное время людей, человеческие отношения люди создают себе только сами, а не какая-нибудь находящаяся вне их сила. Только если они все вместе равно слепы и невежественны, то тогда они подпадают власти этой сокрытой силы; но они могут не быть слепыми и невежественными. Насколько плохо у нас будут идти дела, это, правда, может отчасти зависеть от той неизвестной силы, но в особенности от рассудка и доброй воли тех, кому мы подчинены. Но вот будут ли наши дела хороши, это зависит исключительно только от нас, и у нас наверняка никогда не наступит никакого благополучия, если мы не создадим себе его сами; в особенности если каждый в отдельности не станет поступать и действовать так, как будто он один и только на нем основывается благо будущих поколений.

Вот что должны Вы делать; эти речи заклинаят Вас сделать это без промедления.

Они заклинаят вас, молодые люди! Я, уже с давних пор не принадлежащий к вам, считаю, и высказал также и в этих речах, что вы способнее ко всякой мысли, понимающейся над пошлостью, и вас больше способно взволновать доброе и дельное, потому что ваш возраст ближе к годам детской невинности и природы. Совсем иначе выглядит эта ваша основная черта в глазах большинства старого мира. Оно обвиняет вас в самонадеянности, в том, что вы судите опрометчиво, ошибочно о том, что превышает ваши способности, в несговорчивости, в жажде нововведений. Все это, полагает оно, проистекает лишь из недостаточного знания мира, т. е. всеобщей человеческой испорченности, ведь для чего-то иного в мире у них нет зрения. Вы пока что отважны, поскольку надеетесь найти сочувственное единомыслие и не знаете еще о яростном и непреклонном сопротивлении, которое окажут вашим проектам улучшений. Но когда улетучится юношеский огонь вашей способности воображения, когда вы ощутите всеобщий эгоизм, лень и отвращение к труду, когда вы сами однажды распробуете сладость движения по привычным рельсам, тогда у вас пройдет желание быть лучше и умнее, чем все остальные. Они, со своей стороны, берут эту надежду не из воздуха, они нашли ей подтверждение в своей собственной персоне. Они должны признать, что в дни своей непонятливой юности они так же мечтали об улучшении мира, как и вы сейчас; но, постепенно созревая, они стали такими покорными и спокойными, какими вы видите их сейчас. Я верю в вас; я уже сам узнал на своем не слишком продолжительном опыте, что юноши, сначала возбуждавшие другие надежды,

позже все-таки полностью отвечали этим доброжелательным ожиданиям зрелого поколения. Не делайте этого больше, юноши, иначе как тогда сможет когда-нибудь начаться лучший род? Очарование юности, правда, покинет вас, и пламя способности воображения перестанет питаться самим собой; но удержите это пламя и усильте его ясным мышлением, сделайте искусство этого мышления своим, и в придачу вы еще получите самое прекрасное снаряжение человека — характер. В этом ясном мышлении вы получите источник вечного цветения молодости; в то время, когда ваши тела будут становиться все более старыми, а ваши ноги все хуже будут служить вам, ваш дух будет возрождаться в постоянно возобновляющейся свежести, а ваш характер будет твердым и неизменным. Воспользуйтесь немедленно предлагаемой вам здесь возможностью; мыслите ясно о предложенном вам для обсуждения предмете; ясность, наступившая для вас в Одном пункте, постепенно распространится и на все остальные.

Эти речи заклинаят вас, старшие! Вы только что слышали, что о вас думают и высказывают вам в глаза; и оратор искренне добавляет от себя, что, хотя и существуют не такие уж и редкие и достойные уважения исключения, в отношении подавляющего большинства из вас это полностью верно. Пройдемся по истории последних двух или трех десятилетий; все, кроме вас, и даже вы сами в отношении тех областей, которые непосредственно вас не касаются, согласны в том, что, не считая исключений и обращая внимание только на большинство, во всех отраслях, в науке и в жизненных делах, существует соотношение — чем старше возраст,

тем больше негодность и эгоизм. Все современники могли видеть, что каждый, желавший лучшего и более совершенного, кроме борьбы с неясностью в самом себе и с остальным окружением, должен был вести еще тяжелейшую борьбу с вами; что вы стояли твердо на том, что не должно появляться ничего такого, чего вы бы также не делали или не знали; что вы каждое движение мышления воспринимали как поношение вашего рассудка и пользовались любой силой, чтобы победить в борьбе с лучшим, что обычно и происходило. И так вы были силой, сдерживающей всякое улучшение, посылаемое нам благосклонной природой из своего всегда юного лона, до тех пор, пока не смешались с пылью, которой вы и были до того, а следующее поколение в борьбе с вами не стало подобно вам и не переняло у вас ваши прежние обязанности. Вы можете и сейчас действовать так же, как вы действовали прежде при всех предложениях по улучшению, вы можете вновь предпочесть общему благу свою суетную честь, представление о том, что между землей и небом не должно быть ничего, чего вы уже не исследовали бы; так с помощью этой последней битвы вы выигрывали все дальнейшие, пусть не будет никакого улучшения, только ухудшение ухудшения, чтобы вы могли еще немного порадоваться.

Не надо думать, что я презираю и не уважаю старость, потому что она старость. Если посредством свободы источник изначальной жизни и ее дальнейшего движения воспринят в жизнь, то ясность, а с ней и сила, возрастает до тех пор, пока продолжается жизнь. Такой жизни живется лучше, шлаки земного проис-

хождения все больше отпадают от нее, и она улучшает себя вплоть до вечной жизни и расцветает навстречу ей. Опыт такого возраста не примиряется со злом, он лишь делает средства для победоносной борьбы с ним яснее, а искусство — более умелым. Ухудшение вследствие увеличивающегося возраста есть исключительно вина нашего времени, и повсюду, где общество крайне испорчено, должно происходить то же самое. Нас портит не природа, она производит нас в невинности, но общество. Тот, кто предоставил себя его воздействию, должен, естественно, становится тем хуже, чем дольше на него оказывается это влияние. Стоило бы исследовать в этом отношении историю других крайне испорченных эпох и посмотреть, не становилось ли, например, во времена правления римских императоров плохое с возрастом хуже.

Итак, эти речи заклинаят в первую очередь вас, исключение среди старших и опытных: поддерживайте в этом деле молодое поколение, с почтением устремляющее свои взгляды к вам, укрепляйте его, советуйте ему! Вас же, составляющих большинство, они заклинаят: вы не должны помогать, только не мешайте хотя бы в этом, не стойте снова, как всегда прежде, на пути со своей мудростью и сомнениями. Это дело, как и всякое разумное дело на свете, не многосложно, но просто, и последнее относится к той тысяче вещей, о которых вы не знаете. Если бы ваша мудрость могла спасти, то она спасла бы нас еще раньше, ведь это именно вы давали нам раньше советы. Это, так же как и все остальное, уже миновало и никогда больше не должно возвратиться. Разберитесь, наконец, в самих себе и умолкните!

Эти речи заклиняют вас, люди дела.⁵⁷ За редким исключением вы до сих пор были в своем сердце врагами отвлеченного мышления и всякой науки, которая стремилась к тому, чтобы быть чем-то для себя самой, хотя вы и делали мину, как будто вы лишь из важности не обращаете внимания на все это. Вы держались как можно дальше от людей, занимавшихся чем-то подобным, и от их предложений; упрек в сумасшествии и совет — отправить их в заведение для помешанных — были самой привычной благодарностью им от вас. Они же, со своей стороны, не рисковали, правда, высказываться о вас с такой же искренностью, поскольку зависели от вас, но истинным мнением их сердца было следующее: вы, за редким исключением, поверхностные болтуны, надутые бахвалы, недоучки, лишь пробежавшиеся по школе, действующие вслепую и катящиеся по привычным рельсам, которые не хотят ничего иного или не способны на него. Докажите делом их ошибку и воспользуйтесь последней представляющейся вам для этого возможностью; отбросьте презрение к основательному мышлению и науке, позвольте им объяснить, слушайте и учитесь тому, чего вы не знаете; в ином случае ваши обвинители будут правы.

Эти речи заклиняют вас, мыслители, ученые, писатели, достойные этого имени. Тот упрек людей дела к вам был в определенном смысле не неверен. Вы часто слишком беззаботно углублялись в область чистого мышления, не беспокоясь о действительном мире и не интересуясь тем, как оно может быть взаимосвязано с ним. Вы описывали себе свой собственный мир и с невниманием и пренебрежением отворачивались от

действительного. Всякое устройство и формирование действительной жизни должно, правда, исходить от более высокого, упорядочивающего понятия, а продолжение по накатанным рельсам не дает ей ничего. Это вечная истина, и она именем Бога с нескрываемым презрением заставляет склониться перед собой каждого, кто осмелится заняться делами, не зная этого. Но все же между понятием и введением его в какую-нибудь особенную жизнь лежит широкая пропасть. Заполнить эту пропасть — задача как человека дела, который, правда, сначала должен учиться столько времени, чтобы понять вас, так и ваша, из-за мира мысли вы не должны забывать о жизни. Здесь вы встречаетесь друг с другом. Вместо того чтобы косо смотреть друг на друга через пропасть и порочить друг друга, поспешите лучше заполнить часть пропасти со своей стороны и так проложить дорогу к объединению. Поймите же, наконец, что вы так же нужны друг другу, как нужны друг другу голова и рука.

Эти речи заклинаят вас, мыслители, ученые, писатели, достойные этого имени, также и о другом. Ваши жалобы на всеобщую поверхностность, отсутствие мысли и рассеянность, самомнение посредственности и непобедимую болтливость, на неуважение к серьезности и основательности во всех сословиях могут быть верными, да так это и есть. Но какое же сословие воспитало все остальные, превратило для них все научное в игру и с самой ранней юности приучило их к этому самомнению и этой болтливости? Кто продолжает воспитывать вышедшие из стен школы поколения? Самое быющее в глаза основание глупости эпохи состо-

ит в том, что глупо читались те произведения, которые написаны вами. Почему вы продолжаете развлекать этот праздный народ, хотя знаете, что он ничему не научился и ничему не хочет учиться? Почему называете его публикой, льстите ему как вашему судье, натравливаете его против своих соперников и пытаетесь перетянуть на свою сторону с помощью любого средства слепую и бестолковую толпу? Почему, наконец, подаете ему в ваших рецензионных ведомствах и журналах как материал, так и образец для его поспешных рассуждений, поскольку вы точно так же рассуждаете без взаимосвязи, наудалую, зачастую так же безвкусно, как сумел бы и последний из ваших читателей? Если вы не все думаете так, если некоторые из вас мыслят более здраво, то почему же здравомыслящие не объединятся, чтобы положить конец злоключениям? Что же касается в особенности тех людей дела; они прошли у вас школу, вы сами говорите это. Почему же вы не использовали это обучение по меньшей мере для того, чтобы внушить им некоторое молчаливое уважение к науке и в особенности высокородное юношество время от времени лишать ложного самомнения, чтобы показать ему, что положение и рождение в деле мышления ничего не дают? Вы, вероятно, уже тогда льстили ему и чрезмерно превозносили его, так страдайте же от того, чему вы сами стали причиной!

Эти речи, они готовы вас простить, предполагая, что вы не понимали важности вашего занятия; они заклинаят вас с этого момента познать его важность и не заниматься им больше как простым ремеслом. Научитесь уважать самих себя, покажите вашими дей-

ствиями, что вы сделали это, и мир станет уважать вас. Первой проверкой этого будет то влияние, которое вы позволите оказать на вас предлагаемому решению, и то, как вы при этом станете вести себя.

Эти речи заклиняют вас, князья Германии! Те, кто поступают в отношении вас так, как будто вас ни в чем никому нельзя наставлять или вас не в чем наставлять, — презренные льстецы, возводящие на вас напраслину; держите их подальше от себя. Истина заключается в том, что вы точно так же рождаетесь незнающими, как и мы прочие, и что вы должны слушать и учиться, как и мы, чтобы выйти из этого естественного невежества. Ваша вина в тех судьбах, которые постигли вас вместе с вашими народами, была описана здесь самым мягким и, как мы полагаем, единственно справедливым и верным образом. И вы не можете пожаловаться на эти речи, если только не хотите слышать одну лесть, а правду — ни в коем случае. Пусть все это будет забыто, так же как мы, прочие, желаем, чтобы и наша доля вины была забыта. Как для нас всех, так и для вас сейчас начинается новая жизнь. Пусть же этот голос проникнет к вам сквозь все окружение, которое старается сделать вас недоступными! Он имеет право сказать вам с гордым самоуважением: вы правите народами, такими верными, такими послушными и настолько достойными счастья, какими не правили князья ни в одну эпоху и ни у одной нации. Они желают свободы и способны на нее; но они следовали за вами в кровавой войне против того, что им казалось свободой, потому что вы так хотели. Некоторые среди вас позже захотели другого, и они последовали за вами в том, что

им должно было казаться войной ради уничтожения остатков немецкой независимости и самостоятельности, также потому, что вы так хотели. Они терпят и несут с тех пор на себе тяжелый груз общей беды; и они не перестают быть верными вам, внутренне преданными и любящими вас, как данных им Богом опекунов. Понаблюдайте за ними незаметным для них образом; без окружения, которое не всегда предлагает вам лучшую сторону человечества, спуститесь в дома горожан, в хижины крестьян, рассмотрите тихую и скрытую жизнь этих сословий, у которых, как представляется, нашли прибежище реже встречающиеся у высших сословий верность и порядочность. Наверняка, о наверняка вас охватила бы решимость серьезней, чем когда бы то ни было, задуматься над тем, как вы могли бы им помочь! Эти речи предложили вам средство для помощи, которое они считают надежным, радикальным и решительным. Послушайте своих советников, считают ли они так же, или они знают лучшее, только чтобы оно было таким же решительным. Но убеждение в том, что нечто должно произойти, и произойти прямо сейчас, и произойти должно нечто радикальное и решительное, и что время полумер и проволочек прошло; это убеждение эти речи, если бы только могли, высказали и при вас, потому что они все еще питают большое доверие к вашей порядочности.

Эти речи заклиняют всех вас, немцы, какое бы место в обществе вы ни занимали, чтобы каждый из вас, кто только способен думать, задумался о затронутом предмете и чтобы каждый делал то, что именно он может сделать на своем месте.

К этим речам присоединяются и заклинают вас ваши предки. Подумайте о том, что с моим голосом смешиваются голоса ваших прадедов древних времен, которые своими телами преградили путь вздымавшемуся мировому господству римлян, которые своей кровью отвоевали независимость гор, долин и рек, которые при вас стали добычей чужаков. Они обращаются к вам: замените нас, передайте память о нас потомкам такой же славной и незапятнанной, какой она досталась вам, чтобы и они гордились ею и своим происхождением от нас! До сих пор наше сопротивление считалось благородным, великим и мудрым, мы казались посвященными в божественный мировой план и вдохновленными им. Если с вами наш род иссякнет, то наша честь превратится в брань, а наша мудрость — в глупость. Ведь если немецкое племя должно было однажды сгинуть в романском, то было бы лучше, если бы это произошло в древнем, чем в новом. Мы противостояли тому и победили его; вы смешались с грязью перед этим. Теперь, когда дела обстоят таким образом, вы не можете победить их телесным оружием; только ваш дух должен подняться и выстоять против них. Вам выпала великая удача основать вообще империю духа и разума и уничтожить все грубое телесное насилие в качестве господствующего над миром. Если вы сделаете это, то станете достойны своего происхождения от нас.

С этими голосами смешивается также дух ваших более поздних предков, павших в священной борьбе за свободу религии и веры. Они призывают к вам: спасите и нашу честь! Нам не было до конца ясно, за что мы боролись; кроме справедливой решимости — не

позволять в вопросах совести внешнему насилию повелевать нами, мы были подвижны еще более высоким духом, полностью не открывшимся нам. Вам он, этот дух, открыт, если у вас достаточно зоркости для мира духовного и ваш взгляд высок и ясен. Пестрая и перепутанная смесь чувственных и духовных побуждений должна быть полностью лишена господства над миром, и к кормилу человеческих дел должен встать один только дух, чистый и отделенный от всех чувственных побуждений. Наша кровь проливалась для того, чтобы этот дух свободно развивал себя и возрастал до самостоятельного существования. Вы можете даровать этой жертве ее значение и ее оправдание, начав для этого духа предназначенное ему мировое господство. Если это как последняя цель, к которой было устремлено все предыдущее развитие нашей нации, не будет достигнуто, то и наша борьба превратится в пустую вчерашнюю шутку, а завоеванная нами свобода духа и совести — в пустое слово, если отныне вообще больше не будет существовать духа или совести.

Вас заклиняют ваши еще не родившиеся потомки. Вы хвалитесь своими предками, обращаются они к вам, и с гордостью видите в себе продолжение благородной цепи. Позаботьтесь же о том, чтобы она не оборвалась на вас! Сделайте так, чтобы и мы могли хвалиться вами и могли посредством вас, как посредством безупречного звена, примкнуть к этой прославленной цепи! Не допустите того, чтобы нам приходилось стыдиться происхождения от вас, как низкого, варварского, рабского, чтобы мы скрывали свое происхождение или вынуждены были прикрываться чужим именем и чужим

происхождением, чтобы не быть сразу, без проверки, выброшенными или растоптанными. Каким станет следующее поколение, начинающееся от вас, такой и получится память о вас в истории; почетной, если оно окажет вам почет; позорной выше всякой меры, если вы не оставите после себя никакого, имеющего слово, потомства и вашу историю напишет победитель. Еще никогда победитель не имел в достаточной степени склонности или осведомленности, чтобы справедливо судить о побежденных. Чем больше он их принизит, тем справедливее выглядит он сам. Кто может знать, какие подвиги, какие прекрасные учреждения, какие благородные нравы народа прошедшей эпохи были забыты, потому что его потомки были закабалены, и победители сообщали о них, не встречая возражений, то, что отвечало их целям.

Это обращено даже и к зарубежью, насколько оно еще хотя бы в малейшей степени способно понимать себя самого и увидеть истинную свою пользу. Да, среди всех народов есть души, которые все еще не могут поверить в то, что великие обещания человечеству царства права, разума и истины были суетой и пустым призраком, и которые поэтому считают, что нынешний железный век есть лишь переход к лучшему состоянию. Они, а с ними и все новейшее человечество, рассчитывают на вас. Бóльшая часть их происходит от нас, остальные получили от нас религию и всяческое образование. Те заклинают общей отеческой землей, также и их колыбелью, оставленной ими нам; эти — образованием, которое они получили от нас как залог высшего счастья, заклинают сохранить нас также и для

них, и ради них, не вырывать из взаимосвязи недавно возросшего рода этот, такой важный для него, член, каким мы всегда и были, чтобы они, если им когда-нибудь понадобится наш совет, наш пример, наше содействие в отношении истинной цели земной жизни, не обнаружили с болью нашего отсутствия.

Все эпохи, все мудрое и благое, что только когда-нибудь дышало на этой земле, все их мысли и чаянья высшего смешиваются с этим голосом, окружают вас и поднимают, умоляя, к вам руки; даже если так позволено будет сказать, провидение и божественный план при сотворении человеческого рода, который ведь только для того и существует, чтобы быть мыслимым людьми и посредством людей быть введенным в действительность, закликает вас спасти его честь и существование. Вам выпало на долю заложить основы для окончательного суждения о том, окажутся ли правы те, кто верит в то, что человечество должно становиться все лучше и мысли о его порядке и достоинстве — не пустые мечты, но предсказание и залог будущей действительности, или те, кто дремлет в своей звериной и растительной жизни и смеется над любым взлетом в высшие миры. Древний мир со своим великолепием и величием, так же как и со своими недостатками, ушел в прошлое посредством своей недостойности и мощи ваших праотцов. Если в том, что было изложено в этих речах, есть истина, то среди всех новых народов в вас самым решительным образом заключен росток совершенствования человека, и вам в первую очередь предписано развивать его. Если вы погибнете в этой своей сущности, то с вами одновременно погибнет и всякая

надежда всего человечества на спасение из глубины его бед. Не стройте свои надежды и не утешайтесь мнением, высосанным из пальца, рассчитывающим на простое повторение уже однажды бывшего случая, — мнением о том, что повторно, после заката старого образования, возникнет новое, на развалинах первого, из наполовину варварской нации. В древние времена имелся такой народ, вооруженный всем требующимся для этого предназначения, он был хорошо известен образованному народу и описан им. И они сами, если бы могли предположить свою гибель, могли бы увидеть в этом народе средство для возрождения. Также и нам вполне известна вся поверхность Земли и все народы, живущие на ней. Известен ли нам такой народ, похожий на пранарод нового мира, от которого можно было бы ожидать подобного? Я полагаю, что каждый, кто только не мечтательно мнит и надеется, но мыслит, основательно исследуя, должен будет отрицательно ответить на этот вопрос. Поэтому лазейки нет: если вы исчезнете, то с вами исчезнет и все человечество, без надежды когда-нибудь возродиться.

Глубокоуважаемое собрание! Вот все, что я хотел и должен был внушить Вам как представителям нации в заключение этих речей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод осуществлен по изданию: J. G. Fichtes sämtliche Werke. Berlin, 1845—1846. Bd. 7; сверен с изданием: J. G. Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Werkeband 10. Stuttgart; Bad Cannstatt, 2005.

¹ Фихте читал эти лекции с 13 декабря 1807 по 23 марта 1808 г. в круглом зале Академии наук в Берлине один раз в неделю по воскресеньям.

² «Речи к немецкой нации» впервые вышли в свет в том же издательстве, что и «Основные черты современной эпохи» — издательстве Г. А. Раймера.

³ Разрешение на публикацию произведения давала цензура. Так как Фихте создавал текст лекций по ходу чтения им курса и не обладал при его начале полным текстом лекций, он попытался получить разрешение на публикацию всего произведения на основании текста первой лекции. Но именно ее текст вызвал у цензоров наибольшие сомнения, и такое разрешение не было получено. Фихте, считая невозможным промедление в распространении излагаемого им в лекциях содержания, стал публиковать дальнейшие лекции по отдельности, получая по каждой отдельное разрешение. Таким образом, по окончании публикации, когда было получено разрешение на печать также и первой лекции, общий объем текста речей оказался несколько меньшим, чем предполагалось. Оставшийся неустрабованным печатный объем в начале текста лекций он решил заполнить от-

рывками из других произведений — статьи «О Макиавелли как писателе», опубликованной им в журнале «Веста» (Кенигсберг, июнь 1807 г., т. 1), и предисловия к неопубликованным диалогам «Патриотизм и его противоположность», написанным в 1806—1807 гг., — на что и получил разрешение.

⁴ Светское имя — Джулио Медичи (1478—1534), римский папа с 1523 по 1534 г.

⁵ Отрывок взят из предисловия к первому диалогу, написанного в июле 1806 г.

⁶ Высказывание, характеризующее бесстрашие Фихте, поскольку «Речи» читались им в оккупированном французами Берлине. Незадолго до начала чтения им этого курса оккупационными властями в Берлине за публикацию сочинения «Германия в ее глубоком унижении» был казнен книготорговец Пальм.

⁷ В лекциях и рукописи Фихте вместо этого оборота употреблял слово «государство», но под давлением цензуры был вынужден затушевывать мысль, употребив более обтекаемое и не вызывающее прямых политических ассоциаций выражение.

⁸ Значение данного пассажа не исчерпывается, конечно, его исторической подоплекой. Она же такова: 16 западных и южных немецких княжеств вышли из состава «Священной Римской империи германской нации» и 12 июля 1806 г. создали Рейнский союз, находившийся под протекторатом Франции. Под ее давлением император Франц II был вынужден 6 августа того же года признать «Священную Римскую империю германской нации» не существующей, ограничившись властью над теми территориями, которые в российском сознании ассоциируются с названием «Австрийская империя». Пруссия, оккупированная французскими войсками после поражения в битве при Йене (октябрь 1806 г.), также потеряла часть территорий, вынуждена была выплатить контрибуции и ограничить численность своих вооруженных сил.

⁹ Под «новейшей педагогикой», не принимающей заучивание наизусть и предлагающей «шедевры в сократической манере», подразумевается, по всей видимости, педагогиче-

ское направление, основателем которого был Иоганн Бернхард Базедов (1723—1790), создатель школы «Филантропин» (1774) и автор ряда педагогических произведений.

¹⁰ По всей видимости, в произведении швейцарского писателя и педагога И. Г. Песталоцци (1746—1827) «Как Гертруда учит своих детей».

¹¹ Ср. высказывание в «Основных чертах современной эпохи»: «Весь же путь, которым человечество проходит через этот ряд в здешнем мире, есть не что иное, как возвращение к той ступени, на которой оно стояло в самом начале; возвращение к исходному состоянию и есть цель всего процесса. Но путь этот человечество должно пройти собственными ногами; собственной силой должно оно сделать себя тем, чем оно было без всякого своего содействия» (*Фихте И. Г. Сочинения: В 2 т. СПб.: Мифрил, 1993. С. 370*).

¹² Приток Евфрата.

¹³ Ветхий Завет, Книга пророка Иезекииля 37, 1—10.

¹⁴ Горный народ, проживавший в древности на севере Испании.

¹⁵ Новый Завет, Деяния апостолов 2, 17: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши станут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут».

В немецком тексте Библии употреблены слова *Gesicht* и *Traum*. Первое из них представляет собой субстантивированное причастие от глагола видеть (*sehen*) и означает как то, что есть результат виденья — облик, внешний вид, так и само действие виденья. Семантика этого слова действительно очень близка к исходной семантике слова *идея*.

¹⁶ Имеется в виду предложенное Фихте переименование философии в наукоучение. Впервые это название, так же как и основания переименования философии, он представил широкой публике в работе «О понятии наукоучения, или так называемой философии» (*Фихте И. Г. Сочинения: В 2 т. Т. 1.*

С. 22) в 1794 г. Фихте был убежден в том, что им найдено безусловное основание всякого знания и способ развития из него круга всего подлежащего познанию. Перестав тем самым быть еще только любовью к мудрости, что буквально и означает термин «философия», она должна поменять название на наукоучение. Подобно тому как, возникнув у греков, философия получила греческое название, теперь, достигнув своей цели у немцев, она должна поменять название на немецкое.

¹⁷ Намек на И. Г. Гердера (1744—1803), немецкого писателя и мыслителя, и Жан Поля (псевдоним немецкого писателя И. П. Ф. Рихтера (1763—1825)).

¹⁸ Гораций (65—8 г. до н. э.), великий римский поэт. Фихте имеет в виду стих из его «Од» (см. рус. пер.: *Гораций*. Оды. Книга 3, ода 4, стихи 53—58 // Гораций. Собрание сочинений. М., 1994. С. 111).

¹⁹ Тифей (Тифон) — в греческой мифологии чудовищное хтоническое существо, боровшееся с Зевсом за власть над миром и побежденное им.

²⁰ Рет — кентавр, фигура, встречающаяся в римской поэзии.

²¹ Мимант, Порфирион, Энкалад — в греческой мифологии гиганты, участвовавшие в гигантомахии, борьбе гигантов против олимпийских богов.

²² Афина Паллада — в греческой мифологии богиня мудрости.

²³ Подразумеваются процессы, происходившие в эпоху Ренессанса и начавшиеся в Италии.

²⁴ Фридрих III Мудрый (1463—1525), курфюрст Саксонии (1486—1525 гг.), в 1502 г. основал в Виттенберге университет, ставший духовным центром Реформации.

²⁵ М. Лютер принадлежал к ордену августинцев, его оппонент в споре о продаже индульгенций, на который Лютер вызвал его, прибив к дверям церкви текст «95 тезисов о силе индульгенций», Иоганн Тетцель — к ордену доминиканцев.

²⁶ Наследником Фридриха III был его брат Иоганн Постоянный (1468—1532), курфюрст Саксонии (1525—1532 гг.),

решительно выступивший на рейхстаге в Аугсбурге в 1530 г. в поддержку Реформации. В этом ему следовал и его сын Иоганн Фридрих Великодушный (1503—1554).

²⁷ Г. В. Лейбниц (1646—1716), великий немецкий философ.

²⁸ И. Кант (1724—1804), великий немецкий философ, первый представитель классической немецкой философии.

²⁹ И. Кант. «Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки»: «Я охотно признаюсь: указание Давида Юма было именно тем возбуждением, которое впервые — много лет тому назад — прервало мою догматическую дремоту и дало моим изысканиям в области умозрительной философии совершенно иное направление. Но я далеко не последовал за ним в его заключениях, явившихся только вследствие того, что он не представил себе своей задачи в целости, а попал лишь на одну её часть, отдельное исследование которой не может привести ни к какому результату» (*Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки*. М.: Прогресс—VIA, 1993. С. 14).

³⁰ Фихте имеет в виду свое наукоучение, а также то обстоятельство, что после краткого периода успеха его у образованной публики, оно с 1797 г. стало мишенью критики, обрушившейся на него со всех сторон, начиная от религиозных обскурантов и заканчивая прямыми последователями. Наиболее значительными критиками наукоучения были Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант, К. Л. Рейнгольд, Ф. Г. Якоби, И. Г. Гердер. Из этого Фихте сделал вывод о том, что эпоха не готова к восприятию истины его философского учения.

³¹ Оценка Фихте, касающаяся наполеоновской Франции и ее отношения к устремлениям периода Великой французской революции.

³² Ганзейский союз, самый известный союз немецких городов, возник в XII в., в XIII в. возникли Рейнский, Саксонский и Вестфальский союзы городов, в XIV в. — Швабский. На

родине Фихте в 1346 г. был основан союз шести верхнелужицких городов.

³³ Немецкие филологи начала XIX в. считали слово *deutsch* (немецкий, немец) производным от древнего германского корня, обозначавшего принадлежность к роду, народу.

³⁴ Вероятно, намек на оценку Ф. Г. Якоби наукоучения как «философского знания ничто» и «нигилизма» (*Якоби Ф. Г. Письмо Ф. Г. Якоби к И. Г. Фихте* (1799) // Гаманн И. Г., Якоби Ф. Г. *Философия чувства и веры*. СПб., 2006. С. 227).

³⁵ В собственно наукоучении.

³⁶ Фихте имеет в виду философию Ф. В. Й. Шеллинга.

³⁷ Арминий (ок. 16 г. до н. э.—21 г. н. э.) происходил из рода вождей германского племени херусков, находился на римской военной службе, получил права римского гражданства и был причислен к сословию всадников, около 7 г. н. э. вернулся на родину и возглавил восстание против римской власти, самым знаменитым эпизодом которой явилась битва в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э., когда был уничтожен римский отряд под командованием Квинтилия Вара, посланный против восставших. Его брат Флавус в 4 г. н. э. поступил на римскую военную службу и участвовал в 16 г. в походе Германика против германцев.

³⁸ Цитируется Корнелий Тацит (ок. 55—120), римский историк (см.: *Корнелий Тацит. Анналы* // Корнелий Тацит. *Сочинения*: В 2 т. М.: Ладомир, 1993. Т. 1. С. 51).

³⁹ Имеется в виду «Магомет», трагедия в стихах Вольтера (1694—1778), французского писателя и мыслителя (подлинное имя — Франсуа-Мари Аруэ).

⁴⁰ Явная инвектива против цензоров, на момент прочтения восьмой речи не давших еще разрешения на публикацию первой.

⁴¹ Фихте лично познакомился с И. Г. Песталоцци не позже осени 1793 г., при своем последнем посещении Цюриха. В начале 1794 г. Фихте планировал написать рецензию на его книгу «Лингард и Гертруда». В начале лета 1807 г. он внимательно

изучал другое произведение швейцарского педагога — «Как Гертруда учит своих детей», результатом этого чтения стала 14-страничная рукопись.

⁴² Далее Фихте излагает педагогические взгляды Песталоцци почти исключительно по его книге «Как Гертруда учит своих детей» (см. рус. пер.: *Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения*: В 3 т. М., 1963. Т. 2. С. 193—382).

⁴³ В Пруссии обязательная воинская повинность была введена только в 1733 г., до тех пор армия пополнялась наемниками.

⁴⁴ Например, Ф. Э. фон Рохов, содержащий с 1773 г. в своем имении школу для детей крестьян и издавший книгу «Друг детей. Книга для чтения в сельских школах» (1776 г.).

⁴⁵ В Австрии крепостное право (но не личная зависимость) было отменено в 1781—1782 гг., в Бадене — в 1783 г., в Пруссии — 9 октября 1807 г.

⁴⁶ После наполеоновских войн ряд бывших слушателей Фихте отправился в Швейцарию к Песталоцци, чтобы изучить его систему воспитания. Позже они пытались внедрить эту систему в Германии.

⁴⁷ История нимфы Эхо описана римским поэтом Публием Овидием Назоном (43 г. до н. э.—17 г. н. э.) в «Метаморфозах» (см., например: *Овидий. Собрание сочинений*. СПб.: Студия Биографика, 1994. Т. 2. С. 64—65).

⁴⁸ Речь, в случае древнего языка, идет, скорее всего, о древнегреческом.

⁴⁹ Исчезающий язык славянского населения саксонского региона Лаузиц (испорченное Лужицы); Фихте, происходя из этой области, знал ситуацию не понаслышке.

⁵⁰ Речь о распаде «Священной Римской империи германской нации» (см. прим. 8).

⁵¹ Наполеон.

⁵² Принцип свободы мореплавания был выдвинут голландским юристом Гуго Гроцием (1583—1645) в трактате «De Mari

libero». Вопрос стал актуальным в связи с господством на море Англии, враждебной наполеоновской Франции, царившей на континенте.

⁵³ Фихте имеет в виду свое сочинение «Замкнутое торговое государство», опубликованное в 1800 г.

⁵⁴ Эвфемизм для обозначения французов, оккупировавших Берлин.

⁵⁵ Имеется в виду курс лекций «Основные черты современной эпохи».

⁵⁶ «Священная Римская империя германской нации».

⁵⁷ Оборот, обозначающий высших должностных лиц.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. А. Иваненко. «Речи к немецкой нации» спустя 200 лет</i>	5
Предисловие	43
Из статьи «О Макиавелли как писателе и извлечения из его произведений»	44
<i>Первая речь.</i> Предуведомление и обзор целого ..	50
<i>Вторая речь.</i> О сущности нового воспитания в целом	69
<i>Третья речь.</i> Продолжение описания нового воспитания	89
<i>Четвертая речь.</i> Основное различие между немцами и остальными народами германского происхождения	108
<i>Пятая речь.</i> Следствия установленного различия	128
<i>Шестая речь.</i> Изложение основных свойств немцев в истории	148
<i>Седьмая речь.</i> Более глубокое рассмотрение изначальности и немецкости народа	165
<i>Восьмая речь.</i> Что такое народ в высшем значении слова и что такое любовь к Отечеству	188
<i>Девятая речь.</i> С какого существующего в действительности пункта нужно начинать новое национальное воспитание немцев	212

<i>Десятая речь.</i> Дальнейшее определение немецкого национального воспитания	231
<i>Одиннадцатая речь.</i> Кому достанется осуществить этот план воспитания	251
<i>Двенадцатая речь.</i> О средствах, которыми можно поддержать наше существование до достижения нашей основной цели	271
<i>Содержание тринадцатой речи.</i> Продолжение начатого рассмотрения	289
<i>Четырнадцатая речь.</i> Завершение целого ...	316
Примечания	339

Фихте И. Г. Речи к немецкой нации / И. Г. Фихте;
пер. А. А. Иваненко. — СПб.: Наука, 2009. — 349 с. (Сер. «Слово
о сущем»).

ISBN 978-5-02-026353-6

«Речи к немецкой нации» И. Г. Фихте, увидевшие свет в 1808 г. и явившиеся продолжением его курса лекций «Основные черты современной эпохи», посвящены вопросам, и по сию пору остающимся в центре напряженного внимания. В них великий немецкий идеалист выдвигает собственное виденье древней и новой истории Европы, разрабатывает оригинальные концепции нации, языка и воспитания, причем его собственный вариант последнего — «новое национальное воспитание» — предлагается им в качестве способа преодоления духовного кризиса немецкого народа и начала новой эпохи всемирной истории.

Для всех интересующихся проблемами национального развития и для широкого круга специалистов в гуманитарных дисциплинах.

Научное издание

И. Г. Фихте

РЕЧИ К НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ

Утверждено к печати

Редколлегией серии «Слово о существе»

Редактор издательства *М. В. Орлова*

Художник *Е. В. Кудина*

Технический редактор *О. В. Новикова*

Корректоры *О. М. Бобылева* и *М. Н. Сенина*

Компьютерная верстка *Е. С. Егоровой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.

Сдано в набор 31.10.08. Подписано к печати 07.04.09.

Формат 70 × 100 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14.4. Уч.-изд. л. 13.6.

Тип. зак. № 3769. С 68

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

E-mail: main@nauka.nw.ru

Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-026353-6



9 785020 126353 6